

Михаил БАЗАНКОВ

# САМОЕ ДОРОГОЕ

Книга прозы



Писательская организация

Кострома

1998



Авторское издание

© М.Ф.Базанков

© Оригинал-макет — А.М.Базанков



## ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА...

### Повесть

Над ромашковым лугом по-детски легко и радостно парил он среди жаворонков и хотел петь, как они, но не получалось — дыхание было несвободное, учащенное. «Это от любви, конечно, от любви, — сам себе шептал Сергуня, разглядывая далеко внизу златовласую девушку, лежащую на облаке из одуванчиков. — Пусть никто не знает про мечту-любовь и к этой девушке, и к этому лугу, и к едва приметным возле горизонта деревенским домам, и к людям на дороге — ко всему, что держит а полете над милой землей».

— Не воображай из себя! — кричали ему неизвестно откуда разными голосами. — Очнись, СэнэМэ наивный! — по имени-отчеству и фамилии сокращенно величали его с издевкой.

Ромашковая белизна слепила глаза, отдальные крики не меняли настроение, а только подталкивали восторг и желание подняться еще выше, лететь с большим охватом, по нарастающим кругам...

Накануне значительных перемен в личной душевной жизни Сергуня слушал по радио умные наставления старого писателя и почувствовал острую необходимость тоже бороться за человеческое в человеке, но не знал ни одного способа. Задумев право на передышку от вечных трудов, пришлось хорощенько гульнуть при поддержке дружка Митяни. А утром в сознании вечной вины, в покаянии за свои грехи искал возможность как-то иначе проявить себя и начать новое человеческое существование. Но кроме Митяни вспоминался еще дружок Виталий, вспоминалась одна ласковая женщина, начальник Сидорин вроде бы покрякивал за стеной сарая да

ядовито хотел вреднющий Размахаев. И светлые задумки омрачались. Только и спас утренний сонный полет над ромашковым лугом. Просыпаться, вставать все-таки не хотелось. Во рту пересохло, в голове тункало. Не открывая глаз, выжидал, когда жена Катерина в свой привычный час оставит хозяйство и пойдет утешительно судачить со старухой Максимовной.

Но с чего все-таки начать, что поважнее придумать для уверенного вхождения в новую житейскую полосу? Облигации погашены, пенсию третий месяц не выдают — станок дежный, говорят, поломался, зарплату лесопунктовским работягам тоже не платят по той же причине. Митяня свои облигации чего-то жмет: для сына вздумал уберечь или строгая жена припрятала? Не начать ли второй этап ваучеризации? Бойкий столичный говорун обещает от этого хорошую прибыль, при которой многие смогут землю покупать. Приезжали уже молодые приватизаторы в погоню за ваучерами, может, по второму этапу они щедрее размахнутся, а? Это мысль, — обрадовался Сергей Николаевич. Ребята из городов за двумя ваучерами к отцу-матери не поедут, не поспешат, они небось и свои не знают, куда приспособить. А тут уже второй этап, пожалуй, и зевнуть можно. «Верно мыслите!» — похвалил он сам себя. Из избы включенное на всю катушку радио сеяло тревогу в народные массы: «Ну, а если мы в нынешнем ритме проживем еще два года, то тогда и самая жесткая диктатура не сможет вывести страну из кризиса. Есть даже расчет: каждый месяц сегодняшнего курса отбрасывает на два года назад. Думаю, и в следующем тысячелетии мы не достигнем того скромного уровня, с которого начиналась перестройка».

Подумаешь тут, с чего начинать накопление этого самого человеческого в человеке. Как не вспомнить бойких усатеньких ребят, приезжавших в поселок выторговывать ваучеры. На капот своей длинной заграничной машины пачки курева навыкладывали, бутылки чистослезной водки с широкими наклепами батареей поставили, ярко-красную надпись над ними укрепили на два настольных американских флагжа: «Даешь ваучер! Получаешь — два пузыря водки и пачку "Примы"». Прошлый раз многие мужики отоварились. Сергуня не посмел ослушаться, жена строго упредила: не для тебя припасены, детям — на будущее.

Детей, конечно, жаль, детям надо. И своя жизнь за непонюх раздергана: то коллективизация, то выселение, то война да многолетние налоги, укрупнения всякие, оханванья, неперспективность, то вот перестройка с прихватизацией...

Ясно вроде бы дружок Виталий предложил: «Не чубайснуть ли нам сегодня, Сергунь?»

Неторопно проезжал вдоль деревни Виталий Крутцов, Варварин сын, — в туманной рани отчетливо слышался спокойный топот коня, и можно было определить, далеко ли пастух, в каком настроении, куда погонит со всей округи собранное стадо.

— На Княжевский хутор приходи, Сергуня, — напомнил Крутцов о вчерашнем уговоре. Не остановился, не спешился, не зашел, как обычно, а только придержал коня напротив передних окон. Мазуркин отозвался из полога:

— Обязательно.

И ощущил в себе вялость, душевный неуют от какого-то скверного предчувствия, вставать не хотелось, хотя вечером на этот день задумывался праздник. Спина остамело ныла, ноги подрагивали в коленках, а руки не смогали себя, все тело будто обмазано толстым слоем синей глины. Подумалось даже: систему Архимедовых рычагов приспособить, придавил бы начальный рычаг мизинцем — подперло бы под спину большой удобной лопатой. Поднимется человек: чему быть — того не миновать. Нет, торопиться нельзя, первоначально, мужик, спланируй свой день, продумай маршруты, чтобы к вечеру круговой путь сомкнулся возле родного крыльца. Отдохнул без движения. Мысль пошла вольнее, хотя и пошатывалась еще от нежелания напрягаться, вспомнился нехороший тяжкий сон про соучастье в чем-то длительном, что еще никем по-хорошему не раскопано, не раскрыто.

— Встаешь или нет?! — из дальнего пространства гулкой весенней избы кричит Катерина. — А то кочергой вытащу.

— Долг день до вечера, коли делать нечего. А у нас подбодренца вместо вареньца не найдется ли, мать?

— Ты что вечер обещал, отчего отрекался, опоец?

— Так ведь заботу какую спихнули. Десять огородцев народ посадил. Победа общая. На всех одна.

— Городи, огораживай. Все равно не прitchется. Рано это-го-вонетого просить. У Валюхи в Обманове пахать обещался.

— С обеду. Навоз привезут да раскидают пока. Там тоже накопщики аховые, их сначала разогреть надо, подрумянить.

— Скотине хотел показаться, как нарядишься. Поспешай, сокол.

— Вот едрен-покорен, приказывает. — И почудилось ему, что утро такое бывало уже, глиной окованый вот так же маялся усталый. Настроение скверное не от погоды случалось — в предчувствии беды-несчастья. Бывало, бывало не раз, убеждался Мазуркин в похожести происходящего с тем, что

когда-то видел будто бы во сне. Он разглаживал измятое ежистое лицо, иссеченную кожу на загривке, словно отпечаталась на ней колючая проволока. Откинулся край полога. Замаячило в окне, в навесной пасмурности то, что раньше нельзя было постигнуть ни чувством, ни разумом, потому что не хватало нужды и способности отчетливо припомнить. Вокруг влажно да мрачно устрашающая тайга зашумела, по которой в детстве блуждал.

Мазуркин протер глаза, пальцами придержал веки, чтобы не вспугивались они перед свежим светом, и подумал: «Тоже обессилели, хоть спичками подпирай». Тяжело помотал головой и, упираясь в колени, помедлил на краю постели, чтобы обрести силу и равновесие.

Ранним утром, не позднее обычного, чувствуя себя еще малорослее и притоптанней, начал бесцельно бродить по дому — расхаживался, разламывался. И думал: страдала душа неделю, пускай царствует денек в почете, нечего ее понукать, она и так послушницей всегда была. Право на отдых заработано давно. Никто не упрекнет, не посмеет стыдить. Жена Катерина не запретит сделать вольный шаг. Ухватами, правда, громыхнула, ведрами злостно брякнула.

Но шевиотовый костюм из сундука принесла, новый плащ вороненый с вешалки подает: «Обряжайся, торопыга! Кажись, накрапнуло на воле-то, может, разгуляется, а может, и нет. Хорошо ли умывался? Ой, гляди, так в глине и спал!.. — отвернулась, прижала наряды к груди. — Не получишь, пока не отмоешься».

С полчаса и отмывался. Земли-матушки везде набралось по самую макушку, в волосах будто горох посейян — комки такие наприлипали. Это с кнута, знамо, с кнута, для острястки махнешь на мерина, вот и сеется куда попало — и в волосы и за воротник, другой раз под рубахой до пупка докатится. Кто за плугом бороздою ходил, тот знает цену особого удовольствия. Хе, приятно вспомнить пахоту. Чего-чего, а пахота радует.

Землицей зрелой опять пахнул близкий огородец. Вновь возвратилось к нему то замечательное состояние, подступавшее с началом приятной работы, будто бы из зеленої глубины всплыло на поверхность виденье просторного поля, уже наполовину взятого свежей пашней, игривое текучее марево сглаживает даль, а вблизи, вот-вот кончив гон, выйдет из борозды вспотелый Воронко, и тятька, озаренный зеркальным солнечным отблеском от лемеха, вытрется подолом полотняной рубахи, зачерпнет из принесенной бадейки ковш ключевой водицы, оттопырив губы, трижды дохнет на нее.

Виделся, вспоминался отец таким по рассказам местных жителей, а сам-то Сергуня детскими глазами не сумел разумно разглядеть его в сумраке давнего барака. Вобщем-то не сохранила память картины семейной жизни, детства при отце и матери, потому приходится жить воспоминаниями .того, чего не было. Так устроена душа Мазуркина, она может довольствоваться чувством придуманной жизни, присваивать себе просто виденное, даже заученное по книгам.

Размашисто накинув на плечи вместо воображаемой бурки длиннополый плащ, он щелкнул каблуками, под собственную команду «кругом» крутанулся перед зеркалом. Заскорузлая рука замерла возле черной шляпы, придающей праздничному человеку особую высоту и значительность. Грудь напряглась так, что отскочила слабая рубашечная пуговица. Пускай, подпрыгивая, катится. Верхней пуговицы давно нет, а без второй еще вольнее, бордовый угольник загара хорошо проглядывает. Замельтешили бодрые мысли, пробуждалось поэтическое настроение.

— Пожалуй, через поселок пойду, едрен-покорен.

— Пять верст кобелю не крюк. — Жена не глядит на него.

— На то и суббота. Прогуляться тоже полезно. Витьку повидаю, давно не виделись.

— Собирать надумали? До темна, значит, не приплывешь опять? — с претензией или жалеючи спрашивает Катерина — не понять.

— К ночи буду как штык.

— Не загадывай попусту, Мензурочкин, — впервые этим утром обозвала его, прошаркав обрезными резиновиками, надетыми на босу ногу, стоит возле порога — теленка поить нацелилась, полведерка всего налито, а перекосило в натуге, тоже вчерашнюю ломовую усталось перебороть не может. Коленкоровый платок свежей белизной светит, по-старушечки связан мысами, но слишком сбился наперед, торчит коzyрьком. «Стареет моя Катерина, — опять подметил Сергуня, — оттого и срываются».

— Ты чего, мать, вихляешься? — спросил бодрецким петушиным голосом.

— Упласталась на семи-то огородцах внаклонку. Спина непослушная, ноги будто не мои.

— Ты на семи садила, я на десяти пахал. А, понимаешь, ничего. Ништяк, как говорится.

— Мальчик. Харя-то, вон, кирпича просит.

— Нормально чую себя. — Он разглядывал в зеркале свою красно-кирпичную харю. — Лично круглит еще, щечки яблочком. Три гектара за эти дни пахотой исходил, нигде, понимаешь, не скрипит.

— Правду говорят: маленька собачка до старости щенок.

— Строго замечаю: сукиным сыном с утра величаешь. Нехорошо, мать, по-ругательски с мужем законным обращаться, сама же свой культурный уровень напоказ выставляешь.

— Культурный шибко стал при новых пуговицах. Все молодишься. С утра вертит и вечером — сатана. На всю деревню стих читать примешься опять. Стыдова. Такой пузыриш, а кричать горазд.

— Душе нужен высказ. Мы свое слово вместо камня в кармане носить не умеем, не интелигончия какая-нибудь, — Сергуня переусердствовал в коверканье ученого слова.

— Слушать надоело, вот что. — Катерина Макаровна вышла в сени, сердито прихлопнув за собою дверь, и громко бубнила там: слов не разобрать, а о чем речь — понятно, недогадливый догадается, за что жена мужа пилит, если от него перегарным духом шибануло. Молодая Катя была — терпела, к старости терпенье лопнуло, вот и брюзжит. Иной день заведется, все припомнит, убытки посчитает: сколько денег профурено, здоровья утоплено, нервов изверчено. Молодая терпела по своему разумению: хоть и малорослый, да мужик в доме, на работу торопыжистый, с хитринкой при общем деле, может активистом казаться, вот и ценят мастера-начальники за услужливость. Сергуня, только прикажи, только пошли в сельпо — сбегает, исполнит, к моменту заказанное доставит, а ему ответные поощрения, то нарядик филькин-липовый дополнительно, то еще подачку какую-нибудь, за месяц оно и набегает лишними десятками для дома, для семьи. Выпивал в ту пору тоже не на свои.

Сергуня сел к столу, подпиная тяжелую голову слабыми руками, старался думать что-нибудь приятное про свою старуху.

Когда-то он звал ее Катей, Катенькой, Картиночкой. Казалась такой, потому что другими отвергнутый приласкан был — не отпихнула Мазуркина мадонна великолушная. Картинастая была вдовушка, но печальна, работой да нуждой изверчена.

На краю, а точнее сказать, от деревни в стороне за перелеском ольховым таилась горевая крытая соломой избенка безотказной рабы божьей Катерины. Это Сергуня однажды при скандале такой причет выговорил и навлек на себя немилость — больше недели ничего на стол не выставляла ему, нахлебнику, одной простоквашей в чулане питался.

Так вот, у той безотказной рабы божьей оказалось, словно ветром надуло, четверо разномастных ребятишек, а до Сергунина сватовства трое из них в другой деревне на

откорме у бабушки были спрятаны. Рыжий, Сивый, Черный да Рябая — по деревенским кличкам так, а звали-то их приличными именами: Леня, Коля, Толя да Полина. Пришлось всех к сердцу принять и жалеть, когда его квартирантом поставили, пригнав на лесозаготовки. Мужиков по деревням не густо было. В приречных поселеньях по бабам промышляли пришлые лесорубы да сплавщики. Мазуркин до Волги хаживал на плотах, три весны мимо той избенки на отшибе не мог без останову проплыть. А через три весны насовсем возвратился от Юрьевца с обещаньем: «Я тебе, Катерина-Картина, за привет благодарный ребятишек поднимать помогу». Она говорила опосля: «Невелик мужичок, да не соломки пучок. Работный, старательный. Между делом настругал еще четверых подряд». Вот и набралось: старших четверо да младших четверо. Ну, орава! Только похлебки подливай. Сидят за столом старшие — с одной стороны, младшие — Ваня, Люда, Таня, Дима — с другой. Отец — в переднем углу растопорщенный, при сталинских усах, грозно глядит, распорядок держит. Мать Катерина-картина чугун с похлебкой да плошку с картошкой ставит. Весело за столом, только ложки трещат. Потчевать не надо, успевай подливать.

Бывало, и сами для себя подножный корм добывали: где пестры, где щавелька листы, где картоху перезимовалую, а где и забытую морковку, а то земляной орешек найдут. На седину лета выкарабкаются — там липовый лист, грибочки, ягоды, зеленый горох с поля урвать сумеют. Милостыню просить не ходили. Вот и Мазуркины ребята, вот и орава изпод горы. Так и звали оптом — подгорные мазурята или малькина саранча. Иногда по-другому: счастье Катино изпод горы катит — беги без оглядки спасать свои грядки. Конечно, нападали подгорные сорванцы на чужие сладкие огурцы, выманивали ловко репу да моркову. Не всяк мудрен на свет рожден, не с большого ума грядки топчут, а по детской глупости, но судят за то по высоким законам. И судили отца за три огурца, которые Толя у сельсоветовской секретарши украл. Пошел повинный отец, понес обратно один несъеденный семенной огурец, да поздно было: ждали его, обозначив суровые меры. Спросил про Толькины штаны с перекрестными проймами — на грядках, мол, сын оставил. Тут-то и прижали Сергуню: это он, чужой, пришлый сам свою ораву в набеги посыпает, они топчут огурцы, сливки с крынок спивают, куриц с насестов уносят — все приписали, все грехи на мазурят, чтобы отцу всыпать как следует. А председатель сельсовета кричал: «В Соловках его кулац-

кая родня, отправить туда же!» Народ шумел в защиту. Оказалось: хоть и безродный, пришлый, а не один.

«Вот ведь куда дума гнется, — недовольствовал на себя Мазуркин. — Праздновать собрался, к чему обиды давние вспоминать. Намечено, завязалось — крутить надо действие без оглядки».

Снова пляится перед зеркалом мужик хорохористый, бровями передергивает, ноздри раздувает — конь ретивый да и только.

Катерина приоткрыла дверь:

— Лешой ты модник. Извертелся, зеркало измозолил. А про хлебный мешок забыл.

— Сама помнишь, Макаровна, — и хорошо. Нынче твоя забота. Критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай.

— В субботу на два дня дают. Увесисто, смотри.

— Это глядя по силе возможностей. Относительно самочувствия приличествует набирать ношу. Скотине хватит, сами на пирогах проживем, — мягко рассуждал он, чтобы не огрубить жену резким отказом: рюкзак брать, конечно, не собирался — к праздничному наряду замызганный брезентовый мешок не подходит. — Ты это, Макаровна, давай тут раскручивай домашний сужэт по ходу дела для интереса и для души, а я по своей траектории приударю. — Он звучно щелкнул пальцами, выпотапляя плясовую выходку, знал, что Катерина не удивится — любитель он так-то выступать, навыкомаривает по трезвости, хоть за пьяного принимай.

— Затопал, замурлыкал.

— Как же, к подружenkам собираюсь, микстурицу бы не забыть, вот, в кармане она.

Дверь осталась приоткрытой — напрасно ждал Сергуня, когда вздрогнут стены. Для полной уверенности потрогал пластмассовый микстурный стаканчик, выпрошенный в больнице два года назад — радикулит и простуда придавили тогда. Нащупал на дне нагрудного кармана хрусткую премиальную бумажку — червонец выделила жена из пахотного приработка, из пенсии дотацию у нее не выпросишь, а вот приработок делит на десять частей, одну часть тому, кто вкалывал, другую — на предметы житейской роскоши. Премиальные согревали тело, а новые пуговицы возвышали душу. Проверил, надежно ли пришиты они, хорошо ли блестят. На третьей сверху, на самом видном месте которая, оказалось пятнышко, похожее на мышиный глазок. Дохнул на него остаточными парами вчерашнего горючего, затуманил выпуклую медаль и давай шлифовать сложенным вчетверо носовиком, тем краем, где синей вязью вышивки, будто

татуировкой, жена в счастливый душевносогласный час давным-давно обозначила инициалы СНМ — Сергей Николаевич Мазуркин, значит. Платок этот многие годы терялся на дне сундука, и вдруг снова выдан для напоминания о том, что было в жизни хорошего, он должен соединить новизну костюма и плаща с прошлой молодостью. Но в малограмотной и бездумной молодости все, выходит, обстояло не так просто, как тогда казалось. Не умел Сергуня собой оставаться, большим людям подражал. Отрастил пышные чернявые усы, выбрал на районной бараходке высокие хромовые сапоги, капитанский китель, научился важно, по-гусиному ходить. Иногда в леспромхозовских бараках блестал талантом, не без успеха доказывал, что наделен от бога, имеет божью искру: сходу складывал стихи, блестные песни под балалайку. Ни одно праздное сборище без него не обходилось, Сергуня хотели видеть, хотели слушать. А он загордился не только талантом, но и своим росточком, утверждая, что великие исторические личности, кроме Петра Первого, были малорослые, к примеру, полководцы наши Кутузов и Суворов, а также чужой Наполеон, разные ученые всего мира, вожди мирового пролетариата и прочие деятели.

Зеркало убеждало: нарядные пуговицы, начищенные до самоварного блеска, седоватые усы, широкополая гангстерская шляпа и размахистый плащ опять превратили Мазуркина в другого человека, повысив его четырехклассную грамотность до военной академии. Не было голодного детства, забыты мытарства дальних побегов и странствий по родной стране, забылись обиды, нанесенные сотнями обидчиков и понукал, надсмеянья и прозвища, доносы, допросы, суды, обсчеты, обвесы, удашающие налоги, самообложение и попытки конфискации имущества, которого не бывало. Да что там, забывается само происхождение, мнится знатность, знаменитость. И не надо перед самим собой признаваться, что не помнится дом детства, все рассказы о нем придуманы, а правду о разорении, раскулачивании сказать нельзя было, этой правдой лишнее подозренье накличешь.

«Эх, — покачался Сергуня. — Мри душа неделю, царствуй день. — Сдернул с комода инструментальный портфель, пробежал взглядом по пестроте фотографий в застекленных киотках. — Ну, милые дети, простите меня, извините... — Он сквозь слезный туман взглядался в лица приемных и родных сынов да дочек, припоминал, кто чем болел, какие шалости, забавы любил. — Ладно, я не обидчивый. Ладно, забывайте отца с матерью. Да-а, пусть вам светят законы правды, добра, красоты. Хотя бы приехал который осенью свежую картошку с груздями кушать».

Выходя на улицу, оставил портфель на крыльце. По зеленой молодой травке, будто по ковру, возле тына краешком пробрался к сеннику — надо все-таки на скотину взглянуть.

— Макаровна, как они там? — спросил про теленка и поросенка.

— Едят. Аушные, — отозвалась жена. — Погляди. Два дня не видал.

— Погляжу. — Сергуня с трудом открывает двери — не удосужился нынче навески переколотить, вот и шаркай по земле: он клонит голову, чтобы не зацепить шляпой паутину, хотя и рукой-то не дотянуться до отяжененных сенной трухой паучьих сетей. Упрекнуть бы Катю, мол, порядок во дворе плохо соблюдаешь, но не для того вольный день заработала душа. Петушисто шагнул к жене, виртуозным привычным шлепком из-под низу подбодрил ее, крякнул при этом как бывало в молодости.

— Лешой, — незлобно ругнула Катерина. — Не уломался разве.

Они рядом, облокотившись на заворник, умильно оглядывают пестрого заправного теленка Бильку, тот чувствует хозяйствское внимание, еще азартнее подтыкает ведро, пыхтит и чмокаает, зализывая пойло, упирается ногами, словно обутыми в ровные белые сапожки. На лоснистой спине его золотится в упавшем световом пятне вздрагивающая соломина.

— Ты, мать, за скотиной гляди — дело государственное. Мы где с тобой живем? — спросил он и тут же ответил: — В деревне. Она рабочий класс кормит. Можно сказать, и весь народ. А ребята наши где? Кто они, наши дети? Кровельщики, станочники, штукатуры, каменщики, бульдозеристы. Их надо хорошо кормить.

— И так немало посылаем. Осень подойдет — с посыпками замучаешься. Картошечки без хими. Моркошки для ребятишек. Тут грибы, ягоды. Опосля свининки, немного погодя — телятинки. Придется и нынче двух теленков на откорм взять. Походим, пока сила есть.

— Ценю дальновидность твою, Макаровна. — Сергуня продвинулся к поросячьею загородке, приговорил справного Ваську. — Пуда два есть в нем. Пудов до семи этого можно кормить, только бы не зажирел.

— Жрать мастак. А на погляд — не скороспелка. Гляди, длиннющий какой.

Васька тянет морду кверху, тупорылость свою показывает. Чистый, розовый пятачище подвижен. Уши-локаторы, а глазенки на пуговицы похожие. Вот и человек так, размыши-

ляет Сергуня, зажрется, ни о чем думать не хочет, чужая беда, чужая судьба его не касается: развалился в удобствах и рыло на край корыта, в зубах золотой зубочисткой ковыряет. Издавна Сергуня определил по-своему: избалованные сословья имеют золотые зубы и золотые зубочистки.

— Надо ему дерновинки подкинуть, пускай пятак точит.  
— Но в этот раз не пошел через дорогу вырубать дёры с кустиками травы — некогда.

Вторично виртуозным шлепком ободрил еще не дряхлую Катю и, глянув на керзачи, подновленные гуталином, чинно выкатил из двора, не повредив черную ковбойскую шляпу.

— Чегой-то стиха не читал? — крикнула Катерина.

— А... это... слова без смазки не взлетывают. Божественный глагол, понимаешь, не вспаривает.

С этого момента, еще раз напомнив жене о закручивании домашнего «сужэта», он постепенно набирал другое настроение, чтобы не думать о том, что было, что есть и что может быть.

Осенив себя крестным знаменьем, оглянулся на подворье: возле дома хорошо — видать хозяина. Черенки, косьевища, граблевища, оглобли, пригнетки, заготовленные на десятки лет вперед, рассортированы, расставлены красивым порядком. Конный плуг, такой же очухник, втащенные под крышу, опрокинутые вверх полозьями сани-розвальни, телега на ходу и два запасных колеса к ней — переднее да заднее, как положено. Ой, разве оглядишь, перечтешь приготовленное, прибранное работным человеком?! Движется хозяйская жизнь. Недавно банька поставлена, новый колодезный сруб заготовлен — надо для деревни единственный колодец обновить, как без него. Сенник, навес дровяной, склад для всякого инвентаря, палисадник — все обихожено. Ульев только в палисаднике не хватает, пасеку бы развести — мечта Сергуни. В огороде ровно лежит свежая пахота. Не задожило бы только, а то уплотнит ее, приплемет: граблями ворошить придется — лишняя работа Катерине.

Куда ни глянь: везде дело, забота, все рук и души в свой час требует. Оно и хорошо. Тем красна жизнь, тем и живы.

Вроде бы сами, напоминая о себе, звякнули в портфеле щипцы, стамески, ключики разные. Портфель этот видал виды, таскался при разных должностях, даже известному налоговому агенту Шияну ловко служил, вмешая рядом с квитанциями, актами, описями имущества пару бутылок водки, шматок сала копченого или головку крестьянского сыра. Тяжела была сумма да с ума сходила не сама. Теперь вот этот портфель двухзамочный достался частному мастеру

Сергуне Мазуркину. Нашел он его в былой соседней деревне на чердаке развироханной избы. Починил, днище подшило стелькой из толстой седельной кожи. В таком удобно инструментишко кое-какой носить. К тому же изображаешь уполномоченного новых времен и обстоятельств.

Приятно величать себя уполномоченным собственной совестью и долгом гражданина. Иногда, правда, покажется, будто бы особым приказом начальника сплавной конторы Сидорина закреплен за последними деревнями Приречья, для того закреплен, чтобы по силе возможностей продвигать жизнь коренных жителей в знак благодарности государства за то, что они для него делали и делают еще в свои престарелые годы. Деревеньки малые недалеко друг от друга разбежались, правобережной тропой соединены: Обманово, Хваленое, Крученая. Самоглавная из них — Крученая, потому что есть в ней Сергуня Мазуркин. Хваленое, можно сказать, отхвалилось, три дома жилых-то всего, а в Обманове еще подсобновская ферма правится, дружок Витюня при ней делами заворачивает: летом пастушит, зимой — кормачом, и не только корма, все грузы на его горбу. Леспромхозовское подсобное хозяйство выезжает на Витюне, как на ишаке. Надо бы навестить «рабсилу», дать жизни вдох.

Сергуня, сдвинув на глаза шляпу, скребанул затылок. Торопились мысли, а «сужэт», как он думал, медленно закручивается. Глянул на часы: седьмой не дотикал еще. «Эхма, Кострома, погляди сама: подтощала Котома», — сорвалась с губ приговорочка, вспорхнула и полетела растворяться вместе с папиросным дымком над милой сердцу окружной, где значились не так уж давно три колхоза, тринадцать деревень, а теперь одно захудалое подсобное хозяйство леспромхоза теплится лишь для того, чтобы снабжать райцентровских конторщиц молоком, сливками, да мясом говяжьим.

Редко закуривает Сергуня, а сегодня вторично закурил для полноты душевного праздника. Идет он десятидворой деревней, будто не видит нежилые хибары, а к жилым присматривается — не стукнет ли кто, не порадует ли из окна пригласительным жестом. Очень хочется, чтобы его видели. Наряжался-то для чего? Мензурочка в кармане на всякий случай.

— Деревенька моя Крученая. Посередке мой собственный дом. Здесь на цепи, словно кот ученый, проходил я всю жизнь кругом, — высказалось для размышления, и сам собой остался доволен, вслух повторил возвышенные слова: — «Божественный глагол до слуха долетел, душа смирилась и молодеет». — По радио так говорили настоящие поэты, а

Сергуне приятно повторить. — «Дать жизни вдох, дать сладость мукам, чужое вмиг почувствовать своим».

Только выкатил из-за тына, сразу же снимай шляпу, кланяйся соседке Варваре Максимовне, занятой кормлением кур. Она его почуяла и спрашивает:

— Куда полетел, хлопотун?

— День добрый, Максимовна. Каково живется-можется? Все ли ладно? — кидает он свои вопросы.

— Живу. Топчу землю, слава богу. На своих ногах. И встала ничего. — Максимовна, опираясь на батожину, медленно распрымляется, тянется до прежнего своего роста. Руки у нее забурелые, а лицо слабо взято солнцем, лоб даже бледной синевой отливает, высокий, крутоя, с залысинами, будто у мужика, космы седых волос сосульками торчат из-под слабо повязанного платка. — Суставы можжели да поразвирахались. Хожу-шатаюсь, земля подо мной зыбает. Мягко, будто на пахоте. — Она, притряхиваясь, переступила, мол, гляди, земля оседает, не совсем еще высохла старуха.

Громоздкая, заправная была Максимовна. Коренной звали, теперь редко так-то называют — забывается, видать. Коренная, в оглоблях упиралась на пахоте, а пристяжные за те оглобли цеплялись. Вспашут, заборонят полько. Варвара ситево берет, доверху насыпанное, и — пошла вышагивать, равномерно, широко раскидывая горстями посевные зерна. Сколько гектаров вот так-то с тяжелым лукошком-ситетом исходила — ни в каких бумагах теперь, наверно, не значится да и сама она со счету сбилась. Нет времени прошлые труды записывать, а трудовые книжки с пустыми трудоднями давно в конторах растеряны, стаж трудовой деятельности значения не имеет — так и сказали в райсобесе, обидную пенсию начисляя. Маленько платят — и хорошо, и на том спасибо. Не в этом главные печали. Вот у сына Виталия жизнь не заладилась. Девки, те лучше пристроены в недалеком Мантурофе, по конторам три сидят, одна — при складе продовольственном, так что обеспечены, нужды не знают, малосемейные, поучились плохо, а живут лучше любой учительницы. Тем и гордится мать. Виталия жалеет: невезучий, одинокий, в пастиках теперь. Воркута его изломала. Вкалывал, вкалывал по вербовке, чтобы жинка довольная была, да жинка-то стерва оказалась, проманула его. Что там у них вышло — неведомо, только упекла его жинка хваленая на три года, сама за начальником увязалась по далеким стройкам. Возвратился Виталий седой, худущий. Не сразу на домашнем хлебе при материинском догляде отутовел...

Сергуня и Варвара некоторое время стояли молча, понимая, что об одном человеке думают. Варвара повела приструненным взглядом в сторону Обманова:

— Эту неделю на Княжевском хуторе пасет. Там самоглавная затея у него.

— Повидаю. Помогу.

— Зашел бы, Сергей Николаевич, ежели не шибко поспешаешь. Зашел бы, врезал стекло-то, али опосля?

Третий раз зовет она вставить подобранное из старой рамы стекло, которое с двух сторон подрезать надо, чтобы в подзоринку вошло. Раньше Сергиня отказывалася по причине предельной занятости, обещал как-нибудь зайти, а сегодня не отказался. Если уж зятья приезжали да тещину просьбу не исполнили, больше-то к кому она обратится, окромя соседа. И свободный как будто сегодня. Долго ли вымерять, два раза чиркнуть алмазом безотказным, простукать понизу, чтобы с двух сторон полоски лишние отломились. Быстро, аккуратно вставил стекло. Не стало возле печи сквозняка. Варвара крышкой от посыльного ящика подзоринку закрывала — оно, конечно, и так терпелось бы, но никакого виду, окошко как раз на дорогу глядит. Вставил — и хорошо, тот изъян и не бередит старушечью душу. Она же, считая себя постоянной должницей, рада, что заманила Сергиню, давно приготовленную бутылку «Пшеничной» выставила, винный стаканчик и тарелку с солеными помидорами.

— Не распечатывай, — упредил Сергиня. — Ты нынче крышу крыть собираешься, вот и береги. Без десяти бутылок мужики на крышу не полезут, так что подкапливай, Максимовна.

— Голова-то шумит у тебя.

— Обойдется. — Накинул плащ, словно бурку, подправил шляпу перед зеркалом и вновь козырнул форсисто. — Голова моя не кочка, голова моя не пень. Пострадала только ночки. Впереди — веселый день.

Выходя от Максимовны, спускаясь по узеньким, обшарпанным, словно обглоданным ступенькам думал, что похмелка не помешала бы, мензурочку можно бы пропустить, но глянул на блестящие пуговицы, ощутил, как ладно прилегает чистый костюм, ругнулся на свою душу, велел ей довольствоваться виденным, терпеть до Обманова — там Варюшка организует к вечеру отпашную.

Мысленно еще раз прикинул, спланировал маршрут, желая попутно исполнять давно обещанное. Слепой старик-бондарь Егор давно клепки настрогал на десяток двухведерных кадушек, обручи склепаны, можно бы сборку начинать.

Точно, сидит в ожидании — знает, что Сергуня отпахался, празднует сегодня.

Егор по шагам угадывает долгожданного Сергуню, привстал и еще не расправившись как следует, шагнул вперед с протянутыми руками — здороваться спешит. Сергуня подает свою короткопалую, но хваткую правую руку, чтобы обласкал ее радостный старик своими чуткими пальцами — он держит ее, согревает словно бы. Глазницы, до черноты опаленные огнем войны, направлены к небу — должно быть, пришедший кажется старику высоким, величественным, потому и называет он Мазуркина большим божьим человеком с простецкой распахнутой душой.

— Про тебя, Николаевич, так думаю: не петляет тропа твоя мимо людской судьбы. Огородцы и нынче спахал, а тебя не будет — кто?..

— Ты, дядя Егор, курить будешь?

— Опосля. Минутки наши сосчитаны. Дела мои стоят, кадушки под веревками в жимилах держу, только бы наклонуть обручи.

— Сделаем. Это сейчас. — Мазуркин снял бурку, китель, шляпу гангстерскую на тын повесил. Простой мужичок да не соломки пучок. Маленький, курносый, лысоватенький, усатенький, а проглянуло утреннее солнце и нарисовало на стене сарая голубую величественную тень его. Сергуня вспомнил придуманный облик отца, увидел как он стоит в дальнем поле, а возле ног его блещет лемехом и отвалом вывернутый, сваленный из борозды плуг.

— Работающие в вашем роду, — говорит Егор и, занятый делом, теряет продолжение мысли. Когда согласованно и ловко постукивая киянками, обтянули, взяли двумя ободами первую кадушку, договорил: — Вырваны, раскиданы, изничтожены хорошие, трудовые люди.

Сергуне понятна речь, но сказанное почему-то не принимается близко к сердцу, будто не его родители пострадали, не их раскулачили, отправили в Соловки, будто не его двухгодовалого осиротили.

Вот оно как бывает: перемелет человек беды свои, через годы начнет сомневаться, может, и не с ним это было, с кем-то другим. Слепой стариk Егор сейчас в работе не считает себя опаленным, незрячим, он не свое горе горюет, а Сергуню пожалел, весь род Мазуркиных с Княжевского хутора.

— Тебе привет от Варвары, дядя Егор.

— Это опосля. Не до приветов сейчас. Работно.

Упыхтелись, вспотели в необъяснимо спешной, но приятной работе. Рядком поставили десять звонких кадушек.

Егор склонился, мелко переступая подшитыми валенками вдоль этого ряда, каждое изделие оглаживает, пальцы музыкально-длинные бегут будто по клавишам, на бородатом лице долго держится вздрагивающая улыбка, даже страшные пустые глазницы не отняли ее у человека.

— Безногий — беда, безрукий — беда, незрячий — две беды. Вот наша жизнь какова, — жалуется Егор. И тут же благодарит судьбу. — Незрячий да живу, по памяти. Детство вспоминаю. Отца с матерью как сейчас вижу. Живой, в чувствах. А скольких давным-давно нет, молодые погибли ребята, ничего не видят, ничего не помнят.

Сергуня понял: разговорится Егор — не остановишь, сам себя растревожит до слез, признается опять, что нажился, пожалуй, можно бы и на покой, хоть руки на себя накладывай. Тяжкий утешительный разговор на сегодня будет лишним, нет на него времени.

— В лето выгребли, теперь чего не жить, — бодро говорит Мазуркин. — Кадушки нынче в цене, обзолотиться можно. Я тебе помогу. С лесничеством контракт завяжем. Запас клепки есть — только строгай, дядя Егор. Мы с Витюхой всегда выручим.

— Мировой ты мужик, Сергуня. Всю жизнь изо всех сил тянемся. Только нужду одолел — старость подкатила, так свету белого и не видал, хоть и зрячий.

— Это понятно: жизнь наша не сахар-мед, но и не соль одна. Свои радости взяли, сколь надо, и еще возьмем. — Сергуня собрался на уход, не желая бередить празднично настроенную душу печальными разговорами.

— Безродному каково, а? Родителей не помнить, дома колыбельного не знать. — Егор все-таки пытается разжалобить круглого сироту, зная, что потом из него можно веревки вить, любую домашнюю работу взваливай.

— Самодельной нет ли остаточка после вчерашнего, дядя Егор? — Мазуркин прервал старика: не хотелось в сотый раз слушать, каково было Сергуне Малому в сиротстве мыкаться по белу свету, родительских наставлений не зная.

— Где ты стыда, совести набрался, доброта и простота откуда взялась, мил человек? — жалобно причитает Егор.

— Или на отсадке-то вчера всю четверть выдоили? — в свою сторону клонит Сергуня, а стариk будто не слышит.

— Бескорыстная твоя душа, добродетель ты наш. Вся деревня тобой жива.

— Может, тридцать капель накапает. Мензурочку все-го и надо мне на готовое.

— Безотказный. По делам издалека узнаю, шагам твоим радуюсь.

— Доброго здоровьяца тебе, дядя Егор.

— Без хозяйки нельзя. В поселок ушла, там, сказывали, сегодня обутыливают, по две бутылки на хозяйство. А скоро сенокос — надо приласать, этого не минешь.

Засерчал было Сергуня: заработано же, давно установлена твердая такса на пахоту огородцев, могла бы Лукерья, деньги на стол выложить, для надежности, для прочности трудового соглашения на будущее хотя бы четушечку початую к червонцу выставить. Но пусто на столе — в открытую избянную дверь очень даже отчетливо определишь: хитрят, опять нажимают прижимистые старики на чуткость, бескорыстие. Применились, уверенность обрели, зная, что вторично спрашивать за работу Мазуркин не пойдет. И за старика-бедолагу обидно: слепой, слепой, а лукавит по старухиным наставлениям, тоже, значит, сломанный человек, своих прав не имеет по причине безгласности. Каково ему этак ловчить, когда и картошка посажена, и кадушки первой партии собраны?

Он сочувственно и нежно похлопал по сутулой жесткой спине Егора:

— Ничего, дядя. Ништяк. Загляну, когда вторую партию подготовишь. Или Витюху пришлю.

— Это не скоро. Витюху не торопи, не присылай — хлопотно с ним.

Напрасно засерчал было Сергуня, от серчанья этого своей душе лишняя тягость, а ведь праздник должен быть. Он весело сбежал по лестнице. И снова на просторе, почувствовав себя нарядным, отмахнулся обидчивые думы.

— Хорошо тому живется, у кого одна нога: сапогов немного надо и штанинина одна.

— Завтра приходи, мил человек, — протяжно выкрикнул Егор. — Слышишь ли, Сергей Николаевич. Мы это... исправимся. Старуху приструним, поставим на место, чтобы знала, кого проманывает. Сухая-то ложка кому мила...

— Ага, — отозвался Мазуркин. — Твою прижимистую Лукерью могила на место поставит, — добавил он так, чтобы горемычный бондарь не рассышал — чего зря ума волновать старику, еще и вправду накинется на хозяйку, сам же и пострадает, будет сидеть неделю на полуголодном пайке, она и так запугала его отправкой в дом престарелых.

Вот жизнь поворачивает, каждого по-особому ломает: одному темное отчуждение выпало, другому — передряги, напасти всякие, третьему — ломовая безответная работа до скончанья дней, четвертый, глядишь, спокойно живет, как по маслу едет, поддерживают со всех сторон родные, близкие, начальство и государство. За какие заслуги — не разберешься,

но всегда на виду, при почете счастливчик. Бывает, человек пройдет свой путь, для других стараясь, себе ничего не выкraиваая, рассуждает сам с собой Сергуня, а ему и спасибо не скажут, тихонько, без музыки свезут на кладбище, деревянный крестик без надписи поставят. Это и про себя самого тоскливо подумалось. Не особого рода-происхождения, круглая сирота. Разве Катерина спохватится в одиночестве, обиды простит, да и поревет для приличия. С чего это вдруг сумрак такой накатил? Одернул себя Мазуркин, плащ на все пуговицы застегнул, хотя солнце изрядно уже припекало. Не заметил, как из одной деревни в другую перешел.

— Ишь, расфраерился. Идет, не глядит. Здороваться не желает! — шумит сверху из окна дружок закадычный Митя.

— А чего нам, фраерам?! — взбодрился Мазуркин. — Мы можем из грязи да прямо в князи.

— Зайди, Сергунь, потолковать надо.

Не отказался, конечно. На знакомое крылечко будто крылатый влетел, мензурочку в потайном кармане потрогал — не утратна ли. Только переступил порог, дружок Митя, выпятив грудь и сильно накрениваясь, на одной ноге подпрыгнул навстречу:

— Понимаешь, сижу бездельный опять. Протез выкасили, а краска плохо сохнет. — Митя искренне, по-дружески прижал голову Сергуня к своей колоколистой груди, признается в печали: — На втэковской был — та же песня: нет и нет, не будет прибавки. Уперлась комиссия в затруднения. Я и хлестанул ногу деревянную об пол. Третий раз вызывали, будто проверяют инвалидность, а прибавки к пенсии нет. Вот тебе инвалид труда колхозного... И все внимание.

— Наша участь такая, едрен-покорен.

Митя прижимает его еще крепче.

— Ой, что ты, ломило, шляпа сплюснулась, — пищит Сергуня.

— Шляпа?

— Ну да, — Сергуня хлопнул по своей розовой лысине. — А где она, Мить?

Или потерял? Или сдуло? Пусти. Бежать надо. Закатит ветром куда-нибудь, — тормошится он, будто мальчик.

Широкорожий Митя гангстера из себя изображает, определив, что черная шляпа ему подошла, уткнул руки в бедра, повернулся к зеркалу. Там, в зеркале, он видит себя другим человеком и на мгновение забывает про правую ногу, которой нет уже сорок лет. Снова захватывает, ведет его круговое кособокое движение, теряя равновесие, Митя упирается руками в стену, грузно садится под зеркалом на широкий

деревянный диван. Сергуня уютно пристроился рядом, плечом касается его локтя. Привычно, как и всегда после разлуки, молчит. Дальний гул трактора напоминает давний гул барабанной молотилки. Быков тогда по кругу гоняли. Сергуня за главного, он на четыре года старше, Митя — в помощниках. За стеной, на току, бабы управлялись, а за гужевую и техническую часть подростки отвечали в том голодном году. Такие работники — ветром качало. Тот же Митя был тощий, хилый, сиротского кормления — у тетки воспитывался. Работа вроде бы подходящая: ходи по кругу, понукай быка, чтобы ровненько тянул — тут смекалка нужна, психология, можно сказать, стратегия и тактика. В погонщики не каждого пацана допускали. Митя оправдывал доверие. А сам под солнцем закружился, силенку подрастерял, не сумел через привод перешагнуть как следует, штанину соломой подхватило и...

— Ты чего звал? — возвращается Сергуня к своей обнадеживающей мысли.

— Куда путь?

— Куда кривая выведет. Относительно текущего момента, с учетом обстоятельств, — повторил он слова своего повелителя — бывшего начальника сплавной конторы Сидорина.

— Вот так всю жизнь по кривой и тянем, будто быки, и морда с боков лопухами зашторена, чтобы не заглядываться, ничего не видеть, ничему не завидовать.

— Это верно. Пахал на быках — знаю.

— Дело прошлое. Относительно текущего момента не имеющее значения... Сергунь, печь в баньке пора класть.

— Ну и что? Огородец и твой огоревали. Кирпич готов, песок привезен, глины накопаем. Будет сделано. А ты, это самое, чего звал-то?

— Должок имеется.

— Должок?

— За мной — давний, с октябрянин. Только, Сергунь, возьми облигаций. Сотенная, ее на червонец как раз погасят.

— Какой год у тебя?

— Пийсят третий. Ничего, не излежала. Краски поблекли, хрустеть не хрустит, а номер сохранился.

Сергуня переспросил:

— Правда, пятьдесят третий? На, возьми. Я тебе сразу погашу. — Он достает «красненькую» из нагрудного кармашка.

Прежде чем упрыгать на одной ноге до комода за облигацией, Митюха оправдывается:

— Проездился, понимаешь. Пенсию всю сыну послал. На магнитофон «стерео» выклянчил Артемка. Как раз у него сорока рублей не хватало.

— Хоть бы тридцать. По годам.

— А-а, лишние хлопоты парню. Я корье пойду драть — заработкаю.

— Митюх, ты чего звал? Мензуркин, Мензуркин.

— Тише, Дуська идет.

— Ну так покедова.

— Не егози. Счас хлеб и все прочее в чулане оставит, к соседке грядки налаживать обещалась. Может, принесла маленькую.

Но Митина жена долго копошится в чулане, потом лезет на чердак за бельем, снимает его с вешалов.

— Ага, притихли, соучастники-сопричастники? — кричит оттуда — через потолок в избе очень даже хорошо слышно.

— Это ты про нас? — Митя расправил плечи, задрал кудлатую голову кверху.

Сергуня сглатывает слюну, обеими руками гладит свою жилистую шеенку, звучно щелкает по яйцевидному кадыку:

— Пусто, звенит, — шепчет он, на цыпочках крадется к порогу, заняв новую позицию, выкладывает слово за словом, чтобы и невовремя пришедшая Дуська слышала: — Один говорит: ты — зрячий, помоги. Другой: ты — ходячий, ходи, третий: ты не пил вчера — похмеляться не надо. — А сам и головой и руками маячит дружку, мол, давай облигацию. Тот не сразу решился, расхлебястил воротник клетчатой рубахи, волосатую грудь шкарабает с левой стороны — можно так понять: от сердца сторублевую ветшалую облигацию отрывает. Надумал все-таки, легко и мягко, будто в балете, подпрыгал на одной-то ноге, дышит сдержанно, бумажку эту разглядел для прощания и говорит:

— Памятный год. Великий вождь народов помер... Может, не гасить? Может, внукам на воспоминанье?

— Чего тебе вздумалось? — Сергуня изловчился, в один мах завладел облигацией. — Погашено. Червонец в комоде. Взд-вперед покойника не ворочают. Уговор дороже денег. Ты, Митюх, опечек подлажай. Завтра глины привезем, можно начинать. Вдвоем-то быстро печку сляпаем.

А сам взметывает глазами к потолку, давая понять, что разговор кончает на деловой ноте специально для Дуськи.

— Ой, чуть не забыл. Привет от Варвары тебе. Велела кланяться. Хорошо, говорит, люди добрые помогли.

Митюха уперся в косяк правой рукой, а левой хлопает Мазуркина по плечу и шепчет:

— Действуй, Мензуркин. Действуй по запланированной траектории, но учти, — он теперь тычет пальцем в татуировку

на руке Сергуни, в эти, им же самим наколотые большие инициалы СНМ, что в данный момент должно напомнить празднично-настроенному приятелю: сволочей нынче много. Мазуркин так и понимает это указание на необходимую бдительность в том случае, когда начнут приставать с деловыми предложениями лесопунктовские любители разгуляться за чужой счет — к Сергуне присасывались в прошлый раз, всю пенсию выдоили, ни рубля домой не принес.

Напоминание пригодилось. Только вышел на прямушку, настроился было на походные размышления (по поводу того, что сволочей всех мастей хватает, раньше тоже хватало, а хорошие люди были, будут и есть для бережения житейского порядка по совести, справедливости), но окликнули его лесопунктовые аховые плотники, сидящие на свежих срубах будущего двухквартирного дома для подсобниковских доярок:

— Мензуркин, покури! Мензуркин, приворачивай. — Стаканчик Наливаевич Мензуркин, — так расшифровали однажды выколотые на руке, вышитые на платке его инициалы. — Окажи честь. Повесели публику! Скажи что-нибудь подходящее народу. Ты же при полном параде. По какому случаю?

Отступить? Махнуть рукой? Пройти мимо? Скажут, рыло воротит. Другой раз ткнешься с просьбой (бревна трактором подтащить, дрова поберезистей чтобы выбрали на погрузке, да мало ли что бывает) — заартачается: «Мы тебя не знаем, заселся ты, Мензуркин, на пенсии». Нет, лучше не рвать рукава от жилетки. Какой был контакт, пусть и остается таким. Ну, погогочут, поизгалаются зубоскалы.

Снял шляпу, по-мушкетерски склонился, тайным движением затолкал облигацию, чтобы не высовывалась из кармана. «Черти шабашные, — думал он. — Нарисовались, выпутились, делать им нечего, поденку отсиживают». А решениям этим нахальным сказал:



— Некогда, поспешишь по делу.

— Ну, не ври, Мензуркин. По делу, а сам без портфеля.

— Только что у Митюхи оставил. Завтра печекладенье затеваем.

— Ты пару стихов скажи. А то новенький у нас не верит.

Сергуня снимает плащ — жарко стало, складывает вчетверо на бугорок под кустом. Понадвинув шляпу, глядит за перелесок — там, на другом краю поля, трактор с сеялкой только что в новую загонку переехал. Николай Зимин да его Татьяна яровые досевают.

— Скажи стихом относительно текущего момента. Скажи, Сергуня, поразвей скуку.

— Вы на бревнах сидите, ни об чем болтайте. Мое сердце ни за что только раздражайте, — отстрелился слегка — не хотелось паясничать, да приходится.

— Посерьезней давай, — требует надоедливый рыжий тракторист Размахаев.

— Я, братва, — надежный механизм. Я терпеливо строил коммунизм. Но на речи я, конечно, не мастак. И потому живу нескладно так.

— Ну, что это? С картинками надо. — Нахально самохвалился Размахаев — знает, что ему, трактористу, в просьбе отказать не каждый решится.

— С картинками нельзя. Нынче отгулял, все, отчудачил, — объясняет Сергуня по возможности терпеливо, но вплотную к плотникам не подходит, держит дистанцию, на бревне сидеть не собирается. Размахаев туп-туп, а углядел, что Сергуня говорит одно, думает другое, а делать ему свое дело надо. Смилостивился надоедливый:

— Чего-то не в настроены сегодня ты, Сергуха.

— Бывает. Пойду к Николаю. — И пошел, оставив плащ на бугорке. — Привет вам от Варвары.

И вдруг вернулась к нему вольная легкость. Не пашня ли, свежим посевом приглаженная, напахнула это облегченье? Вчерашний шум из головы улетучился. Желанья, устремленья переменились. Он вдыхал теплый, ласковый воздух и сознавал, что вот стало хорошо без всякой вроде бы причины, хорошо и радостно даже. Идет, как любо, краем засеянного поля, может прибавить шагу, может и остановиться, поглязеть на мелкие цветочки луговые или на синюю гряду дальнего леса, найти в облаках скопления, похожие на стаю огромных птиц или на устремленных за горизонт скакунов. Все движется, меняется в красках и очертаниях. Видеть переменчивое движение тоже радостно, потому что есть на это время и желание. Почему бы, бросив черную шляпу к ногам,

не постоять с задранной головой? Почему не порадоваться? Живой, на своих ногах, при своих руках, при своем уме, зрячий, силенка еще есть, дети, внуки вспоминаются. Никому не должен, все ему должны, но эти долги можно забыть. Нет причины для кручиньи. И солнышко светит. И травка зеленеет. И пташки над своими гнездами поют. А на лугу твои следы, еще не распрымилась трава. Невелик человек, а след на огромной земле оставляет. Иногда всего лишь минуту-другую держится, сохраняется этот след, пока нежные травы распрымляются.

Где постоял, тут и шляпу забыл. Медленно, осторожно шагает Сергуня и кажутся ему собственные шаги широкими, великаньими, чувствует, что постепенно возвышается, вырастает, не замечая, как входит на взгорье. В необъяснимой радости, доброте и жалости ко всему размахивает руки, как бы стремясь обнять живое, подвижное, растущее, ни в чем ни перед кем не виноватое. Трактор остановился вблизи, скавил обороты.

— Сергей! Николаевич! — окликает Николай Зимин.

Жена его Татьяна недовольна остановкой, правит мужем при помощи визгливого голоса:

— Чего остановился? Поезжай. Нечего каждому столбу кланяться.

Но Зимин — мужик с понятием, точно определил: просто так Мазуркин в поле не придет, столбом или вроде пугала не встанет. Вылез из кабины коренастый, почти квадратный детина, и на усталых полусогнутых ногах подковылял на межу:

— Радикулит растряс, вот и корчусь, — пожаловался он.

— А ты, Николаевич, отсадочную мыслишь гульнуть?

— Да как тебе сказать, была такая мыслишка с утра, теперь рассасывается. Ни к чему оно при благодатной погоде.

— Понимаю.

— Ой, Коля, молодую жену запряг сразу, десятый день в тряусичке на посеве. Угрюхаешь, смотри, — говорит Сергуня.  
— Деток не нарожает.

Николай печально хмурится:

— Неродящая она. Химкомбинат устряпал за три года. Врачи не дают надежды. Не обмолвись о том, не ковырни мою Татьяну — печальная она.

— Вона что! — Сергуня покачивается из стороны в сторону. — Столько-то годов бабу искал, в перестарках до сорока лет промаялся и — на тебе. Ох, Колюха, Колюха. А в работу лезешь и лезешь. На хрена тебе? Где раньше пять трактористов, теперь один ты за всех. И бездентный к тому же.

— Не говори ничего.

— Мы как-нибудь вечерком обтолкуем пути-пурепутья. Николай растопырился, уткнув обе руки сзади, разглашивает поясницу. Татьяна не глядит на мужиков, громыхнула, откидывая крышку сейлки, управисто ворочает мешок, высыпая зерно, — словно догадалась, о чём они там говорят, не хочет слышать.

Сергуня бодрится, чтобы деловито выглядеть, распахнул пиджак, большие пальцы под брючный ремень вставил, поднатужился, напружишил животик для солидности, но все равно даже рубаха не натянулась. Чует в себе гордость. Можно погордиться, дав миру восьмерых сынов и дочек, двенадцать внуков и двух правнуоков. Дети на стройках, дети на заводах и фабриках.

Сергуня опять ссугутился, ковырнул каблуком землю, будто особую точку ищет для устойчивости.

— Нынче столбы заготовлю. Мы с тобой хорошие штакетные ограды вдоль прогона поставим — другим в пример. Обленились мужики, расшатанный тын как не видят, —озвращается мыслью к давно обговоренной затее. — Как отсечешь — начнем городить.

— Не надумал еще. Может, уезжать придется по осени. Татьяна перетягивает отсюда, — откровенничал Николай.  
— Вот и подумаешь. Лесопункт скоро прикроют, а дальше что?

— Запаниковал из-за этого лесопункта. Радоваться надо. Земля у тебя под ногами. Земные мы люди. Обратят и в нашу сторону внимание когда-нибудь. Все равно жить будем здесь, пока не остыли к труду, — рассуждает Сергуня, хотя понятно ему, что Зимин ищет оправдание своему плану сменить место жительства ради того, чтобы взять мальчика-приемка, а то и двух из детдома, тогда уже и возвращаться сюда полной семьей через несколько лет, будто со своими. Был однажды такой разговор откровенный. Оно и понятно: не тыны, не ограды нынче на уме Николая, потому и не требовался дальний заход, говорить напрямую пора.

— Бревна, штук пять, возле Княжевского хутора заготовлены, привезти бы, Николай Степанович.

— А глину, а песок накопали?

— Как же. Нашей задержки не будет, только назначай день и час...

— Печку собрались класть? — прервал Николай. — Завтра, с утречка что надо, подвезу. Кладите.

— Вот и разговор. — Сергуня жмет ему руку, достал из портсигара ароматную сигарету. — Закуривай. А мне, по-

нимашь, некогда. — И пошел размашисто, только пиджак вихляется.

— Привет, Татьяна! Привет от Варвары! Повидать бы, говорит, славную женку Николая! — выкрикнул молодецки да и устремился через полосу, нацелившись прошагать мимо поселка едва приметной тропой в Обманово, на огородец к Валюхе — там уже навоз под картошку раскидали.

...Сидорин, чванливый пенсионер, сохранивший себя в благополучном виде до семидесяти лет, качается возле своего крытого жестью особняка в удобном кресле-качалке. Он по утрам принимает кратковременную солнечно-воздушную ванну. Издалека заприметив Сергуню, приподнял соломенную шляпу, глядит из-под нее, насупив брови, зовуще и требовательно, с прежней своей начальственной значительностью. А Мазуркин чихать на него хотел.

— Не сторонись косой, не обегай стороной! — сдавленно-строгим голосом требует Сидорин.

Давняя мода у него такая — голос для грозности сдавливать, у начальника объединения перенял, а тот, как и многие другие начальники, подражал главному надо всей областью. Главный кричит, приглаживая подбородком галстучный узел к груди, зыркая ненавистным взглядом, — подчиненные в рот ему глядят подобострастно, всем видом обещают тотчас исполнить планы, как велено. А пройдет, пролетит, проедет начальственная гроза, те же подобострастники облачаются в грозные виды перед своими подчиненными, тоже угрожают снять, уволить, выгнать, лишить, отобрать, испортить биографию. Сидорин знал, когда держаться кроликом, когда превращаться в тигра. И хотя в данный момент он был без галстука, все равно давил подбородком на грудь и чувствовал, наверно, галстучный узелок.

На пути Мазуркина — бездорожье образовалось: изрыта окраина — бульдозеры целый день ковырялись, чтобы огромный пруд возле особняка в ближайшем и светлом будущем кишел рыбой. Этого не учел Мазуркин. Заминка на траектории вышла: влево кинуться — огородцы грядками покрытые нахолены, негоже такие огородцы пересекать напрямки.

— Наше вам, Аркадий Алексеевич. И от Варвары передаю привет, сочувствие и пожелание доброго здоровья.

— Заходи, заходи. Уважь старика. Внеси краски жизни в застойный текущий момент, — с прежней витиеватостью приглашает избалованный безграницкой властью, исключительной обеспеченностью бывший начальник сплавной конторы.

Впрочем, и теперь еще он не прочь покомандовать, хотя сплавная давно ликвидирована.

Привычка начальствовать ликвидации не подлежит, она может отпасть по ненадобности. Помнится, говорил Аркадий Алексеевич: «Люди многие годы подчинялись, разве теперь они могут ослушаться? Они привыкли ко мне, душевно привязаны».

Сергуня пострадал бывало в этой привязанности: некуда было деться, с такой семьей в колхозе не прокормился бы, а в сплавной заработка писали — не обидишься. И на сплотке по зимам выходило, и на сброске древесины, и на плотах, и на прогоне молевки, за одни заторы на тысячи сдельные наряды бригаде оформлялись. Были заторы, не были — никто не учитывал, ты хоть пузо на солнце неделю суши, хоть в стельку пьяный валяйся, а наряды закроют, чтобы близким и дальним родственникам Сидорина прилично натекло. Река все несет, река все спишет. Хорошо платил Сидорин, ну и почтенья к себе требовал по-царски. Приходилось служить, побаивались: а вдруг откроется, всплывет неутонувшая, то есть незаготовленная, невывезенная, неразделанная, несброшенная на паводок древесина при усердстве какой-нибудь большой ревизии? Не дождался Мазуркин той ревизии, так с неотпущенными грехом и на пенсию пошел.

— Не бывал, не бывал давно. Сугубая неблагодарность с твоей стороны.

— Так ведь, Аркадий Алексеевич...

— Не оправдывайся! — Сидорин косо сплюнул, поцвиркал, скривил губы и пластмассовую гибкую зубочистку вставил в слитно блестящее золото зубов. — По записи моей на льготную пенсию свалил? — голос будто бы перетирает мелкие винтики-болтики.

— Заработано. С двенадцати годов без роздыху, без единого отпуска. Так что извини-подвинься.

— Однако, льготная тебе. На пять лет раньше — учиться.

— Как положено по сплаву. Другая, может, и запоздала бы. Не дожить бы...

— Ну вот. Прыткий мужичок. Жилистый, понимаешь, легкий на ногу. Безотказный.

— Был безотказный да весь вышел.

— Не поверю. Никогда не поверю, Сергаша. Зайди, покури, дорогой мой служник.

Сидорин выражает сочувствие, мол, не сладко пришлось в труднейшие поворотные периоды с такой-то оравой ребятишек, но вот выстоял Сергуня, всех поднял, определил на

жительство в города и сам еще крепок, хоть снова призовай на «молевку», поручай ответственные участки, но призвать то некому и некуда, разве что он, благодетель, может просить о малой услуге в домашних делах: трубу вычистить, ограду починить, залатать крышу или вскопать грядочку под огурцы, ну и на сенокоše поддержка нужна, как не помочь ветерану за все былое хорошее.

— Другие раньше звали. Другим обещано. — Легко сказалось у Сергуни в чувстве радости и воли. — Бывайте здоровы. — И, пораздумав, добавил: — Пить не заставишь, не помыкнешь, как бывало.

Он высмотрел бревнышко, перекинутое через канаву, размахнув руки, словно канатоходец, горделиво прошел на другую сторону. Снова приятно думалось: есть силенка и ловкость, сплавные навыки не пропали. Когда в сплавщиках служил, по быстрой «молевке», с бревна на бревно перепрыгивал, через реку чуть ли не каждый день бегать приходилось. Скажет Сидорин: «Давай, адъютант, дуй в сельпо», — побежит Сергуня за водкой. Специально зараза подстраивал, чтобы, значит, посыльный на другой берег должен перебираться. Да еще и часы на цепочке трясет, время строгое обозначит. Побегал Мазуркин в услужении, помесил грязи на вешних тропах. Хорошее время покажешь, ни одной бутылки не разобьешь — премиальные тебе. А если сорвался, по уши вымок — хохотом наградят, но премиальных уже не жди. Загуляет, загудит вечером бригада Сидоринских родственников, начнут через костер прыгать — Сергуня тоже делай как он, Сидорин, делает, скачи, как все скачут, а ноги уже не держат. Штаны или фуфайка прогорят — ничего, новую спецодежду выдадут по приказу, только прыгай, в огне валяйся ради веселья. Приходилось быть разнообразным человеком. Не только работу работал, а в полной зависимости существовал Мазуркин. Сидорин так и говорил: «По причинам семейного порядка в данный текущий момент подчиняйся, брат, веленьям и прихотям того, за чей счет можешь быть спасен при любых обстоятельствах».

«Ах ты, так твою разэтак, — ругнулся Мазуркин, поспешно пробираясь вдоль забора. — Наскочил опять, нарвался, вынесло меня к нему». Но шевельнулся в нем невытравленный позыв многолетней привычки служить, подчиняться, угодничать, внимать веленьям благодетеля.

Сидорин, облокотившись на ограду, близорукими глазами, конечно, не доставал подчиненного, но его яйцевидная голова вздергивалась, требуя возвратиться немедленно, выслушать и все, что надо, исполнить. Сергуня жалостливо

понимал Аркадия Алексеевича: не сладко будет ему теперь, выглядывай поверх забора, в гости к себе никого не заманишь. Тешился этой думой в отместку, но на злорадство сбиться не мог — не такой он человек, не бывает у него на долго затуманивающей обиды даже на тех, кто походя топтал душу бесшумными хромовыми сапогами. Житуха терпимая, можно сказать, свободная, пока здоровье позволяет — не пропадешь. А здоровья не будет на труды — беда, не належаться бы скрюченным ревматизмами, радикулитами, не стать обузой для жены и детей.

Сергуня встряхнул плечами — приободрился, но спину озабицоило нехорошо, будто улькнул под лед в мутную воду, одежда игольчато прилипает к телу. Бывало такое, а теперь повторяются ощущения. Водкой тогда растирали и для внутреннего растируя два стакана Сидорин враз набулькал — помогло.

Он привернулся в проулок — хотел зайти в сберкассу. Узеньку пегую дверь украшал большущий новенький амбарный замок. «Седни работы ни будит, денег нету» — гласило объявление. «Вот так всегда: если человеку требуется, того как раз и нет, едритвуй в закорюку». Сергуня пощупал облигацию — на месте. Некоторое время стоял, издали глядя на жаждущую очередь возле орсовского продмага в трудные часы обутыливанья.

Старухи его заметили, заботливо маячат руками: иди, мол, привезли эту самую, загодя по две бутылки для троицы давать будут. Он пооткровеничал, кивнул на сберкассы, а ему отвечают толковыми жестами: и без денег под запись дадут работному человеку — в этом нельзя отказывать, причитается через две недели радость.

Сергуня раздумывал, колебался. Шажок, другой — к магазину, будто сами ноги направление взяли. «Стой, брат, шалишь. Куда спешишь? Куда тебя зовут? Опять паясничать, кривляться? Да лишь за то, что в долг дадут?»

Затолкал кулаки в карманы, слишком просторные брюки распузырил, словно галифе, и пошел прочь, гордо подняв голову. А солнце слепило глаза. Бодрилась душа. Не было в ней никаких ущемлений. Не испытывал такого, что нигде не ждут, никому не нужен. Раньше это случалось. Но миновали времена насмешливого отчуждения. Теперь Мазуркин вроде бы сам себе хозяин, статится только с теми, кто житейски близок, по устремлениям, равностию условий — родня. Никакой зависимости, никто не помыкнет. Вольно гуляй в привычном родном пространстве между трех лесных деревень, кажется, забываемых и самим богом.

«Леня, Коля, Толя да Полина, Ваня, Люда, Таня, Дима не скучают, видно, по отцу», — начал сочинять, но его снова требовательно окликнули. Остановился, крутит головой — понять не может, кто и откуда зазывает:

— Сергуня, скоро ли ты? Ждем. Забыл разве? — одним голосом спросили, другим упрекают: — Шляешься беззаботно. Говорил так, а вытворяешь этак.

Углядел, уразумел: Катерина поверх забора тянется, кулаком грозит, а с другой стороны — на Обмановской оконице Валюха нарисовалась в нарядном васильковом платье. Отмахнул Катерине-картине, чтобы не волновалась напрасно: на сей раз мужик не увильтнет «налево», с другой бабенкой случайную любовь не закрутит, у привычной Валюхи не хватит медовых чар упоить его на тайныйnochлег. Промелькнули, отошли насовсем давние азарты.

— Не волнуйся, мать! — отчетливо крикнул, потише добавил: — Сказано — сделано! Мое слово олово.

Понятно, переживает Катерина, бабья гордость не дает покоя, прошлое нет-нет да и ворохнется в душе. Обманутая однажды через всю жизнь холодок сомнения переносит: не свильнул бы мужик, не дал повода для суда-пересуда, для худой молвы, которая и до детей добежать может. Улыбнулся Мазуркин над своими мыслями.

Валюша ходовая, огневистая раньше была, и потому всякий праздник для нее — радостная возможность захоронить к себе гостя, угостить как следует, приласкать, чтобы и в будни дни не забывал дорожку. Не тот стал Сергуня, другие радости и стремленья теперь у него. Огородец вспахать — это можно, это, пожалуйста, по причине душевной доброты нельзя отказать, а чтобы все остальное — не для него. Так что не волнуйся, Катерина-картина...

Маленькая, аккуратная смуглышка Валюха по-прежнему глядела на него, да он-то стал другим. Впрочем, и она оформилась на пенсию, собирается уходить из доярок, рученки не терпят, ноженки плоховато ходят. С тринацдцати лет в животноводстве — навертело.

— Здравствуй, Валюша.

— Пришел. Не провался. Катерина тебя, небось, бранит?

— Бранить положено, как же. Свои дела брошены, на чужие огородцы ушел.

— Больше нам никто не поможет.

— Видно, так оно, Валюша, — согласился он и для игривости пропел: — Раньше было: выйду, выйду — то к тому, то к этому, а теперь выйду, выйду — проводить-то некому.

— Ты печаль мою выпеваешь, Сергуня?

— И твою тоже.

— Понятливый.

— Душа душе знаки дает. — Распахнул пиджак, подбоченился, франтовато выглядит. — Сказывают, мы с тобой, Валюша, одного класса, из этих самых экспроприированных, вот.

— Ты грамотный, наговоришь ученых слов и язык не сломается. А нам все одно работать, Сергуня. Нашу работу никто не выхватит, никто не ликвидирует. Виноватость тоже наша. Корова клевером обожралась — Валюшкина вина, тлененок затомился в изгороди — с моей зарплаты вычеты. Дети на города устремились да в нехорошие дела попали — мать не доглядела. Оправданий нет, не придумаешь. Ко всему причастная, во всем виноватая. Пока жива, так и будет. За любовь и слезы надо расплачиваться. Свою беду не отмажешь, от чужой не отвернешься.

Странно говорила Валюша, не ко времени, не к месту, но Сергуня соглашиво кивал, а сердце сжалось от понимания и сочувствия.

— Ничего, ништяк, едрена копалка. Огородец посадишь — легче пойдет. До сенокоса — передышечка проглянет недельки на две.

И эти простые, в общем-то, ничего не обещающие слова подвеселили, подбодрили Валю, она развязала косынку, широко взмахнула ею, будто в пляску собралась, плавно прошла полукругом возле Сергуни:

— Говорят, что ты красивый, говорят, что ты баской. Вот уеду — не приеду, изведу тебя тоской.

Надо на огородец спешить — там все к посадке готово, а она расхаживает возле него с припевками. Несуетлива баба — тем и хороша — не затыргосит, не задергает. Пришел — отдохни, дело сделается, коли намечено.

И, правда, сама собой пошла пахота. Конь Рыжко, привычный к борозде, ровно тянет, только изредка покрикивай на него. Первую борозду пропахали прямехонько.

— Тебе грядки-то в пять пластов или пошире? — спрашивает Сергуня. Валюша отвечает:

— Паши как себе по душе.

Сергуня посчитал, сколько грядок образуется, помянул бога добрым словом, осенил себя крестным знамением, потому что наверняка отец так делал, и направил плуг возле свежего пласта, чтобы свал получился ровный, не петушиным гребнем. Ох, эта нелегкая да сладкая огородная пахота! Грядочка возле грядочки пышно встает. Огородец меняет облик, сразу делается ухоженным. Сергуня думает опять: если бы не передряги всякие, если бы при отце расти, жизнь за-

взялась бы по-крестьянски складно, весной пахал и сеял, осенью — жнитво, молотьба, озимой посев. И дети — рядом, при тех земных заботах... Окрыллено держался он за высокие поручни плуга, деловито и требовательно для порядку покрикивал на коня, а думы шли полосами, тоже прикладывались одна к другой по всему полю пережитого.

Солнце клонилось к закату. Стремительно промелькли вали стрижи и ласточки, круговыми заходами планировали ушлые вороньи и галки.

Обычная огородная заплатка расширялась до размеров былого Княжевского поля.

Чтобы сберечь начищенные сапоги, он работал босиком, радуясь тому, что земля учредилась как раз, мягкая, теплая. Да и легче босому.

Валя все время копошилась возле свежих грядок, а к моменту окончания пахоты (Сергуня так и подумал, глядя на нее: «Относительно текущего момента управляет соответственно») принесла глиняную кринку с квасом. Обрадовался, поспешил утолить жажду, но с первого глотка понял, что благородный напиток у Валюши, как всегда, особенный:

— Подъешьила разве, хозяйка?

— Самую малость. Четушечку на два литра. Думаю, дело такое, надо подвеселить. Разогреешься. Обувай сапоги-то.

— Это ничего. Это ништяк. Это простительно, едрена копалка. — Пивнул еще немного, чтобы не обижалась Валюша, обгладил запотелую кринку. — Нако, Валь, подержи. Относительно текущего момента. А на сегодня хватит, пожалуй. Праздник у меня особенный, едрен-покорен.

— С чего это вдруг?

— Вроде бы дня рождения... Да-а. Другим человеком себя чую, — гордился он, натягивая сапоги.

— Так-то, смотри, нехорошо. Нехорошее такое предчувствие. Ты не набеди, не придумай дурости. — Валюша вспомнила давние отчаянные притчания Сергуни, стоны его и крики — по пьянке грозился руки на себя наложить, помышляя избавиться от невыносимого житья-бытья. Молодой был, одинокий, безродный, вроде бы никому ненужный, бездомный, малорослый, из-за росточка в армию не призвали.

— Сама ты придумываешь хреношину.

— Пошутила ведь. Или не знаешь меня.

— Шуточки, Валька, у тебя больно зубоскальные. Ништяк. Не обиделся. Пора мне. А ты соседей кликай, пусть борозды проходить помогают. Как-нибудь зайду парник налажу. Дам жизни вдох, дам сладость муекам.

— Никто не заменит тебя, в случае чего.

Она печально улыбнулась, на смуглом усыхающем лице мелькнуло давнее вдовье смущенье. Конечно, вспомнила первый послевоенный грех, на который сама склонила Сергуню Мазуркина в пятидесятлом году.

Он пошел из огородца в хорошем расположении духа: дело обещанное сделано, слово сдержано и вспомнить прошлое приятно. Широко распахнутый ворот рубахи похлопывал разгоряченную шею и грудь.

Валя спохватилась, заметив на сучочек под черемухами его праздничный синий пиджак, но кричать не стала: «Парник обещался наладить — придет скоро. Нехолодно теперь, вон теплынь как парит».

А Сергуня думать не думал о том, что и где оставлено. Даже за светлые пуговицы ни разу не возникло у него беспокойства, хотя лесопунктовские шутники злорадные уже надругались над торжественным плащом: возле стройки сорудили пугало огородное, отрезали новые пуговицы и вместо них пришпандорили медной проволокой деревянные костилики...

— Эх, живет Валюха в доме крайнем от шумной славы в стороне... И от ее любови странной до слез обидно, горько мне, — шептал он, боясь, что кто-нибудь услышит. Жалостливо подумал: надо бы вернуться, обиходить свежие грядки, пускай соседки помочко садят картошку, но в низинах уже разились прохладные вечерние тени, пора и на свой хутор. Оттуда, с Княжевского хутора, кажется, позвал Виталий: «Где ты шляешься, Сергуня. Поторопись, ведь обещался!» Может, прислушалось. Может, зуденье комара возле уха в такой похожести на человеческий голос повторяется иногда.

За деревней, возле неторопливой стройки, возле срубов, увенчанных стропилами, маячит кто-то незнакомый. При какой заботе, чего ожидает? Странный гражданин в длиннополом синем плаще растопырил руки, высоко вздернув голову на тонкой шее, стоит пугалом огородным. Не спохватился Мазуркин и в ум не пало, что злой шуткой его прадная одежда изуродована, выставлена на посмешище. Теперь не вспоминалось о нарядах, наоборот радовался свободе и легкости ничем неестественных движений. Вольно телу, приятно в быстрой ходьбе, но душа не получила еще полной вольности, давит и давит на нее тот бывший депутат райсовета, который частенько при торжественной чинности объявлял себя служой народа, козырял званьем передовика производства, почетными грамотами, частыми премиями, орденом за трудовые заслуги. Он, этот слуга народа, всегда

потешался над безответным Сергуней и до сих пор норовит ущипнуть, только попадись на глаза. Сродственники его, близкие, и дальние, при таких же повадках и привычках. В конторе бухгалтером сидит сноха, сын стал заведующим подсобного хозяйства, другой — председатель сельсовета, дочка столовой заведует, жена (на десять лет мужа моложе) в торговом орсовском складе заворачивает делами, хоть и пенсионерка. Куда ни ступи — везде Сидорина линия, его порядки. Вот оно и теснит безответную душу, вот оно и печалит, потому что не высвободился Мазуркин от многолетней зависимости. А куда побежишь? Подчиняться все равно комунибудь надо. Не в том беда, что осталось подчинение, а в том, что не ценят тебя за труды и скромность, всякую малость — баночку кильки в томатном соусе, два килограмма крупы рисовой, бутылку масла подсолнечного, даже бормотуху — выпрашивал бывало с поклоном и услужением, потому что «под запись».

Он резко отмахнулся от комаров и невеселых дум. Выйдя на взгорок, вздохнул глубоко, аж грудная клетка запохрустывала. Открылся хуторской простор. Издали сенокосная луговина казалась ровной, похожей на районный аэродром, косить пойдешь — косы береги, косьевище запасное имей: кочки, камни, кирпичи, железяки, стекло битое, проволока, черепки, исковерканная домашняя утварь — всего понаброшено. Раньше тут была пашня. Десять добротных изб. Хутор. Осередь хутора прогонистые березы белоствольные стояли. Так поселенье образовалось, таким особенным кругом жило до тридцать второго года. Кроме берез малый Сергуня, наверно, не видывал ничего из окна отцовского дома. Вспенивалась, кипела под ветром листва — этим виденьем и помнятся давние березы. Вместо хутора теперь, вместо рощи хуторской одни поленницы леспромхозовских дров. В распутицу забавлялись лесорубы, чтобы безденежно дни не пропадали. В лесосеку ехать нельзя — бездорожно, а тут поблизости перевыполняла планы бригада Размахаева, заготовляя дрова для райцентра. Сергуня и Виталий Крутцов тоже подрядились на заработок, долго хрястали колунами. Сообща с леспромхозовскими, на одной эстакаде. Деньги нужны, нельзя случай упустить. Вот и понаставили длинных поленниц. Конечно, винца попито было изрядно... Кто от нечего делать, для веселья, а кто и с горя. Размахаев, во всем подражая тестю Сидорину, говоривал про Сергуню: «Его и самого-то в суму положить да мензуркой прикрыть...» Зубоскалил, сильно зубоскалил подъедливый хитроман, а другие подпевали, им что, молодые, лишь бы весело было, потешались

над безответными в свое удовольствие, не разумеют уважения, сочувствия, стыда и совести. Размахевшина эта завсегда вокруг Сидорина кустится. Липнут балабоны к нему.

Не надо бы о том думать, а не унырешь, думается, душа покарябана, ноет и ноет она. Пока шел на Княжевский хутор, с одной печали на другую переметывался. И Катерину свою жалел: не сладкая жизнь получилась у женщины. О детях мыслил так, будто им на роду написано пройти дорогой отцовских страданий, обид, унижений. Но и надежда была на лучшее обустройство, все-таки в городе, все-таки неберодные, родители живы, заботятся, помогают, за внуками приглядят. Уже прикидывал расчетливо, кого из детей в первую очередь надо по осени навестить. Конечно, Людке в Череповце потруднее других, без квартиры она, двое ребятишек и сама еще молодая, приодеться, покрасоваться не грехно, может, приметит какой самостоятельный мужик, может, во второй раз посчастливится замужество.

Взошел на растерзанный взгорок. Резанула по сердцу неприглядная картина: вместо хутора — лесорубовская эстакада, кучи всякого хламья, будто на свалке, клетки крупно колотого осинника, поленницы березовых дров. Где хутор? Приметы его исчезают, поминай как звали. Не за что памятни зацепиться, не выстроит она желанное виденье на том самом месте, где стоял родительский пятистенок. Нет уже времени и сил на то, чтобы выстроить свой дом на этом взгорье, перетянуть бы в крестьянский труд сыновей да затеять разработку хуторской земли, на которой — старики это помнят — такая рожь выстаивалась, что в ней заблудиться, упутаться можно. Распахать бы, снабдить навозом вдосталь...

Он примеривался, планируя полосы под рожь, пшеницу, картошку, овес и горох, под клевер и тимофеевку. Обозначил место для своей старицковской избы, а по обе стороны воображал двухэтажные особняки Леонида, Николая, Ивана, Дмитрия. Постепенно воспаряла душа в мечтаниях, и казалось уже, что идет по общему семейному саду меж цветущих яблонь и черемух.

В небе тоскливо кричал планирующий канюк. Совсем рядом пропорхнула сорока, уселась на крышу обогревательной избушки, трещит, зазывает гостей.

В этой будочке отдыхал прошлым летом, спасаясь от дождя и скуки пастух Виталий, зимой лесорубы грелись, картежничали в ожидании получки, говорили о политике, экономике, забавлялись анекдотами. Истыканная, исколоченная избушка, как часто бывает у лесорубов, оказалась им не нужна больше, брошена на произвол судьбы, но Виталию

пригодилась — он превратил ее в свою дачу, и тайно — в мастерскую. Только Сергуня знает: отгороженная прочной переборкой половина — изобретательский кабинет, в нем Виталий секретно колдует. Иначе нельзя. Он даже в лесопунктовскую мастерскую не обращался с просьбой выточить сложные детали, а специально ездил к родственнику в Мантурово. И правильно: здешним только на язык попади, только обмолвись — помешают, никакой замок не удержит, когда любопытствовать приступят, поэтому пока не получилось, нечего об этом кукарекать.

Ждать дружка оставалось недолго. Виталий прогнал стадо к ферме часа два назад, — значит, закончилась дойка. Сергуня потоптался на месте, взглядывая туда-сюда, сел на кряжик возле теплой жестяной стенки. Тишина и покой разливались по земле. Мысли пошли ровно, деловито. Надо помочь Колюхе — ограду ставить, Мите — печку в бане сложить и с колодцем будет возни. Сенокос предстоящий силенки потребует, никого не обежиши: ни Егора, ни Варвару, ни Валюху. Надеются они на безотказного Мазуркина, как же.

И отшло, не тревожило больше зарожденное утром предчувствие какой-то беды. Все вокруг было молодо, зелено, чисто, правдиво. Сергуня вроде бы беспечно тараторит: «Нет лучины, есть болото, на болоте светит что-то. Без лучины по болоту не пройти. Я — бездельник. Катя. Ты меня прости. И по совести скажу: Витька дорог, с ним дружу».

Засыпая, определил: душа смирилась и молодеет, значит, надо еще дать жизни вдох, дать сладость мукам, чужое вмог почувствовать своим... Относительно...

Уходящий день посмурнел, волгая наволока белела по окружным низинным закрайкам, лесная синева приближалась со всех сторон, несметно-шестающая тишина убаюкива-



ла, уютно было при возвращенном чувстве родного крова. Тихо и мирно, как в самом раннем детстве, когда еще ничего не понимается, но есть тепло, покой, сладкая нега под близким дыханием и колыбельной песней матери. Кажется, утро переливчато светит в далекие окна, зайчиками играет на потолке. Подпрыгнуть бы, схватить одного зайчонка. Да туго спеленат, руки-ноги затекли. Подтянуться бы навырост.

Потягунюшки, порастунюшки,  
Поперек толстунюшки,  
А в ножки ходунюшки,  
А в ручки хватунюшки,  
А в роток говорок,  
А в голову разумок.

Вокруг зеленым-зелено. Утро другое, простор другой, под ногами шелковисто. На своих ногах, при своей воле, в своем уме-разуме. Что видано — знаешь, что слышано — понимаешь, все живое знакомо, все — родное, твое. И дом, и лес, и березы, и речка, и спелое волнистое жито... Всюду спелая ягода-земляника. Хочешь — в лукошко клади горстями. А пчелы гудят, роятся под черемухой, привились черной бородой на малиннике. Подставил решето, отряхнул в него клубистую тяжесть — огруб, значит, рой прилетный, вот и ладно, не прозевал. И мама обрадуется, и тятка похвалит. «Эко счастье привалило». Пчелы снуют по рукам-ногам, под рубаху лезут — щекотно, а ниско-лечко не страшно почему-то. И сам понятливый среди них, будто бы огромная пчела. А сверху склонился Сидорин, липкое лицо все ближе, ближе. Зубы золотые искрятся... Голос-приказ: «На бревне плыви!»

Звякнула щеколда. Тарахтит, ворохтается кто-то за стеной.  
— Ты чего это пожитки свои оставил, друг любезный?

Распрямиться бы, привстать. Спина застыла, руки-ноги будто пеленкой затянуты, глаза медом залило.

— Сергуня? Спиши, аль нет? — за плечо тревожно торышают. — Да что с тобой, парень?! Эх вы, частники-соучастники, чуть что, и сразу спать.

Витя разговаривает, он это, он!

Мазуркин зевнул, потянулся, встает:

— Ой. Витек. Завсегда все лучшее только во сне у нас.

— Брось, брось хандрить-то. Опять печальные разговоры говоришь. Пробуждайся. Ни об чем плохом не думай пока, а то постигнет неудача, понимаешь.

Витя бодрится, костистая худоба его вроде бы даже весело позывкает под шумливой новой спецовойкой.

— Нарядился в зеленое — помолодел, гляжу. — Сергуня протирает глаза.

— Во-во, протирай зенки-то. И паутину с хари обери. Пауки на усах путаются у тебя. — Витя скрадчиво отодвигает за угол положенный на доску парадный плащ Мазуркина: нечего расстраивать мужика, пускай не знает, что вместо блестящих пуговиц были пришпандорены деревянные костылики — надругатель Размахаев над ним потешался, в огородное пугало превращая, а другие усладливым смехом давились.

— Что так долго? Свечерело уже, — Мазуркин упрекнул дружка.

Чокер пришлось заплетьать, ведущую шестерню представил. В общем, убранные все конфликты. Должно пойти. Мать вслед благословила: «Дай-то, бог». — Витя для успокоения помнил слова матери Варвары. Было понятно: сегодня он раскрыл ей все свои секреты, потому что не мог больше придумывать объяснения и оправдания своей домашней бездельности. — Порядок, нет никаких конфликтов, ни в техническом, ни в житейском смысле. Правда, ученые люди говорят: без конфликтов жить, думать, сочинять, изобретать нельзя. А нам не нужны конфликты. Верно, Сергуня? Зачем эти конфликты? Тишина, покой, доброта. По чести, по совести. Взаимопонимание да лад.

Вот затрешил новая, никем невиданная машина, уцепится за тонкий трос и потянет первую борозду заданной глубины. Нехитра техника да разумна, экономична. Куда угодно перебираясь, где угодно паши, даже самые дальние, давно забытые угодья. Ни кнута не надо, ни овса.

Всю долгую распутицу разрабатывал Крутцов тайное изобретение. Только Сергуня и был посвящен в эту тайну, только ему доверено присутствовать на испытаниях, потому что понятливый. А другие одно твердили: опять загулял Витюха, в будке и ночует.

— Пора начинать. — Крутцов забрался на поленницу, чтобы оглядеться: округа безлюдна и молчалива. Теперь они с Мазуркиным одни не только на Княжевском хуторе, но и во всем мире. Осторожно, даже сдерживая дыхание, стараясь не стукнуть, не брякнуть, открывали замаскированный потайной люк возле обогревательной будки, вызволяли из ямы, словно из погреба, компактно собранный самоходный плуг. Точнее, не самоходный, а самотяжный. Как и подобает, у плуга этого двухколесного начищенные до блеска лемехи и отвал, пред ними прямой ведущий нож-отрез, на укороченной раме — мотор «Вятка» да небольшой барабан хитро устроенной лебедки. Самоходный колесный плуг первой конструкции пробуксовывал, зарывался в землю, а этот,

самотяжный, должен пойти — даже Сергуня уверен. Не потому ли с утра празднично волновалась душа?

Недолго копошились возле пахотной самотяги, обмакивая, обтирая. Выверили регулировку. И покатили на простор к той самой ровной площади, которую давно уже разметили на месте бывшего полисада. С одной стороны плуг, с другой — зацеп типа «краб», способный перешагивать ровно на ширину пласта, укрепляется он рычажными иглами. К нему, к этому «крабу» застопоренному, и должен подтягиваться плуг, наматывая трос; в обратную сторону — к другому «крабу».

Максимальная длина прогона для начала двадцать пять метров. Можно и больше, да не нашлось тросика подлиннее. Несовершенна машина еще, но главное в ней уже есть, а там уточнить можно, улучшить, до ума довести в процессе работы — так и думали мужики, на том и согласились в своей тайной мечте, собираясь огородцы пахать. Да не успели ко времени, так что для будущего затея.

Уцепили приспособления — за матушку родительскую землю, стоят друг против друга на расстоянии двадцати пяти метров, приветливо и понимающе переговариваются.

— Ты слушай мотор, как он будет натруживаться, глухнуть — муфту выключай, — советует Сергуня. — Мало ли что, может, корни толстые или каменюка.

— Только Архимедовы рычаги не послабль, а то стрельнет под натягом. — Крутцов тоже предупредил на всякий случай.

— Рычагами управлю, не бойся. Эта ломовая тяжесть завсегда на мне.

— Меняться будем. У нас равноправье.

— Я — надежный механизм.

— Знаю, знаю. Мы с тобой не лыком шиты, не лаптем шти хлебаем.

— Ладно приговаривать. Заводи.

Чихнул, стрельнул моторчик и залопотал. Отступила туманность, светлее будто бы, просторнее стало, ожила, загудела округа, птицы всполохнулись, мелькают в малиновом небе. Крутцов склонился, насугорбился над плугом, того гляди, упрется и продвинет его вперед. Из карбюратора вычохивает дымок прямо в глаза. Крутцов к дыму привычный — в куренье притерпелся.

— Ну, держись там! — кричит Сергуня.

Всплеснулись волны вдоль тросика, выпрямило его, превратило в струну. Вздрогнул, прильнул к земле уцепистый «краб» и толкнуло рычагами в руки — Сергуня напрягся так, будто сам держится за поручни конного двухкорпусного плуга.

Интересно пошло: один человек стоит, а другой — пашет. Ни коня, ни кнута. Ровненько пробная неглубокая борозда чертится. Получилась наметка, от нее дальше танцевать надо. Сделай разворот — и в другую сторону подтягивайся. С разворотом, конечно, путаницы много. На коня-то прикрикнул бы, вожжой скруглил его, а тут, с тросом этим, двойной перецеп. Что-то не так, по-другому бы надо. Однако, зacin есть. Хорошо, прямохонько неглубокая первая борозда прочерчена.

— Дай-ко я, Виталий.

— Управишь ли? Газ надо чутко держать. И передачу вовремя отключай.

— Сделаю.

Крутцов передал управление Мазуркину. Сам по-мальчишески побежал к противоположному краистому зацепу. Тут его и осенило: «Не так бы! Мотор стационарный должен быть. И лебедка — стационарная, на краю поля. А плуг любой пойдет! Вот упрямая башка, уперся в одну идею! — бранил он себя.

— Мужик, что бык. Втемяшится в башку какая блажь...»

Не признался Крутцов, промолчал, чтобы не огорчать дружка, празднично прожившего текущий день. А Сергуня и сам не дурак, сообразил, взявши с за дело: напутали, конечно, нагородили с этими крабами, тросами. Понятно ему несовершенство конструкции, но Витаху огорчать не хочется.

— Поехали! — кричит.

Самотяжный плужок словно бы сам ухватился за трос, карабкается, тянет за собой борозду. Несспешно, ровненько идет, можно бы побыстрей, нужно даже. Сергуня важно держится за поручни, газу прибавляет — под шумок оно веселее! Вот и пошло, вот какие мы! Сами по себе, а не как-нибудь. Не по указу-приказу, а по воле здесь целину поднимаем. На своей земле, а не в чужом поле. Что делать — знаем. Дернистая, замшелая луговина, но поддается. Корешки трещат. Пласт на ребро встает — глубже запахарилось, ногой надо пласт притопывать. Это можно, подладишься. Медленно пашется, конечно. Скорость маловата, вот и не отваливает, не откидывает отвалом крылатым. На вторую передачу бы переключиться. А нельзя, моторчик слабоват, нет в нем лошадиной силы. Так-то можно грядки в огородцах пахать. Все лесопунктовское население заинтересуется. Сергуня с Витией не откажут, лишь бы с горючим не было перебоев.

Крутцов тоже довольного из себя изображает. Придавил ногами оба рычага, руки торжественно вскинул:

— Давай, давай! Пошла, милая!

Мало ему этой выразительности, как футболист, забивший долгожданный гол, подпрыгнул еще, чудак. А прыгать то с рычагов и нельзя. Ладно, Сергуня «газом» распорядился:

— А ты чего прыгаешь?

— Забылось...

Во время перекура они пришли к выводу, что конструкция не доведена до ума и потому при своем несовершенстве требует не одного, не двух, а даже трех работников, чтобы не бегать из конца в конец; с этим самотяжным плугом один в поле не воин, что-то надо менять, придумывать.

К чертам эти «крабы»! Приспособиться надо таким mannerom, чтобы вдвоем управлять без беготни: нужен легкий плужок и стационарная лебедка. Вместо лошади — лебедка с мотором. Один пахарь — за плугом, другой — у лебедки. И вся премудрость. Теперь просто кажется, есть начало, от него танцуй!

— Ничего, Сергей Николаевич. Разберемся — наладимся. Механизм — не человек, его до последнего винтика раstryсти, раскидать можно и снова соберешь, еще толковей презнного.

— Все и будем переделывать? Пашут пусть другие?

— Мы своего не упустим. — Крутцов хорохорится.

Первый шаг сделан и отметить его следует по русскому обычаю, грешно такой почин не обмыть. Малыми недоработками огорчаться нечего, «хорошая мысля приходит опосля», заводы для села и то недоумки выпускают, а чего требуется позарез — не дождешься, те же мотоблоки давно нужны при деревенском малолюдье, но все нет и нет их, да и цена закручена, говорят, лихая, где простому пенсионеру такие деньги взять — не учтено.

— Если честно сказать: затея наши — детская забава, не знаем куда себя деть, — мыслит Мазуркин.

— Это ты, Сергуня, зря толмачишь.

— Повод для выпивона тоже нужен. Что не так?

Крутцов не соглашался с ним, хотя поначалу действительно ради забавы придумывал особенный плуг, от печали, тоски, одиночества спасался. И от пьянки тоже.

— Мечта, понимаешь... Дума о том, как должно быть на земле, запоздалая у нас. Человек главный тот, который пашет. А нас куда-то с детства все мотало и мотало.

— Не поправишь теперь.

Разговорился Крутцов, печаль неудачи заглаживает. А Мазуркин опять осенил себя крестным знамением, встал на колени перед свежей пахотой...

\* \* \*

Они были одни в хуторском исковерканном просторе. На месте былого хутора нынче уже не шумели березы, не пахло земляникой, но едва уловимо витал свежепахотный дух, возбуждающий воображенье. Подыпив самую малость, мужики примеривались к будущей жизни в печали от того, что не смогут до нее дотянуться. И все-таки виделись новые дома на этом взгорье, слышались голоса детей, ржание коня, звон кузнечной наковални, крики петухов. За перелесками — протяжные песни. Вспоминая отцов и дедов, говорили о том, что, должно быть, в те давние годы люди не мучались разорным предвиденьем, не могли предположить, чем все тут кончится, и во сне им не снились поленницы на этом месте.

— Ой, дров-то наломано везде, — тяжело вымолвил Сергуня. — В экономике, политике — дрова.

— Ты и сам ломал. Денежки получены, пропиты.

— Такая жизнь. Будто водой несет. Крутимся, крутимся. То одна дудка дудит, то другая, а пляшут все те же.

— Надоело — не крутись.

— На бревно попал — выстаивать надо. Чапаешься, ча-паешься. Устоять охота. Водополь холодна. Сорвешься, уль-кнешь — и топором на дно.

— Пил бы меньше, когда подносили за государственный счет по ловкачеству.

— Такая жизнь. Живешь, как велят. Протрезвеешь — глядь, заблудился. Ходишь, ходишь, как в этом самом, ну как его, в лаб-ри-ни-те.

— Нету такого слова. Лабиринт — надо говорить.

— А у меня есть. По языку, оно будто ласкает и бранит.

— Лабиринт, — повторил начитанный Крутцов. — Запутанность положения, обстоятельств. Много ходов, а выход единственный.

— Во, точно! Пойдем вдоль поленниц, будто в лабиринте, будто князья-графья.

— Просто так? Относительно момента? Последний эпизод текущего дня? Можно пройтись.

— Куда, в какую сторону податься?

— А все равно от своей земли не уйдешь. Ты не хандри, Сергуня. Мы еще с тобой чего-нибудь придумаем, мы

еще душеньки потешим, печаль обхитрим как-нито. Иной раз подумаю: вот быть бы тебе князем или графом. Или каким-нибудь фон-бароном. И все бы тебе кланялись.

— Хуторянин я. Из раскулаченных. Слуга начальника Сидорина, вот. И больше ничего. Относительно текущего момента имею право на другие полномочия, а нет их у меня. Опоздал, поздно спохватился-то.

— А стал бы ты графом?.. Граф Монте-Кристо. «Всех я люблю так, как господь велит нам любить своих близких, — христианской любовью: но ненавижу я от всей души только некоторых».

— Правда это. Рассказывай, рассказывай опять. Ты много читал, Витюша. Тебе хорошо, ты много читаешь. Раньше, в детдоме, я тоже за книгой скрывался. Уткнулся и все, будто нет меня в этом мире.

— Гляди, там просвет, — обрадовался Крутцов, поддерживающая дружка. — Вот и миновали. Эх-ма, как ты говоришь, эх-ма, Кострома, остынешь сама. Пора бы остынеться. Через великие переломы сколь раз прошли. Примысят кое-что к Ленину и творят великие переломы грубостью да жестокостью неразборчивых методов. А теперь спохватились, пишут — только читать поспевай. Аж, голова кругом. Бизнесовая бесовская муть.

— И телевизор про то. И радио про то. Послушаешь — тошно так! Хлеба лишний кусок не дай, медом не корми, а правду скажи — оно и полегчает. Не говорят...

Сбивчивый, переметчивый разговор во взаимном понимании выстраивали мужики, не переставая ходить между поленницами. И в этом хождении был для них праздник. Иногда косо пролетывали ночные птицы, словно узнавали, кто тут полунощничает. Сергуне казалось, такое уже было с ним. Поленницы, штабеля, смутно белеющие в стороне бараки, чавканье болотины под ногами... Думалось: так и заведено, так и проходит человек свой путь, к концу ощущая, что все будто бы повторяется, что все он и раньше знал, видел, испытывал, переживал. И ночь такая была. Понятно теперь, чем кончится однажды начатое, уже согласился, что в последние минуты будет лежать тихо, расслабленно и доверчиво, как ребенок в той давней лубковой зыбке. Витюхе, наверно, близка печаль этих дум, он предложил посидеть еще раз вnavalochku возле будки, отдохнуть перед возвращением в Крученую. И за эту догадливость Сергуня был благодарен. Он развалился, ощущая себя ребенком, глядел на самые дальние, едва заметные звезды и

думал, что, пролетая к ним, когда-нибудь душа опознает те, более близние, которые в этот летний час где-то таятся на другой небесной половине. Его тревожило смутное припоминанье другого леса и неба, другой ночи. На севере было, это — нынче все знают, на далеком севере...

— Не молчи, Сергунь. — Крутцов толкает его локтем.

— Гляди, снова пролетают сторожки птицы. Чего они, а?

— Когда-нибудь вспомнят это место, узнают, где стоял дом и какие были наши думы...

— Ты стихом говори, стихом надо! Умеешь ведь. Я пойму.

— Ночь. Везде наломаны дрова, как бы развалены строения. Нигде тропы, просвета нынче не видать. Это что же с нами? Откуда наважденье? Имеем право знать...

Поблизости протяжно зовет его жена:

— Сергу-ня-а-а! Пора домой.

— Слышишь, это Катя. Иди ее встречать, — Крутцов помог ему подняться, подтолкнул навстречу к жене, а сам увернулся, чтобы взять припрятанный Сергунин плащ, решив, что подаст его там, в деревне, возле крыльца — может, не разглядит Мазуркин такое надругательство, а утром после отдыха и горькую обиду легче перенести.

— Ждала, искала, по всему твоему кругу прошла, — сочувственным тоном сказала Катерина. — Думаю, упились оба до повалихи.

— Задержался, мать. Задержался маленько. Прости.

В деревню Крученую возвращались тихо, без разговоров. Катерина впереди. Сергуня за ней в виноватой понурости. Виталий чертыхался, чуть приотставая, чтобы с плащом не плязгаться.

Возле палисадника прорвало Катерину:

— Колбродники! Все на сторону, все на сторону!

— Это по замыслу, мать. По сюжету наша траектория получается. Такая жизнь, едрена-корень.

Сергуня взялся за штакетины, снова глядит на бледно-звездное небо и хочется ему дать жизни вдох... Мысль простираясь к чему-то до сих пор невысказанному, ищет того, кто мог бы услышать, понять, посочувствовать. И вдруг само собой высказалось:

Каждый умник Сергуню за серость бранит,  
А я виновато терплю и молчу,  
Как будто случайно попал в лабиринт,  
Как будто красиво жить не хочу.

Дома, после молчаливого ужина, Мазуркин долго сидел у окна, проглядывая темноту. И надумал писать пись-

ма детям с просьбой приехать при первой возможности. Затем он составил список неотложных дел на предстоящий день: наносить воды, ремонт поросячей загородки и пола, смена подстилки у коровы и теленка, прохождение борозд и подправка грядок, насадка топора — все дела по хозяйству. Поразмыслив, дополнительно перечислил: проверить Варвару, может, прихворнула, зайти к Егору, спросить у Митьки про печку в бане, вернуть облигацию, повидаться с Николаем Зиминым, унести письма на почту, поклон Сидорину, надо бы грядку-то у них вскопать. Он и сам не заметил, что записывает свои думы: «Аркадий Алексеевич не всегда обижал, его тоже надо пожалеть, как ветерана. Мимо пойду — поклонюсь, а попросит сделать чего — сделаю, если будет настроение. Вчера Валюша о чем-то просила... И в сберкассе хотел зайти... А Виталий тоже просил... Вот и опять получается этот самый лабиринт относительно текущего момента...»

Так он просидел, пока не забрезжило.

Дела, спланированные на выход за пределы своего хозяйства, он контрольно повторял еще раз, чтобы ничего не выпало из привычной последовательности. Но мысль вдруг тормознулась на встрече с Митюхой, на разговоре про баню, на облигации — Сергуня вспомнил цепочку вчерашних похождений и, спохватившись, кинулся шарить в карманах, понимая, что она, непогашенная, могла потеряться, где-нибудь ее выхватило ветром...

— А, ладно. Нечего жалеть. Хорошо хоть, ваучеры у Катерины в сундуке сохранились. Одной бедой меньше. Надо новый день начинать по тому же кругу. Чего еще мешкаться. Ваучеры эти — внукам на погляд.

Искал пиджак, а натолкнулся на плащ, висевший там, где тайно оставил его Витаха, — возле дверного косяка. Шаркнул вдоль плаща сверху вниз чуткими руками и все понял: вместо блестящих гладких пуговиц надругательские костылики пришпандорены — внедрил-таки свое рацпредложение сволочью Размахаев. «Найдется ли на таких управа когда-нибудь, — на тех, кто над простотой деревенской потешается, живет за счет деревенских, а их же и травит, жалеет и упрекает?» — думал Сергуня.

Спать не ложился. Сидел на крыльце, покуривал да тосклившую тишину слушал при одном вопросе: для чего всю жизнь человек работал, старался, все испрошал и стерпел? За что его вертят, обманывают?

Катерина слышала, понимала его душевный неуют и тревога у нее нарастала: муженек-то бедовый и сорваться может, есть у него такое в затаенном характере. Слышала, как муженек бедовый шагнул в сенцы и взял новую железную лопату, недавно прозапас насаженную.

Она поспешила толкнула оконные створки, чтобы охладить как только вывернется из крыльца.

— Куда это ты рань такую, ангел мой?

Мазуркин скривился, словно вожжами осаженный, ответил не сразу:

— Есть у меня круг обдуманный...

— Знаю, куда рвешь-норовишь. Есть задумка счеты свести, скандалы затевать...

— Ты, Катерина, догадлива слишком, — поохладел он, задержавшись у калитки. — Пойду по своему кругу, тошно что-то мне опять, поразгуляюсь.

— Вот и сидел бы дома. Дела найдутся, смотри. Развеется печаль только при домашних хлопотах, — она старалась разговором как можно дольше удержать его.

— Не только об себе думай, мать. Людям помочь нужна. Я всем все прощаю и всех люблю. Особо — страдальников безропотных, на меня сильно похожих, таких вот, как мы с тобой всю жизнь. Любовь моя бескорыстная, безответная на веки вечные. Дела мои и заботы не просто так, а по причине любви. Рассуждения Сергунин успокаивали Катерину:

— Не позавтракал. Не похмелился.

— Не в том дело, мать. Не тело — душа влюбленная разгула требует. А ты прости. Пойду все-таки. Пойду, как его, Размахаю этому.., нет — сам Сидорин грядку вскопать просил. По холодку надо.

И тут что-то произошло с Катериной, ее вроде бы тоже осенило, облегчающее просветление нашло:

— Если умеешь любить, по любви и делай, — словно кого-то из детей напутствовала она.

И ничто уже после этого напутствия не могло его остановить. Распрямился, откинув отчаянную голову назад, напористо зашагал. И одышка не брала. Казалось ему: все вокруг теперь зависит от его самочувствия и настроения, зависит от того, как он поступит, в какую сторону повернет, какие, чьи грядки надумает вскапывать. Вечером вспаханное поле не препрятствует путь, мягкой пахатой шагать и трудно да приятно — успокаивает. Отчаянное намерение утихает. Зачем оно, когда свет вокруг утренний: как всегда дымят трубы — люди уже топят печи, возле пруда

взгоготывают гуси, в палисадниках зеленеет заправная клубника, синеватыми перышками бахвалится лучок, возле коровника гуртится скотина и Витаха покривывает, направляя стадо к выпасу. Заприметив Сергуню, поспешно нарисовалась на его пути доярка Валюша, побаиваясь добрых утренних гусей, обошла их стороной — издали здоровается с Мазуркиным:

— Здорово можешь, Сергей Николаевич. Гляжу, торопишься куда-то опять, не мои ли грядки надумал ровнять? — тихо спросила и улыбнулась. Теплота ее вопроса опять достала до самого сердца — аж, защемило. — В другой раз по вечерку приходи. Сама-то прямо с фермы к Аркадию Алексеевичу тороплюсь помидоры пересадить просили.

Мазуркин разом отмахнул все, что накипело в душе, с готовностью сказал:

— Ну вот, и я туда же. Надо помогать по причине любви... Смириться-примириться и простить относительно текущего момента. А что еще? Что нам теперь по силам, Валюша?! Виноватость да покорность одна. За детей страшно. И внуков жаль...





## САМОЕ ДОРОГОЕ

Повесть

Дарья Макаровна почитала племянника Веню за родного сына, жалела и нежила как только могла при своем вдовьем доме. С малых лет через многие житейские передряги провела, теперь тоже о нем тревожится, хотя Вениамин давно семью заимел, жена у него молодая да приглядная и двое ребятишек. Всегда к племяннику особая жалость была: робкий сиротинушка, слабенький, квелый больно рос, родные дети заправнее, покрепче, вроде и не доставляли особых хлопот до поры до времени. С малыми, известно, хлебнешь забот, а с большими — вдвое. Оставшись одна при вечной работе, бывает, и подумает виновато: сына Степана в какое-то время проглядела, все Веня да Веня, а Степа и покатился

по жизни где попало, первый ускользнул — на чужбину его отнесло. Опосля и дочери упорхали...

После солдатской службы племянник привез к ней в дом пригожую Фенечку. Недельки две пожили сообща — жена застращалась: самостоятельно интересней, старухи эти вечно путаются под ногами да условия диктуют. Вроде бы отделился Веня — в соседний двухквартирный дом перебрались семейное гнездо вить. Ну и что? Так-то оно и лучше для зачина молодой жизни. Только они без Дарьиной заботы ни единого денька не пробыли. «Вот и ладно, вот и хорошо, — радовалась она, — из крыльца в крылец близенько бегать. Детки народятся, нянчиться буду. Молочка, сметанки, пирожков, мясца свеженьского — всего возьмут. Молодую хозяйку привучу к домостроительству». На людях звала Феню сношкой, в домашнем обращении — только доченькой. Даже Ленка, дочь кровная, приревновала однажды — в каникулы летние дело было: «Мама, ты по мне, видать, не скучаешь. У тебя теперь Феня есть». Как же, сношка-то среди незнакомых людей на работе — нелегко оглядеться, привыкнуть.

Поначалу житье ладилось — на три дома радости хватало. Плохо ли так — все родные в соседстве: и сын, и племянник, и дочери. Сын вскорости перебрался в другой колхоз — свою равнинную жену настояла тоже, а племянник тут, в своей деревне на тракторе работал. Не все ли равно, где землю пахать? Фенечку в контору экономистом определили — на деревне конторские при особом уважении. Счетная служба не тяжелая, что и говорить, если голова на плечах имеется. Не уставала Фенечка, потому что и не брала на себя лишнего. С работы бежит веселая, стройная, любо глядеть. Каблуками по тесовому тротуару цок-цок. Будто с одного праздника на другой переходит: домашний уют создавать тоже приятно, наверно. Она и на другую работу так легко перебежала, в лесопунктовскую контору устроилась. Опять каблуками цок-цок без заботушки. Вот и засомневалась Дарья Макаровна: чего это Фенечка только себя хорошил пока мужа дома нет, а муж придет — захворала, мигрень или еще чего. Веня, воды наноси, если водопровод не сообразить; Веня, супчик свари, полы подмети, курицу ошипли да опали в печи — жена не умеет; в магазин сбегай, там очередь всегда противная. «Ты, тетя Даша, сильно придиричиваешься», — говорил племянник на Дарьины замечания. — Не все на учет бери. Мы как-нибудь сами обязанности поделим. Нынче другая жизнь, другие порядки. Может, матриархат полезней».

Ладно, согласилась: ваше дело, ребята. И право, чего на каждом шагу советы давать, пускай по-своему живут. Они

и решили по-своему: разве в такой затюканной деревне жить? И засутились: куда-нибудь ехать надо. «Степан переехал — не пропал, а мы и подавно не пропадем», — возгордился племянник. Феня тоже свою мелодию вела: «Чего вы, Дарья Макаровна, всю жизнь держались, а? Свету белого не видят, только работу и знают. Беднота, серота! Вот года через три к нам в гости приехать можно будет. Мы своих родных пригласим со всех сторон. Будет на что посмотреть...»

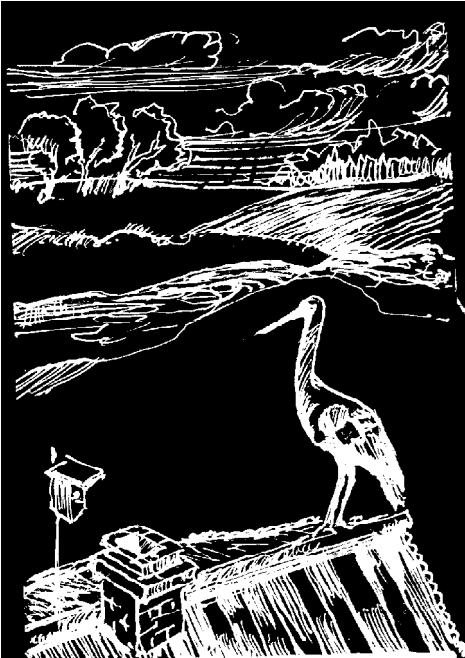
Быстрохонько свились, будто досыта нагостились. На последок сумели со многими размолвиться, Феня особенно в канторе цапалась. «Оставайтесь, темные бутылки! Нынче каждому воля вольная, только крутись-вертись — окупится!» Что люди добрые и рассудительные ей говорили в наставление, слушать не хотела, все для нее — чумари.

Дарья сказала ей на прощание:

— В жизни, как и в дороге, люди — попутчики, никого не забирай словом неосторожным. Иной человек промелькнет один раз, а помнится будет всегда, и душа к нему отзыв долго имеет. Нельзя отмахиваться друг от друга, родство должно быть, сочувствие и понимание. За обиженного, слабого заступись — зачтется опосля.

Фенечке и это не по нраву. «Умная больно, наставлять то все могут. Добренькая, как этот самый Дон-Кихот Приломанский», — говорила она.

Придумала тоже — не поймешь чего. Бойка на язычок сношенька, с ней говорить-то пообедавши надо. Но не серчалась на Фенечку, просто жаль ее было. Печальное получилось расставание.



## 1

Письмо ничего толком не объяснило, хотя и было долгожданное. Кто-то чужой писал: «Уважаемая Дарья Макаровна, извините за беспокойство, но мы вынуждены обратиться к вам с просьбой, несмотря на то, что люди посторонние и вашего племянника Вениамина знаем сравнительно недавно. Мужчина он смирный, но бесхарактерный какой-то, слишком доверчивый да исполнительный. И потому попадает впросак. Родственников поблизости нет, никто не посоветует, не поможет. А помочь ему нужна, самая крайность теперь. Он говорил, что весной у вас должен быть отпуск. Если и нет отпуска да позволяет здоровье, бросайте все и немедленно приезжайте. Тут сложились такие обстоятельства, помочь нужна. Сообщаем подробно, как лучше добираться до нашего поселка...»

И правда, на следующей странице все расписано: как не понять, даже планчик изображен. Да в глазах зарябило от этого планчика. Вроде бы враз наступили сумерки. Полушалок пуховой голову гнетет — на плечи бы его откинуть, а руки не поднимаются.

Дарья Макаровна еще раз проглядела письмо. И не понять, кто пишет: женщина ли, мужчина ли? И кто это — «мы»? Подписи никакой, но адрес определенный: поселок Дудырино, улица Шаталина, дом семнадцать. Про Венину жену, про детей ни слова не сказано. Что такое? Адрес другой. Как быть? И дом не оставил, и колхозную ферму не бросишь, все-таки тридцать коровушек на повседневной заботе, бык племенной, телятки малые...

Прибежала на дом к председателю Семену Поликарпышчу: так и так, простите, придется переписывать объявленную премию на кого-нибудь другого, не смогу доработать до выпасов, понятно, что доярок подменных не имеется, а что-то предпринимать надо, выручайте.

— Да-а, — тяжело сказал Поликарпышч. — Заменять, Макаровна, тебя некем, который год пенсионный в труде, а замены все нет и нет. Проводить-то мы проводим, машину снаряжу, Злыгостев не откажется при таком деле, за ночь изладит свою машину, на ремонте второй день, подторопим.

Поделилась своей тревогой; то и другое в разговоре предполагали, определилось без сомнения: ехать надо. Она удивилась простоте и легкости обещаний, верила и не верила заботливым словам председателя, хотя и не отличался он строгостью чрезмерной. Чего греха таить, в былье времена и кричали на нее угрозливо, кулаком по конторскому столу стучали другие начальники да уполномоченные,

если отказывалась подписать какую обязующую налоговую бумагу...

— Все уладится, утрясется, — председатель, провожая, говорил ей на крыльце. — Может, с ребятишками некому нянчиться, вот затребовали, думают, свободная — на пенсии.

А по деревне шла под перекрестными вопросами. Все, кому надо и не надо, узнали о поспешных сборах Дарьи Макаровны, каждый при своем интересе спрашивал, что да как и почему. Соседка-сердобольница Анна выступила из палисадника:

— С твоим Венькой, неуж, чего неладно? Вроде не вертиголовый и непьющий... Ой, не без причины тосковала ты по нему — чуяло твое сердце. Сама-то себе как объясняешь поспешность такую?

— Просят немедля приехать. Чего тут объяснять? Торопливо зовут — нужна, значит. Решено — поеду.

— Напираешь в такую даль. Да не бываючи-то. Ну, смотри. Оно, конечно, беспокойно в неведеньи. Поезжай. Печь протоплю, корову, теленочка обихожу...

— Собиралась к сыну Степану в Путятину, а ехать надо к племяннику...

Чтобы передохнуть, собраться с мыслями и обдумать, что в первую очередь надо делать, Дарья Макаровна некоторое время сидела на крыльце против открытой двери. Понизу тянулся холодок, выковывая на снегу звонкую наледь. Из другого конца деревни долетали детские крики — ребятишки, наверное, опять бегали вокруг скирды, распинывали недавно привезенную солому.

За рекой, за лесистым бугром тяжело, надрывно гудела бускующая машина. «Вот и дорога сдаст, — подумала Дарья с тревогой, но тут же успокоила себя. — Ничего, проселок до отворотки, сказывают, хорошо, плотно накатан да еще и подстынет к утру».

— Тетя Даша, тетя Даша! — издали кричал бегущий Колюнька Злыгостев. — Все в порядке, тетя Дыша!

Встала Дарья Макаровна, идет к нему навстречу — видит, с какой-то важной вестью торопится парнишка.

— Да не спеши, упадешь еще. Скользко теперь.

— Все законно, все в порядке! Машина исправная. Папка сказал: пораньше надо выезжать. Он до станции тебя повезет, чтобы к поезду как раз.

— Спасибо. Коля. Иди-ка, гостинца дам.

— Не-е. Сейчас не возьму. Ты мне чего-нибудь из города привези. Мороженое или петушка леденцового, а лучше

— лимонаду. Бабке Анне дров наносить могу. Сена от стога в сарай натаскаю.

— Вот и молодец. Домовнице моей поможешь.

... Для Дарьи Макаровны эта ночь вообще казалась лишней: все приготовлено. И не спится, какой тут сон. Анна Ивановна, как только легла, сладенько запосапывала, чмокаает губами во сне, будто младенец, без всякой заботушки уснула. Дома сноха с ребятенком, ночевай Анна, где хочешь, где нравится. Назойливо тикает маленький будильничек, который она с собой принесла. Частят Аннинны часы, а настенные ходики в футляре — Григорий покупал — осторожничают, тихонечко ведут счет времени. Веня, бывало, с печки спрашивал: «Тетя Даша, а чего часы-то затаились?»

«Что там у них стряслось теперь? — думает она. — Если с детьми неладно, прихворнул который или в беду какую попал, так было бы написано. Жена учудила чего, сам ли сорвался? Он ведь может закусить удила, да и попрет напропалую, сломя голову, такое натворит. Характерный. Упрямство и раньше средка играло в нем. Смирный, смиренный, а настырничать начнет — не своротишь. С годами не такой стал, все-таки двое детей. Да и женой надо править, она тоже не сахар-мед.

Грохотанье порожней машины она услыхала, когда Иван Злыгостев из гаража выезжал. Поджидаючи в полном сбore сидела у окна. По едва розовеющему на востоке надлесному окаему, по зеленоватости в небесах определялось: хорошо подстыло к утру, подновлена поздняя дорога. Дарья Макаровна некоторое время прислушивалась к своим часам. Старуха Анна почувствовала напряженную тишину, с поспешной готовностью начала было выпутываться из-под одеяла.

— Ты лежи, лежи, Ивановна. Не вылезай из тепла, повысило за ночь. Я уж приготовилась, чемодан и сумку на крыльце вынесла. Пойду. Домовничай тут.

Анна закопошилась, выказывая намерение проводить. Только и успела выглядеть, как Иван Злыгостев подсадил Дашу, помог ей в кабину забраться, чемодан и сумку к ее ногам пихнул. Хлопнула дверца кабинки, уркнула машина и медленно тронулась.

— Поезжай с богом. — Анна перекрестилась, хотя не была верующей. — Доедет, нынче все ездят. Только бы поздоровилось.

Машина миновала порядки деревенских домов и вольнее, напористее покатила по узкому белому проему в темнеющем

разнолесье. Шурготок под колесами, кажется, перебивал гуденье мотора, и это беспокоило Дарью Макаровну.

— Шиповато сегодня, — сказала она.

— Надежно подстыло. Вот за день раскиснет — обратно хуже поедется.

— Иван, не езди далеко, до отворотки и ладно.

— Племяш твой заболел или чего?

— На что и подумать — не знаю. Не сам писал.

— Вон как! — удивился Иван. — Это хуже. А вообще, шут его знает, люди и зазря панику напустить могут.

— Смирный он больно у нас.

— Чего это смирный. Нормальный мужик, без нахальства. Я таких ценю. Тогда, лет пять или шесть назад, на три дня он приезжал, дрова у тебя пилили. Сразу видать, не испортился парень... Нынче тебе никто не помог с дровами-то?

— Директор, Поликарпович, заботился. И сено пораньше взяли из-за реки. Спасибо им. Дров привезли. Сосед распилил, расколол. Неделю после этого похмеляться стучался. Куда денешься — похмеляла. Откажи — другой раз не обратись.

— Есть посамостоятельнее мужики. Не перевелись еще у нас.

Меня чего в известность не ставила, Даша?

— А когда тебе? Свое хозяйство. Ребятни орава. — Она вспомнила его сына. — Слыши, Иван, Колюньку своего не забижаешь? Срывной он у тебя.

— С чего это ты? Ну, шумну маленько, бывает, ремнем пригрозить могу, а не трогал.

— Детей надо стесняться. Я вот на Веню одинова покричала — теперь до сих пор стыдно, как встречусь — вспомню: обижала.

О чем бы они не заговорили, переметываясь с одного на другое. Дарья Макаровна возвращалась к думам о племяннике, но не сводила беседу только на свои заботы, Ивана спрашивала: как жена, старшая дочь, мать может ли? Так и ехали, разговором подгоняя версты. Машина грохотала, вздрагивала на выбоинах. Шиповатая наледь взблескивала впереди крупно битым бутылочным стеклом. На асфальт выехали — спокойнее стало и не так тряско. Теперь до вокзала, на самый ранний поезд поспеть бы...

Не трудно доехали, без особой суеты. Иван сбегал к кассе, вернулся радостный: раздобыл билет. В купейный вагон посадил Дарью Макаровну.

Не успела опомниться, как очутилась в тесной каморке напротив белесой культурной дамы.

— Хорошо. И попутчица подходящая, — сказал Иван, улыбаясь. — Познакомитесь. Ну, побежал теперь, отправление дали. Вениамину — привет. Пускай летом приезжает. На рыбалку сходим, рыбки из родной реки вдоволь поест.

Поезд гулко грохотнул и тронулся.

— Детей навестить? — спросила попутчица, выждав некоторое время.

— К племяннику еду. Иван Злыгостев провожал, с одной деревни мы. Росли вместе, на годок меня моложе. — Даша думала про себя, что выглядит, должно быть, плоховато — тревога передернула. Только бы не заболеть в дороге, а культурность разве обязательная теперь. Надо отоспаться. Скорей бы устроить постель.

Белье дали влажное, сырью от него пахнет. Развернула, постелила простыни.

Долго вертелась, комкала подушку. Усталость свое взяла... Да и приснилось, будто бы развалило-раскидало до основания поленницу старых осиновых дров, из трухлявых поленьев получилась мощная тропочка, винно пахнущая, а по ней шатко пробирается высокий молодой мужчина. Тропа проламывается под ним, вот и тянет он руки, просит о помощи. Бежать бы на выручку надо, да ноги у Дарьи как не свои, не слушаются. Людей позвать не решалась. А мужик просит: «Тетя Даша, если можешь, выручай. Последний раз выручи».

С тревожной думой — к чему снилось? — Дарья каждую судьбу торопливо проглядывала, во всех неладах винила себя, только себя и вдруг осознала: сон этот прикладывается к племяннику Вене или к сыну Степану — у обоих тропочки проламываются...

Раньше она могла без лишней паники переносить житейские неурядицы, случавшиеся у сына или старшей дочери, знала чем помочь-поддержать, какое слово нужно. Всякое бывало с детьми и с самой тоже, и с мужем — фронтовым инвалидом, вон через какие буреломы жизнь провели, но не клонила голову Дарья Макаровна и детей наставляла: «Думаете, отцу с матерью сладко было? То фашист беды нагнал, то голод и болезни, то несправедливости разные. Теперь что не жить, не ленись только. Пусть когда и жмет где маленько, старается перетерпеть». Учила она: перетерпится-перемелется, только держи себя в руках.

Иногда спохватывалась Дарья Макаровна: там не досмотрела, тогда зазря посерчалось, одной дочери внимания, кажется, больше было, другой — меньше, а сына, пожалуй,

слишком часто наказывала и племянника Веню, может, обделяла вниманием. Что и говорить, трудно с ними было. Когда и повздорят, не поделят чего. Старшая дочь с младшей из-за туфелек рассорились. Младшей надо бы туфли-то лодочки купить, Нина и подождать могла — она постарше, терпеливее, а Ленка в тот год только-только невеститься начинала, перед одноклассниками пофорсить хотелось. Давным-давно подмечено: курицу не накормишь, девушку не нарядишь. Ребята, конечно, не столь требовательные. Сын Степа, тот и постарше, он трудностей прихватил, всякого знал с детства — вот с ним легче, говорчивей получалось, только скажи, только поручи дело какое — безотказно взьмется. В деревне его уважали.

---

Не без трудностей и приключений перебиралась Дарья Макаровна с одного вокзала на другой, не без трудностей закомпостировала билет — легко ли человеку посреди многолюдья такого. Но мир не без добрых людей: рассказали, как проехать-пройти, куда обратиться, и чемодан помогали перетаскивать. Ожидание предстояло очень долгое, до вечера.

Со всеми вещами вышла она на привокзальную площадь, чтобы на вольном воздухе посидеть, на солнышке. Нашлась свободная скамья под неприметными тополями. Располагайся, как любо, сиди-посиживай, выстраивая раздумья свои то тревожно-торопливые, то рассудительные, спокойные. Хорошо припекает, тепло. Воробышки задорно судачат. Гул машинный так и течет, так и течет между высокими домами. Говор людской тоже потоком то в одну сторону хлынет, то в другую, как бывало, на многолюдных деревенских гуляньях в Троицу или в Преображенскую, вроде бы всем весело и хорошо. А приглядишься к прохожим и станет понятно, что не у всех одинаковое да праздничное настроение. Попусту никто не маячит, у каждого свои хлопоты. Вот инвалид на коляске проехал, безногий он, колеса руками крутит, видать, что спешит в кассовый зал, за ним едва поспевает женщина беременная — и рада бы помочь, да никак не догонит, не уцепится. «Погоди, погоди! — кричит она. — Не спеша ведь, лихач настырный». Которых с тяжестьми ношами сразу узнаешь — торговые люди. И городские спешат при заботах, от нечего делать у вокзала не стали бы толкаться. Вот жизнь! В разных местах она по-разному

протекает. На заводах особые порядки, на улицах — другие, в магазинах не только порядок и человек другим делается. Всем надо, все чего-то ищут, а покупают редко, будто и ходят только для того, чтобы поглазеть.

Поблизости воркует голубь, в отдалении будто бы прокукала кукушка. Стихает машинный гуд, а вместо многолюдного лопотанья слышится переливчатый разговор неторопливого ручья. Видится, вспоминается Дарье Макаровне молодой чистый бор, без кустарников и подлеска. Под редкими прогонистыми, голенастыми соснами белеет ноздреватый мох, ломкий и хрусткий в жаркую погоду, но после теплого ночного дождя нежно-мягкий, способный упружисто распрямляться, скрадывая следы только что прошедшего человека. Солнечное сиянье по разомлевой зелени ветвей выстраивается в яркую крутую радугу. А вдали на прорубе густо краснеет ягода-брусника...

— Даша-растеряша, спиши, а денежки твои ушли вместе с чемоданом. — Кто-то осторожно прикасается к пуговице на груди, словно хочет расстегнуть. — Не пугайся, Дашенька! Свои! Ну, не узнала разве спросонья?

— Свет затенил — не разгляжу никак. Вижу, мужик рослый.

— Коломенская верста. Не хочешь да признаешь.

— И ты здесь разве, Василий?

— Признала своих, обрадовалась. Вот и в бору тогда. Помнишь, за брусникой-то ходили? Кузовок да лукошко — ношу целую набрала, домой идти надо бы, да не знаешь в которую сторону.

— Закружилась в своем лесу, как вот в городе теперь. Сижу, не знаю куда себя деть. Постой, а ты, Василий чего тут?

— Тебя охранял, чтобы, значит, городские кавалеры не липли.

— Живется каково на новом месте, в новом дому? — Дарья сразу переметнулась из города в свою деревенскую сторону, где каждый человек знаком и понятен, судьба каждого на виду. — По Динке тоскуешь или нет?

— Нечего тосковать. Трое у нас. Девчонка семи лет да парнишки-погодки.

Василий Соколов детей всегда любил; смолоду, с юношеских лет загадывал стать отцом большого семейства и потому разладилась у него жизнь с веселой Динкой, переехал в соседний колхоз, женился на вдове Крутиковой Насте, у которой четыре года назад муж нарушил себя по пьянке.

— Игрушек деткам набрал?

— Вертолетов два, самоходки две. И кукла — по заказу

Сонечки. Жене тоже игрушки. Шикарный кухонный набор. Вилки, ложки, ножи, всякие черпаки. — Он хлопнул по одной коробке, до другой не дотянулся. — А ты сама-то куда?

— Срочно меня вызывают. К Вене еду.

— Значит, нужна. — Василий взборошил свои лохматые волосы на затылке. — Ложная тревога, думаю, — сказал он, еще раз перечитав письмо. — Должно быть, женский обходной маневр. Но сам-то он чего так долго молчал? Ты — единственная у него.

— До сих пор как сироту жалею, — призналась Дарья. — Роднее родного, вот и полетела, да вишь — остановка, цепкий день тут сидеть. К сыну Степану опосля, видно, заеду...

Народ пестро толпался перед вокзалом. Разноязыкий говор, плач детей, цыганский крик — две многодетные семьи, небось, из разных таборов, не поделили место в тени, размахивая руками, доказывают свою правоту. Азартногогочут пятеро здоровенных мужиков.

— Веселые ребята, — то ли осуждающе, то ли с зависимостью сказал Василий. — Нам бы хохотать. Да все некогда.

— Смешно дак смеемся. Или не бывает? У каждого свой час для радости и свой — для печали. Динка твоя весело глазами и теперь стреляет. Молдаванин уже побил однова.

— Не для жизни она, по праздникам хороша кому-нибудь... Настя у меня совестливая. Душевно в дому.

— Оно и видно. Ты заметно выправился, прихорошился. По мужу и жену оценить можно. Рада за тебя, Василий. Веня мой как там со своей Фенечкой? За него боюсь.

— Скандалить не станет он, я ведь знаю.

И снова говорили о том, что хранилось в памяти как самые лучшие, согревающие житейские подробности. И какие были гулянки колхозные, и как тянулись к работе школьники, и кто из деревенских горазд на песни, а кто на пляску, когда сенокосили за рекой, когда по бруснику ходили. Масляничные катанья вспомнили, троицын день. Василий годов на девять моложе Дарьи Макаровны, а все равно жалеет о том, что люди деревенские теперь общих песен не поют, вместе собираются редко, каждый сам по себе, домом да огородом живет, а дети норовят отдалиться от родных.

— Жить можно, только не ленись, — сказал Василий. — Ну, счастливо тебе. Передавай привет Вениамину.

Дарья Макаровна радовалась за него и даже представила как улыбнется ему жена. Прильнут к доброму отцу ласковые дети, а потом закопошатся возле игрушек, подарков, сладостей.

Дарье Макаровне, пригретой ласковым солнышком, вспомнился просторный светлый бор. Спешит она, чтобы не отстать от ушедших вперед ягодников, тихонько окликает бегущего стороной племянника: «Веня, сынок, не отставай...» А гибкие сосенки плавно качают кудлатые вершины, сухой беломошник похрустывает под ногами. Вдали розовеет просвет, по сторонам — мглистая синева. Пятнистый зверь бесшумным кошачьим прыжком промелькнул поперек просеки, должно быть, рысь гонится за добычей. «Веня, рядышком иди», — будто бы она берет теплую руку послушного племянника. И он признается: «Теть Даш, мне хорошо с тобой. Я тебя никому-никому не отдам, мы никогда-никогда не расстанемся, правда?»

Через колдобистую низину стали переходить — с холмика на холмик, с кочечки на кочечку, страшась чавкающей болотной жижи. Покачнулась в одну, потом в другую сторону — кузовок за спиной расшатнулся, будто дернул кто Дарью, испуганно вскрикнула она, хватаясь за голубищник, все-таки удержалась над жуткой болотной бездонностью, про которую подумалось, что раньше ее тут не было. Так по всему телу озноб и прошел. Распахнула глаза: «Где это я?» Попривинула к себе тяжелую коричневую сумку, облокотилась на чемодан. Унялось волнение. И снова прикрыв тяжелеющие веки, Василия Соколова мысленно благодарила за ту боровую прогулку ясным осенним днем: спасибо, привел на свой брусничник большую ораву, а с ягодами от реки всех на тракторе вез в бренчащей тележке. Вот как получается: в самом большом городе среди многолюдья сидишь, а думается о том, что было, словно и нет тебя здесь, в этих минутах. Часа два уже утекло после того, как Василий ушел, а солнышко еще высоко — заметно денеки прибавились. Представила она: идет незнакомым опрятным поселком между Веней да Фенечкой, говорит ласковые слова школьнику Борису, девочке Илоне, а они резвятся радостные.

## 2

Поезд простукивал версты. В неуютном крайнем купе на верхней полочке Дарье Макаровне приснился нехороший сон про холодную невиданную пустыню: кругом голым-голо, ни травины, ни кустика колючего, только мелкий, серый, будто пепел, песок, один безжизненный песок, а люди вроде за версту друг друга видят, но слышать и слушать не хотят, некасаемо живут, потому что эпидемия у них какая-то. Вот и разгадывай к чему такой сон — нагадаешься.

Полегчало на душе, когда автобусом ехала до поселка Дудырино: нет, не пустынно тут, обжитое место, устроенное по-людски, а деревья рядами вдоль дороги.

И поселок ей, прямо надо сказать, понравился: опрятный, устроенный, домов новых больше, чем старых, новые пятиэтажные, будто гармони, широко растянуты на солнечную сторону фасадами. Уложки сухие, метеенные. Сапожки резиновые так сами и катят по тротуару — ровненько, что на полу, не споткнешься, Дарья Макаровна. Чемодан поставь, садись на уголок — отдохни, сверь свой путь с указаниями на бумажке и убедись: правильно идешь, три киоска миновала, тут универмаг застекленный, там, значит, за расцвеченной разными красками оградой — детский сад, в который Илону водят; а через парк тропы ведут в школу, слышно, как там звонок прозвонил и ребячья воркотня хлынула на улицу. Бориска тоже, наверно, выбежал, от других не отстанет.

Тихо, почти бесшумно прошли три школьницы. Дарья обратила на них внимание. Быстрые такие, легкие, в одних платьишках. Тепло, весна вовсю. Приникает, припаривает. Ладно, не прогадала, с расчетом оделась — в новом вишневом плаще нараспашку теперь ничего себе.

Сколько часов — точно и не скажешь, потому что все перепуталось, будто и не маялась в тряских вагонных ночных, будто один долгий день тянется. Теперь солнце на самом высоком месте, к полудню подкатило. До вечера ждать да ждать, не скоро Веня с работы придет. А все равно ближе к дому надо.

Люди ходят туда-сюда, но не хочется спрашивать — шествуй по изученному плану сама собой довольная. Солнышко успокаивает. И тишина, красота, порядок, наведенный в поселке, — ни грязи, ни мусора. Народ спокойный, праздничный наряден, старухи возле продмага и те в ярких одеждах. Подойти, поспрашивать не знают ли, как Веня Селезнев, что с ним? Опять, словно туча, по-над всем этим миром нависла: не стало праздничной приветливости, тепло весеннее не ласкает, а томит.

Замешкалась она в проулке, определяя, к тому ли розовому дому вышла, смотрит на многие окна, будто по строчкам читает, а перед ней оказалась девочка:

— Вы, бабушка, к кому приехали? Может, к нам? — спрашивает вкрадчивым голоском.

— Ты чья будешь?

— Папина. Вон мой пapa Веня.

Он самый: цел, невредим. Не обманулась Дарья Макаровна, на один взмельк, еще не разглядев, со спины узнала.

От внезапного облегчения качнуло вперед, взмахнув руками, поспешно села на край чемодана.

Вениамин почувствовал: кто-то родной смотрит! — и обернулся резво.

— Точно, это — тетенька Дащенка! Как ты догадалась, дочка? Кто тебе сказал? Вот так чудо-встреча!

Парнишкой ликующим летит! Сграбастал в обнимку, называет ее милой старушенцией — и раньше так иногда называл. Шумный, веселый — здоров, значит.

— Это, правда, наша тетя? — спрашивает неуверенно Илона, а сама открыто и смотреть стесняется; наклонилась, словно туфельки белые, красным песком испачканные, жалеет, и украдчиво взмелькивает из-под чубчика кареглазым взглядом.

— Зачем ты, Илона, ее тетей называешь, — говорит Веня.  
— Это бабушка к тебе приехала.

— Тетя Даша, тетя Даша! Я ведь знаю. Она лучше всех, — твердит свое стеснительная Илонка.

Ребенок еще, пять годков всего. Малышка, вот как раз такой и представляла ее Дарья Макаровна, когда платьице в магазине выглядела: худенькая с лица, а статью заправная. Ишь, востроглаза больно — приглядывается; есть в ней материны черточки, безусловно есть. Только подстрижена больно коротко, под мальчика, видно, матери некогда косички заплелать.

— Что стряслось у вас, Веня? — спросила Дарья.

— А ничего, все нормально. Ты, тетя Даш, решила нас на новом месте проводить? Вот это здорово!

Он взял дочь на руки, ласково прижал к себе и чмокнул в щеку. Так — на одной руке Илона, в другой — тяжелый чемодан — и пошел. А тетя Даша рядышком семенит радостная: приехала, добралась, и здесь все ладно, племянник выглядит хорошо, чистый, прибранный, даже стрелочки на брюках наглажены и рубашка клетчатая с погончиками приличная, только с лица не больно светел.

В торопливом разговоре за какие-то минуты узнала Дарья Макаровна, что работает он в передвижной строительной колонне, на прежнем месте основные работы выполнены, теперь прибыли сюда, потому что подготовлена база для строительства большого завода, жилищные условия хорошие, заработки приличные, сын учится не хуже других, но бывают, конечно, срывы — частые переезды сказываются, к школе он еще не привык; Илону сразу оформили в круглосуточный — Фенечке так нравится, да и не было другого выхода; сам он работает по скользящему, карьер от поселка далековато,



с работы приезжают поздно, а на выходные теперь берет Илону из сада, чтобы не забывала родителей; мать вообще она видит редко, вот стала скучать, плачет по ночам.

А когда тетя Даша отдохнулась, оглядела квартиру, возникло недоумение: не заметно женской заботы о порядке да уют-

ности. Веня только сам оправдывается: не успел, не прибрал, с утра стиркой занимался, а потом с Илонкой гулять пошли, теперь надо в магазин сбегать.

Сообща они быстро на кухне управились, чтобы за столом было возле чего посидеть со встречи. Уселись все трое. Илонка в голубеньком платьишке с кружевным воротником — любо поглядеть, только уж больно скромна да стеснительна, не такая шустрая, как другие нынешние дети, голову склонила застенчиво и смотрит не в открытую, а украдчиво. Вениамин — рядом с ней, понимает робость дочери, то к спине прикоснется, то волосы пригладит, а то и подмигнет: не робей, мол, тетя Даша добрая, лучшая родня, издалека приехала. Так и понимает Дарья Макаровна его, видя в каждом движении, в каждом взгляде особый смысл и догадываясь уже, предполагая: чего-то утаивает племянник, или сейчас, при дочери, заговорить не может, больше сам спрашивает, чтобы узнать о жизни знакомых, родственников, друзей детства. А Степана будто и не помнит...

Выпили они по рюмке калиновой настойки — для Вениамина привезла Дарья Макаровна. Закусывая, побренчали вилками да снова смотрят друг на друга. Хорошо, свиделись. И разговаривать хорошо, и молчать. Из второй рюмочки, глядя на тетю Дашу, он отпил только половину. Смотрится в розовое домашнее вино, а думает про калину мороженую, которую запасал по заморозку, рябина тоже вспомнилась — этой от угаря лечила его тетя Даша.

— Тогда у нас под окнами калина росла. Мамы не стало — и калина исчезла. Маленький был, а помню теперь: два мужика приходили выкапывать — наверно, в свой огород перенесли. Наш дом нарушился, на дрова продали, — тихо говорил он. — Раньше не вспоминалась калина, теперь почему-то часто ее во сне вижу. И мама за калиной стоит, меня призывая, рукой машет. Отчетливо ни разу не приснилась, а знаю: она точно такая, как ты, тетя Даша.

— Столько лет прошло, Веня. Столько лет... Погляди, сам седеть начал. И морщинки закладываются.

Вопросы набегали, но тетя Даша остановилась, не решаясь спросить еще раз, что же произошло и почему ее вызвали непонятным письмом.

— Работа, видишь, у нас. — Веня угнул голову, рассматривая маленький груздочек, подцепленный на вилку, а слова для трудного объяснения у него на находились. — И работенка торговая.

Посидели, печались во взаимном понимании. Не до еды было. Одна только Илона позванивала то вилкой, то ложкой — она старалась казаться самостоятельной. Даже решила вымыть блюдце и чашку, взглядом добилась у отца разрешения, сказав спасибо, важной походкой несколько раз прошла перед столом туда-сюда, будто заботливая хозяйка, определя, все ли на месте, что требуется для угощенья гостей, только тогда отправилась на кухню. Через некоторое время выглянула:

— Кушайте, гости дорогие. Не стесняйтесь. — Чистый, звонкий голос обрадовал тетю Дашу, а потом удивил: — Ты чего же, Вениамин, сидишь, нафуфырился? Не выспался, что ли? Потчуй гостей, — по-взрослому требовательно произнесла Илона.

— Ай, правда! — спохватился отец. — Спасибо, Илона, подсказала. — Он покачал головой, улыбается и шепчет: — Чудная она. Осмелеет к вечеру, концерты начнет ставить. Мать передразнивает. И мои слова повторяет. Артистка.

— Дети нынче толковые, с ними непросто. Да ты и сам был смехотворник. Артист. Кой раз думаю: от печали такой, по матери тоскуешь — вот и забавляешься, фокусы разные вытворяешь. И петухом кричишь, и кошкой мяукаешь за дверью. Или соседкиным голосом под окном скажешь. Выйду — топ-топ, побежал. Трудно с вами было. А и насмешишь когда. Ну и приласкаться горазд. Приголубишься — на душе все горести тают. Неуж теперь забывать стал тетю Дашу? Отчего редко сказывался, хоть бы весточку, словцо какое.

— Регулярно пишу, почти каждый месяц по письму.  
— Ой, нет. Ой, нет. В полгода раз. А тут вызвали...  
— Как же? — удивляется Веня. — На каждый праздник. Когда сам, когда жене велю поздравить.

— Ладно. Чего миновало — прошло. Наперед бы не так.  
— Постой, постой, тетя Даша. Что-то не стыкуется. Напишу, значит, жене велю отправить... — Он уцепился за догадку. — Тут чьи-то проделки. Может, подготовочка перед командировками у Фени была?..

— Зачем отпустил? Куда она уехала?  
— К двоюроднице — по вызову, — сдержанно и несвомим голосом начал он объяснять. — Пускай покатается, раз охота. Нервишки у нее. Для успокоения надо, для успеха по работе.

— Опять нервишки? Шалость это. Виши, надумала, семью в развале оставила, неприбрано как.

Веня виноватился, мол, не успел навести порядок, времени не хватает, а надо бы — квартира хорошая, три комнаты, только неопределенно как-то получилось: хотели место жительства сменить.

— Сызнова в перелет? Не лихо вам?  
— Обстоятельства, тетя Даша. Обстоятельства, — Веня тяжело вздохнул. — Но раздумали. Бригаду возглавляю теперь, разработка большого котлована поручена.

Дарья Макаровна чувствовала: уклоняется племянник, не желая отвечать на вопросы, что-то утаивает. И неловкий, сбивчивый рассказ его о временных производственных трудностях, о терпеливых ребятах из подрядной бригады ничего не объяснял. Работать по-хорошему везде нелегко, везде свои трудности есть. Она говорила про колхозные порядки без приукрашиванья, чтобы знал он: в деревне тоже не рай, но трудиться толковому механизатору можно, чем тут экскаватором землю с места на место перепихивать. Конечно, такую квартиру не получишь, поэтому из-за одной только квартиры надо производства держаться. И у жены опять работа не пыльная, в бухгалтерах для женщины подходящие, многие нынче хотят считать, да не всех допускают, на это нужно обучение да и голова чтобы своя на плечах была.

— В леспромхозе работал, на торфяниках, в гравийном карьере. Теперь к строительству привыкаю. Не хотелось ехать сюда, будто чувствовал: приживаться будет трудно, — говорил Веня.

Недосказанное мучило его, а что — разве определишь, когда таится, недоговаривает человек. На жену он неожиданно, все по-хорошему, ласково упоминал: и как радова-

лась она новому месту жительства, и как быстро определили на работу по коммерции, и как ей в первую очередь дали квартиру.

— Дельная у меня Фенечка. С такой не пропадешь, — он криво ухмыльнулся.

— Нынче женщины бойкие, некоторые слишком. Лариска Степана до чего довела...

— В тот раз ездил к нему — отсюда не так далеко. Не винит Ларису, сам, говорит, распустился.

— В тот раз... Он в другой попадет. Ты хоть сам-то держись. Жена женой, а ум свой должен быть.

— Каждый семейный пустяк выводит ее из себя, на Борьку бывает накинется — того гляди, ухо оторвет. Нервная. Говорить стану — шумит: нынче все такие, химия виновата. Никакого утешенья, говорит, нету. Сигареточку в зубы — и в кресло, дымком фыркает...

— Ты, Веня, может, обижаешь ее? С выпивкойвольно у тебя или нет? Может, на сторону поглядел когда? Пусть одинова, пусть тайком — женщина чувствует, женщину не обманешь.

— Ну, ты скажешь, тетя Даша. Я не такой. Жизнь мне далась трудно, раскидывать нельзя. Трепачом ни за что не стану. Человеком жить надо. Не было с моей стороны даже мысли плохой и не могло быть.

— Что же у вас произошло? Сказывай, — Дарья Макаровна чуть ли не в слезах приединулась к племяннику, умоляюще смотрит на него. — Говори, упрямец такой.

— Погоди, тетенька Дашенка. Борька идет, походка что-то у него сегодня сердитая, — заторопился Веня встречать сына. Отворил дверь тихо, чтобы не разбудить Илонку. — Сегодня, видать, раньше отпустили... Это что у тебя? Где взял?

Дарья Макаровна выглянула из кухни — Бориску не видит, а только трехрогую люстру с одним уцелевшим плафоном.

Борька шмыгает носом, тяжело дышит, в квартиру входить не решается, застыл там возле двери.

— Откуда она у тебя? Где взял? Зачем?

— С потолка, — отвечает мальчионка. — Сам вешал тогда эти люстры во всех коридорах, а теперь не узнаешь. Директор велела тебе унести. Думает, я зареву, думает, я виноватый.

— Ну, ладно. Не шмыгай носом и глаза не три. Там не заревел, а дома вовсе ни к чему.

Бориска всхлипывает, пытается еще объяснять, но ничего не выходит у него, слова не выговариваются.

— Не надо, не надо, сынок. Успокойся. Все уладим, разберемся. Знаешь, к нам тетя Даша приехала.

— Моя она, вот и все, — заявляет свои права Илонка и ворочается в кровати, собираясь вставать.

Бориска затих, сдерживая рвущуюся из груди горькую обиду. Но все-таки через минуту вырвалось у него:

— Про вранье и во-о-рье... Опять Сусуй этот толстомо-о-ор-дый Втю-у-рин. Он всегда лезет, а учительница велит еще...

— Не реви так! — кричит Илонка. — Меня ругаешь, а сам...

Дети, дети... Бориска идет к Илоне, там они шепчутся, немного ссорятся и тут же опять воркуют, хвастая друг перед другом тетиними подарками. А отец все стоит в коридоре, разглядывая оборванные провода, словно определяет, можно ли тут что сделать, исправить. Сын выходит к нему и теперь уже спокойно начинает объяснять, как получилось, как дело было. Сначала, еще до уроков, Сусуй — так, видимо, называют Втюрина, родственника завуча, — выхватил у Борьки раскрытую сумку, затолкал туда завернутый в газету кирпич. Немного погодя надел Борьке на голову пластмассовое ведро. А после уроков подстерег в коридоре и ни за что ни про что дал два щелбана. Когда в столовую бежали, подставил подножку. Он давно вредничает, подстерегает. То ущипнет, то на затылок плюнет. Ходит по школе будто хозяин и распоряжается: бросит скомканную газету и требует поднять, а то еще плюнет и тоже говорит «подними». За шиворот возьмет и пендаля даст. Он после уроков из-за этого остается, чтобы возле малышей повредничать, а говорит: велено порядок держать. Вот и



командует. А учительница в очках, она плохо видит вдали. В коридоре стояла, когда он Борьку начал притеснять: прижал к стене и пискнуть не дает. Учительница, наверно, думала, что это игра такая. Сусуй сказал, что надо лампочку в люстру ввернуть. Если, говорит, сумеешь, никогда никто к тебе пальчиком не посмеет прикоснуться. Ладно. Только дотянулся Борька до люстры — Сусуй велел за «рога» держаться. Держись, говорит, она крепко привязана.

— Вот какие штуки получаются, — хрюпло сказал Веня и засобирался в школу, чтобы свою, домашнюю, еще неподвещенную люстру туда унести — похожи они, только у домашней четыре рога, а не три.

— Не ходил бы сгоряча-то.

Встречь ему в дверях работный с виду человек — тоже высокий мужик в механизаторском комбинезоне: «К тебе иду, бригадир, а ты куда собрался?» Веня буркнул чего-то. Вместе они и потопали вниз. В окно глянула Дарья Макаровна — видит: спокойно, рядом, при разговоре пошли, согласливо.

— Папа знает, как люстры крепятся, — говорит Борька.

— Сусуйкин отец ему наряды выписывал. Мастер Втюрин.

— Разберутся они там. Вдвоем пошли теперь.

— Сусую попадет, наверно. Никогда не попадало, а сейчас попадет. Теперь я все рассказал. Ни разу не рассказывал, при маме боязно жаловаться, она самого и завинит, того гляди, лупанку получишь. Строгая, и болтать языком не велит.

Дарья Макаровна жалостливо слушала Борькины признания, думая, что у детей жизнь не сильно сладка, в деревне, пожалуй, лучше было бы им. Только и в сельской школе злыдни найдутся, ни в чем не уступят этому Сусую — Сеньке Втюрину.

### 3

Сумрачный пришел Веня из школы, а говорит, обошлось, уладилось, со стороны директора никаких претензий, одни извинения. И опять Дарья Макаровна чувствовала недосказанность, утайку.

Бориска да Илона попросили разрешения мультики смотреть, напротив телевизора дружно уселись. Веня постельное белье из ящика неторопливо выкладывал, а Дарья стояла, с сожалением глядя на него: домашние женские дела знает. Спать не собиралась, только постель приготовила. В неприбранной квартире мало ли дела. Начала копошиться, наводя порядок в детской комнате. Одежонку перебрала-проглядела: какую

постираТЬ надо, какую поштопать. Илона аккуратнее Бориса, у нее и платье на вешалке, и колготки на батарею положены — подметила Дарья.

— Ложись, тетя Даша, отдохай. Дверь закроем. Сейчас штору прицеплю — уютнее будет. Ребята ко мне должны придти, — сказал Веня. — Друзья-товарищи мои.

Первым пришел тот работный мужик, который недавно заглядывал. Переодетый теперь, бритый — переменился человек, приятно выглядит. И в обращении хороший, лишку в любезностях да поклонах не распинается, здоровался, правда, почтительно, с улыбкой. Книга у него в руке, старая, лохматая книга, видать, что многими читана. Следом за ним еще один стучится в дверь и входит, объясняя, что к друзьям вообще-то можно входить и без звонка и без стука, но стучать в дверь у него давняя привычка — соседи капризные приучили. Тоже приятный на вид человек. Рослый и крепкий, Вене подстать. Рубашка на нем ладная, рукава до локтей закатаны, как вот, бывает, деревенские ребята носят. Лысоватый только, молодой, а лысоватый уже. В очках. Оказалось, знает Дарью Макаровну, по имени-отечеству назвал.

Мужики разложили на столе книги, бумаги, о работе говорят. Трактора, бульдозеры, котлован. Сроки, выработка. Машиносмены, человеко-дни. Объемы, кубометры. Борька от телевизора к ним свое внимание переметнул, вникает, хмуриится тоже, поглаживает лоб, словно и в самом деле соображает чего в рабочем разговоре. Отец приласкал его и просит уйти, своими делами заняться. А Илонка, конечно, досмотрела рисованную сказку, спрыгнула с дивана, прошлепала босыми ножонками по крашеному полу к телевизору и прогнутым пальчиком надавила на кнопку, чтобы выключился. Перед зеркалом оправила платьишко, кокетливо так, толково — вот девчонки! Они сызмала такие, умеют следить за собой. Прическу поправила и к тете Даше весело шлепает.

— Я к тебе. Давай вместе прибираться. Сначала здесь, а потом на кухне. Мама всегда так делает.

— Ай, милая помощница. Вот хорошо. Вдвоем быстро мы с тобой управимся по маминому плану.

И правда, много успели переделать, ведя немудреные разговоры. Илонка призналась: в круглосуточной группе у нее глаза часто слезятся, слезы сами капают и капают, мама к врачу водила, а врач сказал, что со зрением у девочки в порядке, по дому, наверно, она скучает. «Мама привыкать велела. Я и привыкала-привыкала, да нисколечко не привыкается, вот папа и отпросился на работе». На разговоры она

бойкая, только слушай — все объяснит-обскажет. Бориска беду свою выговорил — и успокоился.

Не сразу угомонились дети, но выключила Дарья Макаровна свет — и они умолкли. По дыханию ясно: не спят еще, просто притихли — интересуются, небось, о чем там взрослые разговаривают. Через некоторое время Веня заглянул в детскую, шепотом спрашивает:

— Ну, как тут они?

— Ой, хорошо, убаюкались, — отозвалась Дарья Макаровна. — Девчонка два раза маму помянула, но не куксилась.

Дарья Макаровна, прислушиваясь к движению жизни в соседних квартирах, подумала, что в этих больших домах веселее должно быть одиноким.

Свой дом вспомнился... Будто ветер подывает в трубе, шебуршит мышка, тикают неторопливые часы. А на коровнике опять, наверно, отключили свет, сторож Евдуха пошел с фонарем. Если корова будет телиться, Евдуха выпивши, какая от него подмога. До зоотехника не дозвониться — телефон давно не работает, ветеринара нет, к дояркам бежать далеко. Может, как раз в эту ночь Пеструшке помочь требуется, у нее ведь и двойни бывают. Ох, не убежишь отсюда.

Тихонько встала, подошла к окну и удивилась светлоте на улице. Огней-то сколько! Видать, не берегут, не экономят свет.

На усторонке цепочкой окон, будто ферма колхозная, светилось продолговатое зданье. Дальше, на возвышенности, обозначено множеством огоньков еще одно селение, за которым по шоссееке проносились торопливые машины. В сквере за густотой деревьев гомонили веселые парни и девчата. Там же дурашливо завывала музыка, кругами ездил громко стреляющий выхлопами мотоцикл. С легким миганием голубели окна противоположного дома.

Нет, не спалось. Дарья Макаровна решила пойти на кухню, у другого окна постоять, глядя в родную сторону. Там и небо теперь стало темнее — определила она. Ночь глухая.

— Ты хочешь докопаться до самых корней этой эпидемии? — спрашивает Валерий, обращаясь к Вене. — Так вот имей в виду: всякая поганка растет на благоприятной для нее почве. И почву эту мы создаем, удобряем своим равнодушием...

— На собрании ты шумел, а что толку? — Веня положил руку на плечо рядом сидящего. — Николай тоже хорошо выступает. Говорить мы научились. Говорливые умники. Одни пашите, а другие — получайте, да?

— Опять одни вопросы у нас, ребята. — Николай еще выше подкрутил правый рукав. — Не отвлекайся, Валер. Читай дальше.

— А вы не перебивайте. — Он перелистнул страницу старой книги. — Имейте в виду, это напечатано в двадцать девятом году. Читаю дальше: «Болезнь сидит глубоко, лечить ее трудно...» — Дарья Макаровна не рассыпала несколько слов, и было непонятно.

— «Защищенный отовсюду всевозможными жетонами благонадежности и стопроцентности, он тихо поедает корешки якобы отжившего дерева, и простаки вокруг чрезвычайно благодарны ему за это. Ибо мысль его течет гладко, не причиняя сомнения или вреда здоровью; речь его, исполненная энтузиастических громов, приятно убаюкивает кого следует. Он всегда торопится, забегает вперед, вечно суетится и достаточно кричит».

— К нашему Ожигалову это подходит, — определил Веня.

— Не только к нашему. Система не терпит одиночек.

— Постой, в каком это году? Верно, в двадцать девятом? — хочет уточнить лысоватый Николай. Он поправляет очки. — А что, если для убедительности вставим в наше письмо эту цитату.

— Школьные люстры — подумать только! — школьные люстры высветили всю цепочку. — Веня чему-то порадовался.

— Ладно, придет коллективное письмо в прокуратуру, рассмотрят они наши расчеты, доказательства, и могут сказать: а где вы раньше были? — рассуждал Николай.

— Всему свой час, Коля. Всему свой час. В то время не открылась история с котлованом. Раньше каждый думал: лишь бы меня не трогали, пусть разбираются, если надо. Отмолчимся, оберегая свои выгоды да интересы, расположаемся по углам и язвительно ноем о прогнивших порядках...

— Да тише вы. — Валерий оглянулся на дверь. — Шумим. Дарью Макаровну тревожим разговорами.

— Ее, ребята, не удивишь: всякого видела в жизни, столько бед на душе своей перемолола.

И больше Дарья Макаровна не слыхала ни одного слова. Осторожно, на цыпочках проходили мужики по коридору, шепотом прощались возле дверей на площадке. Веня еще долго стоял там, курил. Она ждала, когда вернется в квартиру, надеясь, нужна будет для душевной беседы. Но не призналась, что не спит до сих пор. И он поберег ее покой, не спросил ни о чем.

## 4

Не зря говорится: утро вечера мудренее. Оживленно и весело щебетали дети, не хныча и не жалуясь, что приходится рано вставать: отец к восьми, они — тоже к восьми. Бориска привык, целый год проходил в раннюю первую смену, Илона тоже за ним тянятся. У детей так: старшие пример подают, младшие готовы им подражать. Помнится, Веня тоже за Степаном тянулся, не желая ни в чем уступить. Это в детстве и в полгода разница заметна, а вырастет человек, поклонится в житейских трудностях да на разных работах — смотришь, изменился, ума набрался, старших родственников может уму-разуму научить. Веня вроде бы по такой стезе пошел, брата Степана толковее, в пьянку не ударился. Только послушаешь-посмотришь — трудностей и ему хватает дома и на работе. Не все открылось, не все понятно. Зря люди вызывать письмом не стали бы...

Вениамин учебники просмотрел, тетрадки, дневник листает, за чистоту и аккуратность хвалит Бориса: «Молодец, сын, так дело и веди, чтобы никто никогда за плохое отношение упрекнуть не мог. Старанье не пропадет».

— Да-а, я Суся боюсь, как мне в школу-то одному идти?

— Волков бояться — в лес неходить. Помнишь, я тебе сказку рассказывал? Не гляди в его сторону, смелей топай своей дорогой.

— От такого не отвернешься. Злыдни прилипчивые. — Это Дарья Макаровна по своим житейским невзгодам знает, вот и сказала.

— Да ничего. Ребячество, шалости одни. Пройдет.

— Ой, погоди. Бориску проводил бы, с учительницей поговорил, можно и Сусуенка пристраивать. Отец слово скажет в защиту сына — оно придержит который раз обидчика.

— Был разговор, слова, какие надо, сказаны. С люстрами этими шумно получилось, вот и отыгрываются школьники... А мы по утрам всегда вместе ходим. Тебе, тетя Даша, Илонку провожать, она дорогу знает. Вечером опять возьмем, вместе веселее. Правда, дочурк?

— Ой, хорошо. Я так рада, так рада! — Илонка подпрыгивает, прихлопывает в ладоши. Ребенку самая малость нужна для радости.

Не долго собирались. Умыванье, одеванье — все мигом. И за столом дети послушные — любо смотреть. Теплеет на душе, она ласково глядит на родных: лишних слов не надо, ни грозись, ни упрашивай, только подставляй. Всем троим налила по чашке молока, по ломтику хлеба отрезала: «Кушайте на здоровье».

Дружно вышли на улицу. Дарья Макаровна удивилась: «Батюшки, теплынь какая! Солнышко вовсю. Свежо и чистенько везде. Деревья торопливо зеленятся. А в деревне, когда поехала, ручейки смеялись под снегом». Она приостановилась, чтобы оглядеться, припомнить свой вчерашний путь невиданным поселком Дудырино, и отметила: не столь велик он, каким сперва показался.

Шагается теперь легче, уверней. Дети знают, где путь короче, у них свои набеганы тропы. Илонка-егоза впереди летит-порхает, Боря — за ней впритруску.

Веня остановился, чтобы прикурить. К нему подошли двое с разговором — видные, рослые, в одинаковых блестящих куртках. Тоже прикурили от Вениной зажигалки.

— Да ты не робей — устоим, важно начать, — говорит один.

— Случай дает нам шанс. Нельзя упускать, когда есть возможность сделать по-своему, — говорит другой. И опять — первый:

— Проект — не догма, его можно откорректировать, внести изменения на законных основаниях. Все будет доказано расчетами. За инженерное обеспечение мы ручаемся. Так что переводи бригаду, перетаскивай свою черпалку на правую сторону, с первой нитки начнем, — говоривший приподнял кожаную продолговатую кепку — и сзади, по лысеющей голове, Дарья Макаровна узнала приходившего вечером Николая. Он почувствовал ее взгляд, приветливо поздоровался. — Простите, разговор у нас неотложный.

Вернулась от цветочной клумбы Илона, взяв за руку, тянет за собой Дарью Макаровну:

— Иди скорее, а то опоздаем!

— Не обязательно с провожатыми, — говорит отец, но девочка настаивает на своем.

— Ладно, ладно. Не отстану, только не беги шибко, — просит Дарья.

— Прыгай, прыгай, как я. И руками, и руками вот так, вот так! — Илонка оглянулась. — Ну, чего не прыгаешь?

— Отвыкла, не получается.

— Ой, неумейка. А мама Феня у нас попрыгунья. Она мне от тети Наташи еще одно платьишко привезет. Тетка Натка добрая, богатая, у нее денег много, хоть чего может купить.

— Не кричи так. Другие дети не кричат. — Дарья Макаровна быстрым взглядом окинула улицу. Заприметив многолюдную толкотню возле школы, попыталась отыскать там Бориса и ведь углядела, нашла: не хмурой, веселенький,

наравне со всеми радостно галдит — значит, хорошо, никто не успел обидеть.

— Тебе говорю, а ты не слушаешь. — Илона опять тормощит за руку, добиваясь вниманья к себе. — Ты знаешь нашу тетку Натку, то есть Наталью Павловну, эту самую, ну, как ее, которая Выручалкой называется? Знаешь или нет?

— Знаю, — отозвалась Дарья Макаровна.

Правда что, гора с горой, а человек с человеком... Не дано предсказывать, где встретишься, где расстанешься, и не говори, что дорожки никогда не пересекутся. Один раз чужими свиделись, в другой — родными надо называться, дальними родственниками. Давно подмечено родство между всеми людьми, так оно и получается, если семейные деревья шире да глубже проглядеть, видно станет: корни или ветви переплетены где накрепко, а где и едва касаемо. Хочешь не хочешь, а признавать приходится.

— Она строгая, тетка Натка. Чуть что — в угол поставит и стой до обеда или до вечера. Борьку нашего три раза ставила.

Ласковый свет, постоянно исходивший в это утро от разумяненного лица Дарьи Макаровны, вдруг потускнел — Илонка это заметила, говорит, что в хорошую погоду нельзя хмуриться, и тете Даше не разрешает глядеть только себе под ноги.

— Когда взрослые хмурятся — дети плохо видят дорогу, могут упасть.

— Нет, нет. Ничего. Думаю, вспоминаю.

— О чем? И мне скажи — я тоже вспоминать хочу.

— Ох ты, ласточка-щебетунья. — Дарья Макаровна взяла ее на руки.

— Когда вырасту, буду такая же богатая-богатая, как тетка Натка, — хвастливо тараторила девочка. — У меня будет много-много париков: и золотистый, и голубой, и оранжевый. А замуж выйду только за художника, чтобы он меня каждый день рисовал в разных нарядах.

## 5

Только вернулась Дарья в квартиру — песня про то, как все бегут, бегут, бегут, бегут. Вслед за пением надоедливым — она хотела уже выдернуть штепсель из розетки — началась пространная беседа о каком-то нравственном преступлении, причастность к которому большинства родственников подсудимого была доказана обстоятельным следствием. Прислушиваясь, чтобы понять о чем речь, она некоторое

время стояла посреди главной комнаты. Вспомнилось: вчера инженер говорил о приезде следователя по особо важным семейным делам и радовался этому приезду, потому что такие душевные следователи всегда желанные гости, и Веня улыбнулся, глядя на дверь, согласливо кивнул да едва слышно произнес: «От нее, как от твоей матери, ничего утаить невозможно, сколько не таись, а правду говорить придется. Не хотелось бы — лишнее беспокойство, но куда денешься от нашей Даши».

Вытирая пыль с серванта, она невольно пересчитала на стеклянных полках темные кружочки разной величины — как стояли рюмки, фужеры, бокалы, чашки, вазы рядами, так и пятна остались. В самом частом ряду тринадцать пятен. Посуда, видно, долгое время пылилась нетронутая, теперь в корзины и коробки свалена, — носили, должно быть, на общую гулянку восьмого марта иди на свадьбу. Влажной мягкой тряпкой Дарья просветила зеркальную стенку, вновь положенные стеклянные полосы отразились в зазеркальной глубине зелено-синими дорогами, ведущими в заречный бор. И замерцала вдали спелая, тронутая синевой первого инея манящая брусника-ягода. Под высокими сосновами таинственно перекликались мужики — Григорий да Василий. Спокойствие, уверенность приносило заботливое ауканье враз помолодевшего мужа Григория; где-то поблизости ходил он, тяжело прихрамывая, на бугринах находил ягодные холмики. Чтобы дети азартнее собирали бруснику, радостно выкрикивал: «Нашел! Еще нашел! Крупная, будто клюква или яблоко-китайка!» Он призывал к себе то Веню и сына Степу, то жену и старшую дочку: «Вот здесь берите, а я на другой взгорок — осмотрю». Самому-то ему тяжело было наклоняться, неловко, мало набрал, но по лесу бродить был большой любитель, потому что в лесу, особенно в сосновом, дышится легко.

Диво-дивное, маленькая серая фотокарточка, приклеенная к зеркалу в самом верхнем углу, вдруг высыпела незабываемую осень. Дарья Макаровна уже не вспоминала эту фотографию и вот теперь за тысячу верст от родной деревни, от того заречного бора все ожило и повторилось.

Господи, как жили тогда, бедовали в нужде, а друг друга видели, берегли душевностью. Не могла и на мужа обижаться; коверканый был, но не срывный, лучше на своем сердце перенесет, а не загрубит человека, не заматерится, как другие. Понимал: и с ним инвалидом, и с родителями немощными, с детьми малыми хватает жене хлопот. Она в колхозную работу рвалась, как же, пахать-сеять надо, скотину обиха-

живать. Не больно напомаживались: умывальником разок брякнешь, чтобы глаза смочить, и побежала с лестницы бригадиру отзываться — пусть не повторяет приказание. Когда ребята подрастать стали — полегчало: старшая дочь Нина за младшей приглядывала и дома порядок наведет, и в огородце грядки оправит, а Степа с Веней — подростки смелые. Ну и заработать можно было. На лесозаготовках паек хороший давали, мануфактуру. Что за зиму случилось, на корову потратили, а ей какой-то злыдень ломом хребтину перебил... Всяких тогда в соседний лесопункт вербовалось.

Степан разбираться побежал, его же и наломали в бараке, чтобы ценил место встречи наивности с силой — так и сказано было. Веня помнит.

Она старалась найти в особенностях его новой жизни самые привлекательные: квартира с удобствами, культурный стал, дети устроены, среди людей не забижают, по труду тоже ценят — зарплата, видать, приличная, накуплено всего. А жене будто мало. Отчего-то артачится Фенечка? Разве это можно?! Муж родной и неладен, и нехорош, не пригожий вроде. Не было сомнения: лишние заботы и передряги здесь происходят из-за Фенечки. Только Веня отмалчивается. Нечего в молчанку играть, сказал бы прямо. Дарья Макаровна и на племянника серчала. Приехала в такую даль, а понять ничего не поймешь. Чего они туда-сюда, в разъездах оба, в квартире развал. Ни двора у них, ни скотины, ни сада-огорода, будто не знают, как лук, свеклу, картошку выращивать. Ребятишки где навык возьмут? Илонка да Борис целый день там на сутолоке. И в школе нынче одни свалки-задиралки, старшие младших и толкнут хоть бы что. Ребячье душе отогреться где-то надо. Конечно, возле матери, конечно, в домашнем тепле, в домашнем несуетливом труде. Нынешние родители будто этого и не разумеют. Ребенок сам не войдет в жизнь, его вести, направлять приходится, чтобы не куда попало и как попало катился. С детских лет человек определяется, по родительскому примеру — яснее ясного.

О чем только не передумала Дарья Макаровна, заботливо наводя порядок во всех трех комнатах и на кухне. Собиралась уже полежать, отдохнуть, успокоить разволнившее сердце и услыхала движение на лестнице: «Наверно, Надежда Ивановна поднимается, — вспомнив обещание Валерия, вышла в коридор, чтобы встретить и только теперь спохватилась: — Ай, и защелка незадвинута, заходи, кто хочет».

— Дарьушка, ты дома? — бодрым и чистым голосом спрашивает Надежда Ивановна, едва приоткрыв дверь.

— Входи, входи смелей, — отвечает Дарья Макаровна с полной уверенностью, что это именно та самая собеседница, которая обещалась прийти — по сходству с сыном Валерием ее не трудно узнать: высокая, смуглолицая. Лет под семьдесят старушка, да крепко выглядит: и лицо округлое с румянцем, и стать прямая, и руки, знавшие всякую работу, еще приглядны.

— Будем знакомы, раз так. — Надежда Ивановна сняла с плеч клетчатую шаль, обеими ладонями пригладила блестящие русые волосы, привычно причесанные на пробор. — Сегодня в выходном. Моя очередь разгуливаться, вот и собралась к тебе на беседки, — сказала она Дарье, как своей деревенской. — Сын подсказал, вот и притопала торопясь. Еще ничего, не жалуюсь, на пятидесятом году переболела шибко и с тех пор, с тех самых пор держу себя в руках. А ты то еще молодая, какие твои годы. Достаться, конечно, и тебе досталось, но ведь теперь жить-то шутя.

— Можно, можно. Кто жалуется, тому на себя глядеть надо, — еще не своим, смущенным голосом поддерживала Дарья Макаровна разговор, чувствуя силу характера и добродушную открытость Надежды Ивановны. — Милостьюю по деревням никто не собирает. А страху, разнобоя жителейского много. Кто пашет, тот и не хозяин сам.

— Понукальных обманщиков много... — Надежда Ивановна достала из плетеной сумки два теплых пирога-загибника, потчует: — Вот пробуй моих, пока горяченькие. В духовке пекла... Не так оно хорошо, не в русской печке, но приладилась, который раз и нечто бывают пирожки. Внука балую. И Валерка к себе из-за этого перетянул, говорит, без пирогов твоих жить не могу. Думает, не ясно мне: в пирогах, разве дело, домработница, няня и бабушка им нужна. Вот и все. Ладно, приехала. Зиму прожила, теперь домой надо. Домой и все. Огородцы скоро садить.

Пошло знакомство. Да что знакомство — будто век знались: заботы одинаковые, все радости теперь только в детях. А пройдено, перемыкано столько всего — начни пересказывать, сил не хватит. Разница в возрасте вроде бы и нечувствовалась. Посидели рядом, помолчали да снова про то, как жилось раньше, как теперь живется. Выходило, и там, в Приветлужье, откуда приехала Надежда Ивановна, на деревне молодые не хотят обидной сельской жизни. Матери терпели, а они не могут.

И обе они мучали себя одинаковыми вопросами: «Ну, почему так, что за поветрие пошло? За что люд трудовой по

всем деревням просвету не видел, а? Столько страдать крестьянству? Чем обратно людей к земле поманить?

Надежда Ивановна, казавшаяся в начале крепкой и сильной, теперь приосела — годы свое обозначают, только дай волю, ослабни душой. Дарья Макаровна и седину по всей голове разглядела у нее, и морщины возле глаз, вокруг рта, и узловатое переплетение синих прожилок на руках, и приплюснутость, перекошенность пальцем. По таким рукам определишь: долго она в доярках была. Дарья обрадовалась этому сходству и тогда спросила:

— Ивановна, не знаешь ли, чего тут у наших, какие нелады?

Бориска шумливо вбежал в квартиру — сбил с вопроса:

— Тетя Даша, меня опять раньше отпустили. Можно я погуляю? Нам теперь мало задают. Я успею, мамы долго не будет.

— Боря, ты голодный ведь, — напрасно останавливалась она его. Да и зачем останавливать, когда все хорошо, когда он на крыльях радости: в школе, видать, обошлось без придирак, пораньше отпустили, а дома дверь не на замке и сразу едой потчуют. Детям это и надо, чтобы знали: не одни, есть забота, присмотр, защита.

— Мои цыплята тоже прибегут скоро — надоело им в продленной, на волю хотят, весна кругом разговористая. — Надежда Ивановна затормошилась было, но глянув с присущим на будильник, определила: — Можно еще, погожу. Не пособиралась да и пошла, нехорошо так. Ты, Макаровна, ко мне бывай, в соседстве живем. Дом напротив, семая квартира.

Они подошли к окну. В сквере между домами — детская крикливая сутолока. Портфельчики разбросаны где попало — на скамейках и под кустами, на тропинке прямо. И куртки, и пиджаки оставлены — тепло. Весна-то развеселила детвору — не укротишь. Клумбы вовсю зеленеют, подметено, прибрано. И сухо уже, можно в туфельках гулять. Молодое, приглядное Дудырино, в неустроенную деревню отсюда никого нынче не заманить.

— Вот стоим с тобой рядом, — говорит Надежда Ивановна, приклоняясь к Дарье Макаровне. — И чую, родная ты мне, по сердцу родная. Тревога тоже понятная. Не ладят твои меж собой. Что к этому привело, который виноватей — не со стороны судить.

— Неуж, разойдутся?

Она и сама не заметила, какой сделала поворот в своих рассуждениях: только что боялась за Веню и его друзей, только что готова была отговаривать их от трудной затеи, но теперь подумала: «Не один Веня, сотоварищи поддержат». Правдивость племянника Дарья Макаровна знала. Валерий

и Николай, по всему видать, тоже самостоятельные, надежные — Веня с плохими статись не станет. От этих мыслей сделалось легче, будто опять вышла в светлый и просторный сосновый бор, в котором хорошо заметна, раньше, еще в довоенные годы, накатанная и до сих пор незарастающая, дорога; и ездят там редко, и ходят туда только по грибы да по ягоды, а давно установленный путь сохранен, чтобы запутав однажды, человек мог выйти на него, оглядеться и определить, в какой стороне родная деревня.

— К Степану бы надо ехать, а я вот где, — тихо проговорила Дарья Макаровна, собираясь поведать Надежде Ивановне о своем сыне... — И здесь ничего не ясно еще.

— Жди, когда сношка объявится, — сухо посоветовала Надежда.



## 6

Вкрадчивый ночной дождь беспрерывным шептаньем убаюкивал спящих в уютной кабине «Камаза».

Фенечка, окутанная теплом липкого сна, видела себя посреди котлована, как на огромной сцене. Надо было сыграть новую роль, но под какой маской маскироваться, чтобы пришел успех, чтобы восторгались чужие зрители — она еще не определила, да и не могла, потому что ждала указаний. А время торопливо тикает. Темнота сгущается. Лица галдящих зрителей бледнеют в ужасе. Гудит и скрежещет со всех сторон. «Спасайся, дурочка! — кричит издалека невидимый Веня. — И руки, только руки его зовущие видит она перед собой. — Беги, беги, к детям. А я сам, сам!»

Она поняла, надо спасаться — Веня зря кричать не будет.

Размывает не на месте поставленную плотину — захлестнуть может. Фенечка убегала серединой котлована при слабом свете фонаря, приговаривая: «А чо? Я — ничо... Мне хоть трава не расти, было бы сено».

Шофер осторожно позвал ее несколько раз, но она не проснулась, не опомнилась еще, принимая его за другого человека, чуть-чуть не назвала Веней.

— Третий час, кажется, — сипло сказал Рамазан.

Иногда человек возвращается в дни мечтательной юности, грустя по утраченному в себе, но Фенечка таких утрат не видела и не знала, все еще жила беспечно и вольно, легко забывая, что стала женой и матерью, мнила себя свободной. Гордилась умением влиять, запевать и командовать. Приятно вспомнить себя победительницей, красивой, уверененной... Каждый год в школе бывали смотры строевой песни. Какая счастливая, уверенная, красивая бывала она на этих смотрах.

— Ты знаешь. Рамазан, я ходила запевалой. И получала за это призы. Но однажды на школьный смотр строевой песни пришел начальник из рено. Глядел, глядел, скрестив на пузе пальцы, и все ему не понравилось. Начал нас, учеников, отчитывать: да кто же так в строю ходит, да кто же так запевает! У одного рубаха из брюк выбилась, у другого на затылке хохол торчит, а девчонки только что не голопупые, на этих белокрылых бантиках порхают, нет бы, как одна, все под польку стрижены — вот тогда показательность была бы видна. Директор — мы Ефимкой звали его втихаря — тоже начал нотации читать, надо, говорит, учесть замечания, чтобы никогда больше так не опозориться.

А хорошо у нас пелось в строю, от души старались — этого никто и не заметил.

— Мала-мала мочит и мочит, — повторил Рамазан.

— Нет, ты послушай. Я в школе совсем-совсем другая была, девчонкам и мальчишкам нравилась. Чуть что, меня наперед: скажи ты ему — это Ефимке. Ладно... Дождливая осень стояла. Учеников на картошку в колхоз гоняли. С утра отправят — копайте, мокните, не расклоняясь. А учительница под копной соломы дремлет. Я разворотила костер — искры полетели. Ветер удобный был. Подогрело Мартыновну хорошо. Обхохочесья. И ничего — все обошлось.

Пришли в школу отчитываться на общей линейке. Стоим перед крыльцом. Нам что, большие уже, а другие — малышня. Дрожат работнички. Педагогический коллектив — на просторном крыльце под крышей. Итоги подводят, стыдят, хорошего слова не услышишь. Все не так. Все мало да плохо. Ефимко рукой угрожающе машет: как не стыдно, как не стыдно в такую пору. А я и кричу: колхозников на поле ни одного нет! Молчать! — требует Ефимко. Сколько раз вот так все молчать да молчать. Я и замолчала, расхотелось петь. Ну, думаю, тоже никогда не буду мокнуть под дождем, лучше уж на крыльце. Теперь не мокну, правда?

...Ранняя зорька прорвала низкие облака и солнце ослепительно ударило к ним через боковое стекло, засиял краешек чистого неба с другой стороны. Фенечке послышался напряженный рокот тяжелых машин и тракторов, она вздрогнула, вскочив с лежанки, распахнула дверцу.

— Вода, кругом жуткая желтая вода! Где мы остановились?

— Или вчера не заметила, не разглядела уютный полуостровок? Справа дорога, слева — овраг, а прямо по ходу — скользкий подъем. Подмогу бы надо. Самим не выкарабкаться.

— Ой, правда, не выехать. Так и сидеть?

— Минуточку. Без паники. — Шофер взялся за руль, почтичи вертел головой, оценивая обстановку. — Сдадим назад, мала-мала и — сходу!

— Давай, миленький, давай.

Долго разогревалась машина, может быть, Рамазан медлил, раздумывал как быть — он знал возможности и недостатки своего грузовика.

— Вот и говорю: много спать —олжизни проспишь. А жить-то очень-очень надо. Основной двигатель жизни — хотенье одних да терпенье других.

— Давай, я помогать буду.

— Вот бабья привычка лезть не в свои дела. — Он выпрыгнул из кабины и, поскользнувшись, чуть не упал.

От воды, сдавившей узкий полуостровок, поднимались волнистые полосы тумана.

Опять начало темнеть. Ненастные тучи оседали на ближние увалы.

Фенечка, переодеваясь, суетливо копошилась в кабине: она сняла новые блестящие босоножки, завернула их в целлофановый пакет и спрятала на дно сумки. А надела коричневые «лодочки» на низком каблуке. Взглянула в зеркало, быстренько прихорошилась, даже губки, сложенные сердечком, подсвежила вишневой помадой.

Он помогал ей выбраться из кабины как-то небрежно и вяло, без ласки — измотался, видать, окончательно, даже не поддержал, когда она по колесу лезла в кузов, чтобы сдернуть с ящиков упаковочную холстину. Нервно дергая, распугивала веревку, плечом пыталась отодвинуть мешающий, крайний к заднему борту, упакованный сервант или шифоньер.

— Вот, холстинка под колеса. Видишь, Рамазаша?

— Идея. Дорожка скатертью. Мы спасемся сами, без свидетелей.

— Выехать бы скорей. — Сверху она посмотрела в сторону невидимого Дудырино. И снова послышался ей глухой рокот экскаватора — таким Веня копает.

Когда грузовик сдал назад для разгона, Фенечка раскинула две дорожки-скатерти в самом трудном месте, где вчерашний след избороздили ночные змеевистые ручьи. Грузовик вырулил к дороге, пошел в гору, вот-вот преодолеет самую трудную часть подъема, доскребется до холстины. Чуть-чуть бы еще, и сильные сдвоенные колеса зацепятся за спасительные полотнища. Фенечка, поднырнув, толкала в задний борт, пожалуй, впервые с такой искренней самоотдачей выкладывалась она, не жалея себя. Но колеса на мгновение замерли, потом провернулись — и шофер, скособочено глядя из приоткрытой дверцы, крикнул: «Отойди!» Будто бы впереди лопнул трос, грузовик откатился вниз метра на полтора, чтобы снова раскачнувшись, устремиться вперед. Понимая это, Фенечка изготовилась в нужный момент отдать свои силы машине, не боясь качающихся наверху ящиков, забыв, что сама же распугивала белую веревку.

Резкий рывок толкнул ящики — один из них, самый крайний, качнулся на борт и, перевалившись, грохнулся...

Панический мужской крик перекрыл мощный гул разгоряченного мотора.

Фенечка слышала этот крик. Замедленные тяжелые шаги тоже слышала, не осознавая, что произошло, пытаясь поднять голову, отозваться на крик и не смогла — чем-то тяжелым накрыло ее...

## 7

...Дитя спит, а мать усталая бредет и бредет по снежному лесу. К полуночи добралась она до старой каменоломни. Забушевало, загрохотало со всех сторон. И разверзлась гора, открылся вход в пещеру. А там сверкают несметные сокровища. Бедная женщина обомлела перед чудом таким. Высокий неземной голос к ней обращается: «Возьми, сколь сможешь унести, но не забудь самое дорогое». Тогда бедная женщина, чтобы освободить руки, положила спящего ребенка на противень у входа. И давай нагребать драгоценности в фартук. Неземной голос поторапливает: «Ты должна управиться до последнего удара колокола. Но не забудь самое дорогое!» Некогда размышлять бедной женщине. Гребет и гребет, хватает и хватает. Уж полон фартук, подол платья полон, на шее и на руках ожерелья. Кинулась к выходу. Тут в третий раз молвил голос: «Не забудь самое дорогое!» Едва шагнула она из пещеры на волю — ударил колокол. Заскрежетала скала и сдвинулась — пещеры как не бывало. А дитятко-ребеночек спящий там остался. Сокровища валятся из рук несчастной женщины, она рвет на себе волосы...

— Давно это было, а матери помнить должны, — тихо сказала Дарья Макаровна, входя по гулкой бетонной лестнице.

— Моя мама часто так говорит, — как будто все слышала и Дарьины думы знает, навязалась в разговор молодица, поджидающая на площадке, — Фенечкина подруга Лida.

За короткое время по разговорам с Веней определился круг его знакомых, и закадычные подруги Фенечки стали известны Дарье Макаровне.

— Ну, проходи. Чего прибежала как нахлестанная? — без церемоний обратилась она к Лиде.

— За Фенечку переживаю. Такое началось, даже страшно. А может, еще ничего не случилось. У страха глаза велики, говорят. Поехала Феня совсем не вовремя. Пошутила тогда: мебель привезу шикарную.

Наговорила взволнованная молодка четвергов с неделю. Никакой, дескать, особой беды нет, нынче всякое, еще похлеще бывает. Фенечка не пропадет, у нее много надежных друзей, она везде свой человек. Просто наговаривают на нее те, кто обижен или завидует умению жить. Конечно, ей нелегко. Обстановка хорошая нужна, одеться надо по моде, вот машину хочет купить. Чем она хуже других? Или все в бедноте маяться? Пожить надо. А муж как был простым механизатором, так и остался бы, если бы она за него не взялась. Жизнь трудная: работа да дом, работа да дом.

— Мама меня тоже упрекает: бездомница, говорит. А для кого мне стараться? Разве я виновата, что так получилось? Муж спился, на принудительном лечении. Я с ним светлого денка не видала. Встрепенулась — гляжу: не все годы прошли, сама чего-то стою. Не ткачиха теперь. На экономиста выучилась. Я на ткацкой фабрике три года в грохоте стояла. Приучили только о работе думать, а жизнь идет. И на Канарские острова охота.

— Вот-вот, она и должна идти в работах да заботах, жизнь-то. Не камаринского плясать.



— И по-другому не запрещается. Кто на что способен. Или всегда: одним — сцена, другим — станок? Я, может, не раскрыла таланты свои, потому что условий, возможностей не было из-за происхождения. Никто не видел меня, никто не заметил, не разглядел. Смену в ткацком отгрохаешь, а потом на уроки в вечернюю школу. Сил оставалось только до общежития дойти.

— Ты не в общежитие бегала бы, а при матери держалась.

— Ой, нет. В деревне-то чего делать было? В общежитии веселей. А придешь усталая — там гвалт да суматоха, полный коридор кавалеров пьяненьких. На кухню пройти нельзя, к плите очередь. Вспоминать тошно. Спасибо Строителевой — вытянула, в сельхозинститут пристроила, сперва на заочное. Я на базе у нее кладовщиком побыла — приоделась. Полегче дышится. Маму из деревни привезла.

— Это ладно. Это хорошо. Суeta ваша бездетная зачем?

— Я и то думаю, из детдома разве мальчика взять. Пособие назначат.

— А своих не будет уже, все? Чужого ребенка шутя не приголубишь — на это ум и сердце окрылить надо.

— Посоветоваться хотела. Веня говорил: Дарья — мудрая...

— А ты с матерью советовалась?

— Нет пока. Разговор не складывается у нас. Как вот у Фенечки было тоже: мать ее к саду-огороду принуждала, к хозяйству домашнему. Рассорились...

## 8

— Сны плохие не зря у меня, — Дарья Макаровна, чтобы поделиться с Веней своими тревожными предчувствиями, готова была пересказать сновидения, находя в них взаимосвязь и последовательность. Но для краткости только упомянула про осиновые дрова и зов на помощь, с которым шел по грязи высокий худущий мужик, и про пустынью, покрытую пеплом, еще упомянула сон про наводнение, слизнувшее многие деревни. Сторожка Евдуху как было не упомянуть? Бродит, наверно, там вокруг двора с фонарем, пьянящий, спотыкающий, а солома везде навалена, растаскана. Евдухе все ни почем, поговорочку любимую кричит: «Я человек маленький, а колхоз большой-большой...» Докричался — пустыня кругом образовалась, пепельная пустыня. Идет пупырыш с лучинкой тлеющей, одно твердит: «Куда летим, куда катимся, братцы?!» Темно и пусто, как в бочке. Вдруг котлован этот местный. Видать не видала, но почему-то приснился. Фенечка будто бы ходит по котловану одна, тоже с фонарем или с лучиной — в общем, с огоньком slabеньким, а люди говорят: ищет, еретовка, себе оправдание, видать, наторговалась-накаталась досыта.

— Наговоришь ты, тетя Даша. Знаю тебя выдумщицу.

— Ты больно прост да доверчив. А люди, видишь, как. Нынче не терпят прямых да справедливых. Ты, может, круто поворачивал?

— Ерунда все это. Сплетни. Главное — работать. Нам бы поскорее котлован докопать, фундаменты заложить. — На рабочую тему хотел он перевести разговор. — Мы с ребятами взялись как следует...

— Ой, мужики. Сперва домом жить-то надо. Сам не поймешь никак, что собственная жена творит, не можешь поставить ее на путь истинный, а на уме котлован этот. Женой своей займись, голубчик. Она у тебя слишком бойка.

— В тылы она превратила нас, видишь ли. Приедет, опять запричитает: «Если уйдешь, если от меня откажешься — руки на себя наложу».

— Бывает и так: оступился человек — все только плохое и видят в нем, будто и светлого пятнышка нет. А почему оступился-то? Ты ведь ее на руках носил. — Дарья, приложив сжатые руки к груди, скорбно глядела на племянника. — Доездили с места на место, докаталися. Издергали свою жизнь на лоскутки.

Веня сидел словно виноватый школьник — Дарья Макаровна все поняла.

— Чуяло мое сердце. Помнишь, как собирался уезжать? Говорила тебе: больно круто повернулся, ни с кем не хотел советоваться. И жена твоя — вольница. Подруга закадычная прибегала, беспокойство у них какое-то.

— Люди, конечно, могут и лишнее приплести.

— Без огня-то дыма не бывает. Лиза эта зазря бы вызывать меня в такую даль не стала. Призналась: на всякий случай.

— Найдут эти бабы случаев. Ну их...

Рядом с Дарьей племянник размягчился душой — возвращается к самому себе прежнему. За годы, прожитые вдали от родной деревни, чувства его зачерствели до того, что он перестал удивляться и радоваться. Утренний свет, скользящий по крышам, теперь казался ему серым, только серым, даже в ясную погоду. И вечерние зори в последнее время — замечал он — будто посыпаны пеплом. Полуденное солнце надоедает липкой жарой, ослепительно мешает работать. Да и все не так, как надо.

Только в прошлом были яркие и непохожие, каждый со своей особинкой, весенние долгие дни. По утрам доносился тонкий звон ручья, в глазах рябило от веселой пестроты вокруг, утешительно пахло свежей пахотой. Бывало, видел свою работу и пони-

мал, что приятно смотреть на ровное поле. Над той пашней разрастающейся связкой тянулись к северным лесам журавли. Удивительно было: на другое утро в такое же время и в том же самом месте перекликались усталые птицы. Деревенские ребятишки толпились под березами, обживали первую проталину посреди деревни; они, радуясь, ликую, сообщали каждому прохожему: «Над Венькиным полем опять журавли долго кружили». А здесь, над поселком, никто птиц не замечает, никто не удивляется: почему они кружат вдали от моря, озера и реки, что ищут, о чем кричат? Не вороха ли белесых ракушек по берегам котлована разбудили в них наследственную память о когда-то существовавшем озере с местами гнездовий?

Если бы Вениамин признался в своих думах, почему он мучает себя странным вопросом про этих залетных птиц — тугокрылых чаек, Дарья Макаровна, понимая, по какой причине вспоминаются ему журавли над распаханным полем, сказала бы: «Я вот все Заречный бор вспоминаю. Столько верст проехала, а думается: неподалеку он, за взгорком возле вашего котлована».

— Устал от всего, — признался Вениамин. — Везде — перекосяк...

— Или не вижу. Беда вокруг такая торгашеская. И на работе, и дома. Усталость работная да семейная тяжесть. Сколько можно человеку терпеть?

И прорвалась его откровенность. Начал рассказывать:

— Спохватился, неладно получается: живем, будто друг друга не видим. А тут и выкатилось. Люстры эти подключали в школе. Мастер подпихнул разовую ведомость: расписывайся и получай. За что, говорю, столько? И не сорок было люстр, а двадцать пять. Мое дело, отвечает Втюрин, выписать хорошо, дело твоей жены — отметить премиальными. Пришел домой — пошумели, конечно. Феня говорит: «Недотепа». Фырск! — и уехала, когда вернется — не скажала... Вот тебе и вся наша беда. Приедет, вернется. Не первый раз по какой-нибудь причине взвивается. Разберемся. Пожалуй, домой тебе, тетя Даша, надо. Проводим. Навестила — спасибо. Помогла, повидались.

— Не провожай. Тут буду, пока не узнаю, чего она колбасит.

— Себя и людей обманываем. Иной раз подумаешь — мороз по коже заходит... А приспособились, приловчились многие. Втюрин, жучок, второй год трется возле нас агентом. Ему хорошо, вольно. Вот и ворочает по своим понятиям. Видела, как с люстрами этими. Надо сходить, пока не остыло дело, от люстр до звезд...

— Не горячись больно-то, плетью обуха не перешибешь.  
— Дарья прошла за племянником до сквера да и вернулась домой торопливо.

Только притворила дверь да вставила ключ в узенькую замочную щель, явился перед ней коренастый юркий мужик в серой спецовке с оттопыренными нагрудными карманами — пухлые записные блокноты из обоих торчат.

— Здорово, — говорит мужик испытанным голосом, а сам на месте семенит, будто ноги, застывшие в коротких резиновых сапогах, топотней отогревает. — Чего запираешься? — спрашивает. — Разве никого нет? Хозяйка не приехала? Селезень дома, что ли, не ночевал?

— А ты кто будешь такой заботливый? — Дарья поспешило повернула ключ, выдернула из замка и, спрятив его в карман вязаной кофты, запахнула полы плаща — некогда пуговицы застегивать.

— Мастер я, Втюрин. Селезневы оба позарез нужны. Начальник вызывает. Феня, значит, задержалась на денек-другой. Вчера еще должна бы явиться. А Венька не встречать ли в Заделье поехал?

— Нет. Ничего не сказывал. На работу собрался, к товарищу своему Николаю хотел зайти. Срочно надобен? — Дарья видела неподдельное беспокойство в тусклых глазенках, нервно блуждающих из стороны в сторону. Мужик передвинул языком кривой окурок в левый край приоткрытого рта, чиркнул спичку, прикурил, помахал ею и заткнул обратно в коробок:

— Так твою разэтак. Скачи теперь из-за них. — Втюрин торопливо сбежал вниз на следующую площадку, оттуда выкрикнул: — Лопух он, Веняка ваш. Правдолюбец аховый, наговорил, накаркал. Придет — скажи: Втюрин был, завертелось дельце. Жареным пахнет.

— Про люстры эти в школе? — начала было Дарья Макаровна, собираясь шумливо стыдить его.

— Ты замри, тетка, не вякай. Не твоего ума дело, пошире оно.

— Ишь, какой упредительный. Я вот тебе замру, хитрован! Накрутит-навертел на людей, а теперь бегаешь!

Но слова не дрогнули верткого Втюрина — нижняя дверь резко стукнула отскочив от притвора, словно в ладоши хлопнула. Она и наделала шума больше, чем возмущенное обещание Дарьи: «Я вот сама к начальнику пойду! Ожигалова этого пристыжу!»

Осмелела. Уверенно спешила по крутой лестнице, будто там, внизу, за самой последней площадкой, в мрачном

подземном коридоре и лежит длиннющая пестрая ковровая дорожка, по которой бесшумно ходят подчиненные в кабинет к хитрому начальнику.

Весь путь казался обдуманным и коротким. Она не станет прихорашиваться возле трюмо. Не замечая секретаршу, войдет в кабинет и крикнет, чтобы вздрогнули хрустальные стаканчики возле графина с водой, чтобы настежь распахнулись высокие окна, а на лысеющей голове начальника дыбом встали бы остатки шевелюры: «Ты, скорпион самовластный и бесстыжий, на чужой семье, на чужой беде загребущие руки свои отогреваешь! Мало тебе?! И места мало, и должности, и почестей? Дача на усторонке, особняк возле моря... За чей счет выстроил? На какие заработки, за какой талант поощрен? И все можно тебе и все дозволено?! Вольготную жизнь обстряпываешь свою; подпевалам, да прикрывалам — почет, а другие пускай замараны будут, пускай твоя вина на безответных свалится?!»

Дарья оглядывала спокойную весеннюю улицу, словно только что вышла из холодного подземелья. Со всех сторон весело роилась листва. Голубые балконы да лоджии новых домов на миг показались ей дальними просветами между редкими соснами заречного бора. А и правда, надо разузнать, куда назначил Фенечку начальник, думала она. И, направляясь через цветущий сквер мимо школы, знала уже: там самоглавная в поселке строительная контора. Среди развали и загроможденья из бетонных столбов, труб и плит, среди раскуроченных, пятнисто поржавевших станков, бочек, помятых тракторных кабин, возле огромных ворохов кирпича сновали тупорылые самосвалы. Узенький тесовый тротуар, все выше поднимаясь на столбах, словно мосток через реку, вел Дарью Макаровну в другой, незнакомый, невиданный мир над грязью и развалом прямо ко второму этажу серой бетонной башни. Чтобы разойтись со встречными шумными строительницами в заляпанных комбинезонах, надо прижиматься спиной к железным перилам. «Люди спешат, а я тут мешаю», — стеснительно думала Дарья, пережидая идущих размашистой походкой водителей, пружинисто семенящую девушку.

— Эй, голубушка, не на работу ли к нам? По объявлению, да? — спрашивает Дарью пышноусый конторский работник в черной шляпе и при черном с блесточками галстуке.

— Поглядеть вот иду, — отвечает Дарья.

— Опять, Петрович, пристаешь? — одергивает конторского работника шустробравый парень в брезентовой куртке, подпоясанной широченным ремнем со звякающими цепны-

ми петлями. — Это идет тетка Вениамина, — тихо пояснил он Петровичу, а перед Дарьей Макаровной поклонился. — Извините товарища.

— Ну что ты, монтажник-высотник, — стеснительно краснеет Петрович, дергая молодого за рукав, и говорит Дарье: — Поглядите, поглядите, как мы тут забарахлились. А что сделаешь? База передвижной механизированной колонны.

Мужики облокотились на перила, глядели на высокую гору вдали за шоссейкой: там на вершине копошились люди.

— Ну, Петрович, давай закурим дармовых. — Дарья слышит голос парня-монтажника.

— Кури, дольше прокашляешься. — Петрович дает парню несколько тонких сигареток. — Сам стрельнул. Втюрин поужимался, а всю пачку с остатками подает: для хорошего товарища, говорит, ничего не жаль.

— Задабривает, курва, словами елейными.

— Лисой теперь ходит. Его бы заснять — на память потомкам: глядите, запоминайте, узнавайте в лицо приспособленцев и шкурников по этому эталону.

— А чего опять кинчики приехали? Дипломники, да?

— Смотри, там снимают panoramu с бугра. Производственную обстановку широким планом. Поле нашей деятельности. Ожигалов в стадии реверберации\*.

— Как ты сказал, Петрович? Реверберация? Сатира-умора. Для «Фитиля» бы раньше сняли эту контору.

— Серега Звонарев знает, что делать. Короткометражка дипломная и к тому же — разоблачительный документ с подлинными физиономиями.

Дарья, не все понимая, заинтересованно прислушивалась к разговору — потому не уходила. В «улейке» на верхних конторских этажах, как и на улице вокруг, было шумно, суетливо. Люди перекликались через настежь распахнутые окна, поглядывали вниз; кто-то спускал белые веревки к остановившейся грузовой машине.

— Новую декорацию привезли. Надо кабинет посолиднее обставить, — говорит Петрович. — Гляди, книжный шкаф с тройной стеклянной дверкой. Для толстых книг. Нужен фон. Повесили огромный, во всю стену, план строительства комбината. Ожигалов — при параде. И в очках. Никогда не носил, а сегодня в шикарных очках. Мыслитель! Интервью будет давать. Деятельность свою продемонстрирует.

— Поглядеть бы. Да, все игры начальства не усмотришь.

\* Реверберация — процесс затухания звука в помещении после прекращения действия источника звука.

— Чего миштуру эту глазеть — только время теряем. — Петрович махнул рукой. — Наши интересы в котловане, да у начальника в кармане.

— А ты ему обрисовал обстановку? Премиальные будут?

— Как же. Иди, говорит, не до тебя, и чтобы все вертесь, чтобы первая линия дышала без помех перед комиссией. Бегу и спотыкаюсь...

Огромный черный шкаф, обвязанный белыми веревками, медленно полз вверх к широченному окну. Кто-то изредка давал команды: «Майна!», «Вира!».

Исполнители приказаний переговаривались: «А письменный стол тоже сегодня заменим?»

«И кресло, конечно. Все, гарнитурным комплектом!»

«Полный парад в честь будущих трудов!»

Вот и он сам стоит у соседнего окна, будто на картине: высокий, чубатый, в кожаной коричневой куртке, рубашка на нем белоснежная, галстук вишневый ветром в разные стороны треплет.

Высокий, крепкий, может, лет сорока мужчина — Дарья хорошо разглядела его: нет, не такого начальника собиралась стыдить за потворство беззаботным женщинам, которые разъезжают от семьи в разные стороны. Сделав несколько шагов по шаткому настилу, Макаровна остановилась в нерешительности.

— Проходите, проходите. Не мешайте, — потеснили ее две конторские нарядные хлопотуньи, несущие книги, словно охапки дров. — Никого нет. Неприемный день у нас.

По грязному, окраинному проулку между обшитых вагонов, сочувствуя обитателям этой временной слободки, медленно пробиралась Дарья Макаровна на дорогу, ведущую к котловану. Никого не спрашивала, правильно ли идет, далеко ли тут, не пыталась остановить ни один грозно ревущий самосвал — они с грохотом спешили туда, на большую стройку за бугром. Хотелось повидать Веню в новой работе, среди громадных машин. Надо бы сказать ему: не для такого размашистого труда он, не к такой ловкаческой жизни с детства приучен, лучше бы не красную глину распихивать бульдозером в разные стороны и прислуживать перевертышам, а пахать, оккультуривать землю родящую. Временная верткая жизнь по разным краям изъедает, коверкает душу, может, потому молодые и мечутся, все им не так, семейного лада не знают — происходящее здесь для нее было связано с какой-то всеохватной бедой.

Никогда кроме труда своего да заботы о близких ничего стороннего не держала в уме, а вот поехала сюда, по-

шла по земле вдали от Заречного бора увидала разных людей и затревожилась вопросами: неужели такая жизнь должна быть? Разве при нынешних условиях дети не нуждаются в родительском тепле? Или государству великому лучше от того, что женщины знают сторонний интерес, от домашних, семейных забот отстраняются? А стеснительные работные люди для чего ловчить должны?

Во дворе села на скамейку отдохнуть под новой березкой, в честь ее посаженной, да неуютно показалось.

## 9

Тяжелой походкой миновала Дарья Макаровна первую лестницу. Перед другой встретила ее энергичная женщина, будто сверху спрыгнула:

— А вот и мы! Вместе Даша да Наташа.

— Батюшки-светы, — обронила растерянно Дарья Макаровна.

— Гора с горой. Если гора не идет к Магомету и так далее. Не зря все думалось тогда: кого-то мне напоминает эта тетка, кого-то напоминает. Ясно теперь: Веньку Селезнева — кого же другого. Сродственницы мы...

— Сошлися дорожки наши — так суждено.

— Пора за столько лет сойтись, узнаться, сродниться. Ничего. Вечерок посидим за столом — вот и родня. Мы наших подопечных для согласной жизни пригибать будем сообща, уму-разуму научим.

— Как же это?

— Дашенека, родная, нынче времена другие. Хочешь жить, умей вертеться, купить-продать. Жаль вот, поздно Фенечка поняла. Я бы в таких условиях больших высот могла добиться, а теперь старуха, не больно на меня глазают.

Дарья копошилась возле двери — ключ никак не попадал в узенький «следок».

При этом думала: хозяйки молодой нет, любо — не любо, а гостю принимай, потчуй:

— Где-то Фенечка наша запропала — вот беда.

— Никакой собственно беды, — размашисто грохнув тяжелую сумку на кухонный стол, объясняла Наталья. — Баба тоже иногда может развеяться. Подвернулась путевка — поехала в «Тихий уголок». Наша грузовая попутка заскоком через Кострому доставит в целости и сохранности деловую женщину вместе с покупкой. Мебель шикарную мы с ней отхватили. Гарнитур импортный!

— Постой, Наталья Павловна. Я не поняла, про кого сказываешь? — Дарья застыла в дверях детской комнаты с приподнятым над спинкой стула новеньkim платьем Илоны — собираясь повесить его.

— Некогда объяснять, после, — отмахнулась она и сама — за дверь.

Пришел чуть слышно, крадучись по коридору, насупленный Борька — опять дразнили, обижали в школе, может, учительница из-за чего пошумела на него или директор? Дарья не докучала вопросами. Парнишка нехотя ополоснул руки, долго вытирая кулачки, словно ввинчивал в полотенце, исподлобья поглядывал. Пыхтел, пыхтел и спрашивает:

— Значит, тетка Натка присарапала? — странно спросил он.

— Она... присарапала, да. Слова откуда берешь такие? Попугайничать нехорошо.

— Мама опять где-то отстала? Уедут вместе, а обратно — врозь.

— Едет другой дорогой. Недолго ждать. Завтра к полуночи обещалась. Видно, стосковался?

— Не-е, я так спросил. Мне фломастеры на урок рисования нужны.

— Где магазин этот, с принадлежностями, не знаю.

— В конторе у них навалом, мамка бы принесла. Магазинные плохие бывают. Мне американские нужны. Их в ларьках берут или из конторы. Контора большая: все несут.

— Ты попугаешь плохие слова не повторяй.

— А чо, нельзя? Мама говорит — это для бизнеса.

— Нельзя. Стыдно должно быть говорить такое.

— Ладно, если боишься. А верующие, правда, все такие боязливые? — у Бориски свое понимание Дарыных запретов. — Не бойся: бога нет, им только угнетенных пугают.

— Еще поговори у меня! Разговорчивый больно. Поставлено — кушай с аппетитом.

— Я дома не привык, в продленке лучше.

— Не угодила разве? Супец мясной не нравится? Кушай прилежнее — поманит, — Дарья гладит кругой Борькин затылок. — Раньше бы нас из-за такого стола не вытащить. Одно лакомство знали — картошку да лук. А весны дождешься — щавель, песты от голода спасут. Потом крапивные щи да лепешки липовые. Всяко едали.

— Ты сама, теть Даша, разговорчивая тоже.

— Вот-вот. Кушай да слушай. Время ваше такое. Сейчас Илонку встречать пойдем. Просила: возьмите пораньше домой.

...За деревьями урчит грузовик. Резким сигналом средь ребячего беспечного многоголосья пробивает безопасную дорогу по школьному проулку.

— Папа, папочка! Я с тобой хочу, — вьется, трепещет над сквером звонкий голосок Илоны. — Дяденька, возьмите меня, пожалуйста. — Это она уже к шоферу обращается. И снова к отцу: — Папочка, хорошенъкий-пригоженький, я с тобой?

Вот такая ласточка-ласковеня, небось тепло отцову сердцу от призывающей доверчивой родной души. Пока он утешал, уговаривал дочку, объяснив, что нельзя, не время теперь, слишком много работы в котловане, начальство строгое приехало из райцентра, да и по технике безопасности не полагается в строительную зону детей пускать, подошла Дарья Макаровна.

— Или домой не забежишь, Веня?

— Спешим. Гляди, черпалку новую повезли к моему экскаватору. Работа, сроки! Аврал, понимаешь, на первой линии.

— Гостья дальняя у нас. Жигалу повидать пошла. Обращаться-то как с ней, не знаю, — призналась Дарья. — Форсистая больно эта Наталья.

— Принимай, как положено. Я поздно приду.

Взревела громоздкая машина, содрогнув землю под Дарьиними ногами, тяжело закачалась в пыльном проулке. Большеющие желтые зубы экскаваторного ковша торчали над кабиной и казалось, что металлический кузов самосвала жутко осклабился.

«Ой, Веня, пасмурно в твоей душе, — думала она. — А сам работой только и спасаешься». Вдали чернела взлохмаченная по краям низкая туча — молчаливое, словно затаенное, напирание темноты. Резиновым смрадом напахнуло с той стороны. Может, и не туча там, а дым тяжелый заклубился надстройкой. Ладно вот, только что Веню здесь видела, знаешь теперь: ничего не случилось, живой, невредимый. А снилось про этот котлован всякое».

— Почему одна стоишь, пойдем в саду гулять. — Илона зовет ее.

Дарья не отказалась, держась за теплую детскую ручонку, неспешным и неслышним шагом покорно шла в направлении, какое нравилось девочке. Припоминалась дальняя дорога от своего крылечка, возле которого под снегом позванивали вешние скрытые воды, от своей деревни, защищенной сосновыми лесами.

Дарья Макаровна подумала о том, что она мучается здесь в своей беспомощности поправить движение жизни...

Изредка поглядывала на небо. Над бугром рассеивалась, светлела и оседала казавшаяся грозной мрачная чернота. Может, неустршимые, уверенные в своей правоте строители совладали с напирающей силой, укротили какой-то огонь.

«И самые близкие люди сегодня поймут, что не могут быть завтра такими, какими были вчера» — Дарья так никогда не думала и не говорила, а вот пришли и самовольно прозвучали эти слова.

Смотрит она с прищуром на бегущего впереди мальчишку Борю, не решаясь окриком предупреждать, шепчет ласково: «Не гляди по сторонам, споткнешься да упадешь...» А впереди будто бы гибкие сосны плавно качают кудлатыми вершинами. И вот уже сухой беломошник похрустывает под ногами. Вдали розовеет просвет, по сторонам разливается мглистая синева. Пятнистый зверь бесшумным кошачьим прыжком промелькнул поперек просеки, должно быть, рысь гонится за добычей. «Боря, рядышком иди, — Дарья берет и его теплую руку, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Бориска признается: «Тетя Даша, мне хорошо теперь. Я никого не боюсь!»

— Ты видишь, видишь, какой дым клубится, сначала черно было, а теперь желтеет, — говорит мальчик. — Это в котловане сжигают хлам. Всю территорию вычистили, напихали целые горы мусора, теперь жгут. Обливают соляркой, чтобы лучше горело и поджигают. Рабочим за это даже зарплату начислят. И я бы стал.

— А тебе нельзя, ты еще маленький. Давай лучше в донялки, — предлагает Илона.

Хорошо Дарье с детьми. Отступают невеселые назойливые думы, будто бы отгоняет их прочь звонкий, заливистый смех бегущей впереди Илоны. Разыгрались дети, зная, что глядят за ними неотступно заботливая тетя Даша. Кружат по скверу, играют в прятки и снова летят к ней навстречу, размахивая руками. Милые, сердечные. Жили бы на одной улице, каждый день ходила бы встречать.

— Ой, тетя Даша, какая ты хитренъкая сегодня — все молчишь и молчишь. Ну почему? Тебе сникерс надо или жвачку?

Отозваться бы на вопрос Илоны, но першит в горле и на глаза навернулись туманные слезы: Веня признался, что хотел развестись. Детей своих будто видеть некогда, нет о них заботы. На лето можно бы деток взять к себе, приголубить. Пусть в деревне поживут, пока родители не образумятся...

— Ох, Дарьюшка! Мне бы ваши заботы. Собралась да и поехала к племяннику или к племяннице. Я сына своего не вижу. Совещания, заседания, комиссии, проверки, отчеты, штабы оперативные, летучки — сколько их было у меня?! Работа наша такая. Два диплома имею: за техникум и за институт — тот заочно прошла. — Наталья Павловна помедлила, окидывая своей многотрудный путь. — Что мы такто, у простого столика сидим. Давайте чайку-кофейку организуем. Я мигом! — расторопно и сильно встала, размахнула во всю ширь замок огромной сумки, кладет на стол печенье, колбасу, разные баночки выставляет. Запасливая женщина, не с пустыми сумками приехала. И не скучится, все выкладывает. Бывала, но простодушная вроде. — Сейчас, сейчас. Это мы умеем, это нам не трудно организовать...

Тихая получалась беседа. Наталья Павловна откровенничала — перед простотой деревенской нечего лукавить, раскованный разговор приятен. В семье она была самая младшая; а спрашивалось с нее, особенно много труда требовала дача. И возле дома был большой участок. Овощей на продажу около тонны выращивали. Мать все на вокзале проживалась с весны до поздней осени, дочерям наказывала: «Поливайте, полите, взрыхляйте, чтобы знали, какую работу наперед выбирать». Дочери ухитрялись ее провести. Конечно, Наташка догадалась, что можно часть урожая и самим продавать, у молодых проезжие охотнее покупают. Свои деньжата девки заимели. Повеселей молодость пошла. Обнову легко приобретут сестрицы — говорят, подарки от кавалеров. «Вот и ладно, вот и хорошо, кавалеры находятся! — радовалась мамаша. — За таких нынче надо хвататься, чтобы не прогадать. Ой, было поклонников. Но замужество получилось обманное — не ко двору пришелся парень, попивать стал. Ладно, с ним не затянулось, сразу на развод. Погоревала чуток. А как назначили на большую должность — заулыбалась. Дела, поездки. Второй муж в основном-то и дочь и сына растил. Заботливый Леонид Николаевич, душа-человек. Пеленки стирать — сам, еду готовить — тоже, квартиру ремонтировать — его забота. Терпеливый, выдержаненный. Учитель рисования. Способный, даже больше — талантливый. Главный в нем талант — душевность, как люди говорили. Ну, и в живописи мог не последнее слово сказать. По части портрета психологического. Имел бы характер да связи, если бы от суэты бытовой раскрепостился, резко переменил образ жизни — все пошло бы

у него, все получилось. В этом Наталья Павловна теперь беспрекословно уверена. Может быть, ее портрет на больших выставках красовался бы. А он, муженек непутевой, сидел нянькой за маму, за бабушку и за кухарку. Один раз возмутился, хотел хрустальную посуду перебить, пальто, куртки, брюки да халаты повыбросать. Даже выпил немногого для храбрости.

— Усадил меня рядышком на диван, а в глаза не глядит, — продолжала рассказывать Наталья Павловна размягченным голосом. — Вот, значит, посадил. И жестко так, медленно выкладывает: «Сейчас парик твой сдеру и топтаться буду на нем!» Вдруг как спросит: «Ты нашу заслуженную учительницу Каучукову знаешь? Так вот она тебе сродни. Не то что на коллегу, на ребенка добродушно смотреть не может. Все у нее — дебиль! Карьеристка. Злая, коварная. Разъярилась ни с того ни с сего на талантливого молодого педагога, схватила на школьной лестнице за руку, кричит: если на мое место метишь, то будешь растоптан, в грязи вывалиют так, что за всю жизнь не отмыться».

— Неужто бывают такие учителя? — удивилась Дарья Макаровна.

— Бывают, милая. Другой бабе только власть подай, она всех обуздает и задергает. Ты, Даша, послушай сперва... И вот я обдумала что сказать ему побольнее, просто так, между прочим, спрашиваю: «Ну и что из этого?» Он говорит спокойнехонько: «Ты да она — ягодки одинаковые». И все. И ушел. Развод я ему долго не давала. Не одумался.

— А дети ваши?

— Что — дети... Дочь замуж на восемнадцатом году выскоцила, за приличного разведенца. Сын в институте, на каникулы ездит к отцу, меня будто и знать не знает.

— Так ты одинокая живешь, Наталья Павловна?

— Одинокой себя не считаю, вниманием не обделена, — она загадочно улыбнулась. — Может, я наперекор Льву Николаевичу Толстому решилась пойти. Да-а... Это он всех нас предупреждал: знайте, люди, счастье-то в семье.

— Это который Катюшу Маслову жалел?

— Он самый. Лев Николаевич. Гений. — И тут впервые вроде бы одумавшись, Наталья наклонила голову. — К слову пришлось. Один мой знакомый всегда на мысли гениев ссылается.

Немного помедлив, Дарья Макаровна решилась спросить:

— А вы, Наталья Павловна, как женщина грамотная, не можете объяснить, почему это нынешние жены. поглядишь, хитрят? Приберу, дескать, ротозея к рукам, обчирикаю

словно липку и — не нужен, пускай алименты платит, а дитя чтобы его и знать не знал. Отчего и зачем они такую линию взяли?

— Все очень просто: борьба за красивое существование.

— Чего, чего? — Дарья Макаровна, слегка отстранила, задержала перед собой стакан остывшего чая.

Однажды Фенечка гордилась какой-то родственницей Натальей, умеющей найти выход из любого положения. Нежели в самой дальней дали, думала Дарья Макаровна, можно вот так сойтись с человеком, с невиданным дальним родственником, о котором когда-то слышала? Может, на тревожные думы догадка пришла? Правильно: в тех краях, подальше Кирова, жила двоюродная сестра Фенечки Наталья, она и Веню приглашала в свой город, обещала похлопотать об устройстве. А Вениамин ни в какую не хотел туда ехать.

— Не успела понять, да ладно, после еще поговорим. Вопросец имею... Не скучайте, Дашенка, — Наталья доброжелательно улыбнулась. — И горевать пока не о чем. Сами разберутся. Вот простота... Чудачка ты, но симпатулечка, очень наивная. Откуда еще такие берутся в наше время? Нежели когда-нибудь и мне это грозит?

Макаровна предложила гостью свою стряпню, рюмочку рябиновки:

— Без хозяев невесело. Сидим две кукушки. — Наталья опять закурила и, скривляя губы, выщекивала струйку дыма.

— В конторе-то узнала чего или нет? Ты, гляжу, пробойная, ходовая женщина...

— Ничего. Вот приедет Фенечка, будет резон толковать. Сообща-то выкрутимся, нас просто так не возьмешь. Выедем с крутым виражиком.

— Что это она? Докатается до беды. И меня вот чуть с ума не свели срочным вызовом. Так бы и написала: в раскат отправляюсь, приезжай, тетя Даша, домовничать.

— Брось, Дашенка, ты об этом не горюй. Нам не надо наперед знать: где найдешь, где потеряешь. — Наталья сосредоточенно прищурилась, покусала краешек нижней губы. — Давай на другую тему говорить. Слушай, там у вас неподалеку от Доброумовки, в деревне, ой, забыла, как называется, живет овдовелая Настя Круткова? Сосватать бы ее с хорошим человеком. Дядя мой овдовел. Обеспеченный человек. Нужна баба покладистая, работная. Кладет он ей хорошее жалованье. А ежели приглянется — может, и побольше чего-нибудь. Может, и жениться решит. Нам-то не хотелось бы. Распишутся если, она по закону право на дом будет иметь. Настя эта ваша пойдет?

— Настя-то... Ой, неподходящая вам. — Дарья поспешно оборонила доброго человека. — За нашим Василием теперь. За Василием Соколовым. Посчастливилось женщине. И сама она достойная того. У этих все ладно. Советно живут, ради детей стараются.

— Нищету разводят, — буркнула Наталья.

— Своим живут, чужого не ходят заемовать. Тут вот у нас делается неладно. Так бы и взяла ребятишек, у меня им спокойнее.

— Ах, ах! Это мило с твоей стороны: сразу все определила, взвесила, готова помочь. Чему научатся там они?

— Здесь разве лучше им? Поглядела — и думаю печально...

— Не казнись, Дарья. Приехала — хорошо: свиделись, познакомились, заодно все уладим. Недотепу твоего будем жизни учить. — Наталья потянулась обнимать ее. — Не отмахивайся — полегчает, помолчи — успокоишься, — советовала она.

— Значит надо, чтобы молчали. Будет, кончилось терпенье. Дарья Макаровна возмущалась в неясном беспокойстве, — ишь, ловкие какие, привыкли красоваться за счет наших трудов.

— Другие времена пошли. Перелицовка нужна.

— Совесть, если она есть, не перелицуешь.

Хлопнула дверь — Дарья умолкла, боясь присутствия постороннего возле этого разговора.

Из прихожей Вениамин сказался:

— Слыши оживленную беседу. Познакомились, нашли общую тему? Обсуждаем, значит: кто полоцательный, а кто отрицательный. Нужны художественные образы? В литературе теперь нет чисто отрицательных и чисто положительных героев, как в жизни.

— Вениамин Батькович, ты из каких соображений вокруг себя воду мутишь? — спросила Наталья.

Он только ступил за порог, усталый, измотанный, а гостья кинулась к нему с вопросами.

— Здравствуйте, во-первых. Наше вам с кисточкой, Наталья Павловна. Давно не бывала. Опять, небось, мебель привезла?

— Это не твоего ума дело, Венюша. Ты ломишь и ломи.

— Не всем в торговлю идти. Кто-то и работать должен.

— Для киносъемки по две смены вкалываешь? Услужливый какой. Прославиしゃся. Трудовые будни — праздники для вас!

— Брат Николая Звонарева практикуется, снимает для областного телевиденья. Проблем скопилось — только раскручивай. — Веня шумно намыливают руки, покерневшие в

механизаторской работе, трет их мочалкой. Наталья втиснулась в приоткрытую дверь ванной, донимает его приглушенными вопросами.

— Прокурору стучишь? Ради чего? Своих топить вздумал? — она решила смягчить сказанное, едва дотянувшись, ласково шлепнула по его спине.

— Учи, Натаха, теперь у меня автоблокировка неисправна, предохранители перегорели. — Он встряхивает руки.

— Глупенький! Этот ваш игрушечный контроль давно уже из одного кармана в другой на полусогнутых перегоняют.

— Понятное дело. Ложь обставляется продажным контролем.

— Поосторожней на крутых поворотах. Нахватался у тощих дружков.

Дарья Макаровна спешит к Вене с полотенцем, оттесняет гостью и сообщает ему:

— Веня, с утра шарамыжный мужик прибегал в нехорошем беспокойстве. Предупредить велел.

— Забегали они, тетя Даша. Тараканы на жару завертелись. И эта примчалась к подопечной племяннице. Все, откомбинировали! Ни запчастей, ни металла не выкроит ей Втюрин ни за какие гарнитуры. Такой бартер больше не пройдет. Нет у нас на стройке лишних стройматериалов.

— Глядите, наш молчун заговорил да и зубки у него прорезались. Наталья взбрекнула и, хлопнув дверью, поспешила куда-то со своими хлопотами.

Вечером Вениамин тихонько прошел на кухню, тяжелую голову на руки уронил. Легко ли ему теперь? Подсела Дарья Макаровна к племяннику, он и признался:

— Люстры эти Втюрин, гад, подмахнул при доверчивости моей. И все ведь на виду вертелось. А мы уtkнулись в работу, будто не видим ничего. Жена моя тоже творила.

— Ей за свои дела ответ держать, а тебе — за свои. Как вы потом перед своими детьми представите, милые мои? Не пришлось бы запоздалого прощения просить. Ой, Веня, Веня. Оглянусь опять на прошлые наши года: и тебе там было хорошо, и мне спокойно...

На том и кончился поздний разговор. Опять думала, вспоминала Дарья Макаровна, как уезжали родственники из деревни. «Бросаете все, — говорила она тогда. — А там, на чужбине, чего? Чисто поле, ни кола, ни двора. Бездце хорошо, где нас нет. Ты, Веня, при пахоте вырос, тракторист хороший, в заработке нешибко обижают. И жена в кантопре за столом сидела. Не тяжело. Если надоело цифры перекладывать, могла бы и другую работу найти: не всю жизнь одним ситом, когда и решетом приходится».

Утром Дарья Макаровна вышла на балкон. Внизу под балконом березка качается, шелестит шелковисто. Удивилась: «Надо же, сама выше дерева сижу, а оно будто тянется ко мне в сочувствии». Чуть дальше под ветром белесо вспенились вершины тополей, музыка печально-торжественная оттуда долетела, и вспомнился давний надрывно-тягучий звук медной трубы — мужа Григория тогда с оркестром в последний путь всем колхозом провожали. А ветер-то, ветер как бенновался, постанывал, над бором Заречным волнисто гудело. На весенней земле вот так же густилась молодая трава, над рекой темнела жуткая туча, в небе пронзительно синели бездонные прогалы, через них проносились какие-то фиолетовые пленочки. Вот как сегодня, точь-в-точь, хотя и время другое, и место очень дальнее. Все может повториться. А жизнь, а судьба? Свой срок уже никому не дано пройти повторно на белом свете. Не помнят разве люди об этом, забываются в суете?

Взметнулась над тополями зеленоватая трепещущая звездочка, за ней — другая, а потом еще и еще, то синяя, то красная, то зеленая и желтая. Взлетают, пушатся они все ярче, вдруг замирают на предельной высоте, словно чего-то испугались или вспомнили о том месте, откуда взлетели, и, спохватившись, хотят оглянуться, да уже поздно — ничего не разглядеть из такой высоты.

На земле-то все по-прежнему, свои ссоры-раздоры. Женщины-говоруны судачат меж собой. Там, под тополями, одна из них — недавно виденная Лидуня: про Фенечку чего-нибудь объясняет. Собеседница говорит ей в ответ прокуренным голосом — отчетливо рассыпалось:

— Ах, ах! Это мило с ее стороны: сразу все определила, взвесила, готова помочь. Тетка, значит, ребятишек в деревню забирает? Чему там они научатся? Ну, скажи, чему? Среди крестьянства отсталого, в глухи лесов сосновых, так сказать.

— А вы сами от кого происходите?! — Дарья обрела уверенность в правоте своей и сказала с балкона, словно с трибуны.

— Предки мои — не пролетарские элементы, — шутила пропитая, прокуренная собеседница Лидуни. — Они частную собственность имели.

— Сами вы — элементы без стыда и совести.

— Ишь ты, деревня, залопотала, — незнакомка всматривалась в сигаретный дымок, стряхивая пепел, хлопала по сигарете указательным пальцем, а потом подмигнула Лидуне:

— О-х-х, надо бы сначала растолковать деревню-то серую, а мы крестьянским вопросом не занимались всерьез никогда. Крестьяне — кто? Тормоз Вестингауза, гири на ногах человечества, дери их черт, — смаковала говорунья пришедшие на память еще в юности где-то прочитанные слова. — Так что здесь без оглядки словами нельзя сорить, тетка. Вторин тебя предупредил. И правильно сделал. Слова-то, смотри, тоже к делу нынче подшиваются. Нынче, как прежде.

— Слова мои завсегда от чистого сердца. Ваши от какого — не понять, — Макаровна сей раз не хотела, как обычно, отмалчиваться, теперь ей казалось, что молчание означает робость, уступничество или даже признание своей вины неизвестно в чем. — Слушаю вас и думаю: откуда, за что накачнулась беда эта? Кто на раздор такой планы дает?

— Не серчай, тетка. Я пошутила, просто шутка — от скучи. Точно так ваша Фенечка шутку бросила вспыхах перед отъездом, чтобы, пока она за мебелью ездит, Дарью вызывали, а Лидунчик и рада стараться.

— Пошутила она?! — у Макаровны перехватило дыхание. — За мебелью уехала?

Веня дверями скрипнул — оглянулась на него в слезах. Потом, поуспокоившись, Дарья Макаровна говорила племяннику:

— Такая она зародилась, Фенечка твоя, может, с детства раннего на совесть рукавички надела. Я вот домой приеду, что людям скажу?

— Правду говори. Шило в мешке не утаить.

— Сам бы приехал. В родных местах дурной славы ты не оставил. Возвратиться не стыдно.

— Ничего, оклемаемся.

— Что же вы наделали, Веня? Дома у нас тоже стройки затеваются.

— Здесь вставать придется. Где упал, там и опору искать.

— Вон сколь пробегано у вас. Угадай-ка теперь то первое место. Не только твоя беда, не один ты и жену проглядел, не только ваши дети страдают. Вот так бы и повела всех отсюда в Заречный сосновый бор на самый хороший брусничник по заветной тропе, чтобы чувствовали, чем жизнь ладится. Соглась да терпнем...

Она думала о том, что в ее собственной жизни все было ясно, по чувству и разуму делалось. Понятно было: беды и трудности, горе и невзгоды от общей лихолетней беды — такое время пережито. Многое зависит от самого человека, радуется чему он, из-за чего другим сострадает, к кому в душевном сочувствии руки его протянуты, по чести-совес-

ти или понарошке, чтобы только себя пригляднее показать перед народом, по умыслу, с подачкой-милостыней, значит, ради своей же выгоды... Повторить бы для Вени сейчас давно памятные слова из мудрой книги, которую в молодости читала, познавая домостройство: «Если же небрежением и нерадением сам или жена, наставлением мужа обделенная, согрешит или что нехорошее сотворит, и все домочадцы, мужчины и женщины, и дети, хозяйствского наставления не имея, грех какой или зло совершают: или ругань или воровство, или блуд, — все вместе по делам своим примут...» Но был в этих словах укор и для нее самой. Как тут винить, кого попрекать за жизнь такую, в которой день ото дня все хуже и хуже трудовому человеку? Веню и в младости обижали, конечно, частенько, потому что безответственный, смиренный был, не задирался сам никогда. Теперь так водится: нападающий, обвиняющий обязательно прав, обидчику — все права, честному да справедливому — ни прав, ни защиты. Вот и получай с попреками... Увести бы в лес на родной стороне, утешить взбаламученные души. А здесь, в безлесном kraю, кто их поведет? Оторваны от родительской земли. Куда погнались, за какой жар-птицей? Могли бы строить и на родной стороне, оно домовитее бы получилось, обжитая земля в запустение не пришла бы...

— Не горюй, тетя Даша... Не знаю, как и сказать тебе. Вторые сутки не решусь.

— Признавайся, говори: я все пойму.

— От Степановой жены Ларисы письмо. Пишет, докричалась ваш братец, будут судить повторно. Упекут на большой срок. А что, почему — нет пояснения...

— Ой, чуяло сердце. Надо туда ехать, как же так... В домашнюю сторону путь.

## 12

Напудренная и чудно перекрашенная молодая женщина в накрахмаленном халате, прищурив правый глаз, держала Дарьину руку, проверяя пульс, признавалась при этом, что не находит причин для паники, ничего страшного не обнаруживает, но померяя давление, велела полежать на кушетке, покрытой оранжевой kleenкой.

Извиняясь за беспокойство, Дарья Макаровна говорила, что с ней такое впервые, никогда не бывало в дороге, может, бессонные ночи сказались да и тревога мучает, изматывает.

— Не пойму, чего вдруг со мной, в разговоры с кем попало ввязалась, шутки всякие стала шутить, на пустяшные вопросы отвечаю. Им что, только гоготать для развлечения. Сами-то проезжие, тоже небось время коротают в ожидании того единственного поезда, который в поселке Касатино останавливается. В веселую компанию попала, обрадовалась, а то все возле коров да телят, при навозной тележке да при вилах.

Медичка ногти свои разглядела, перед зеркалом вспушила дымчато-голубые волосы, посинила подглазины. И говорит:

— Моя мама тоже дояркой работает в рязанском колхозе. Замены пока не будет. А на пенсию не отпускают. Она сама боится пенсии: на ленивость болезнь какая-нибудь приступит. Бодрая еще маманя, веселая. Шестидесятилетие отмечали, так пошла танцевать.

— Бывает, это у нас бывает. Другой раз будто крылья вырастут. Я тоже любительница петь-плясать. А тебе, милая, какой год?

— Ой, много. Старуха, можно сказать. За тридцать перевалило.

— Замужем или нет?

— Не выходила.

— А что так? Хорошие мужики есть, самостоятельные. У нас в колхозе около десяти перестарков. Работные. А жениться не могут. Все бабы и девки расхватаны, хоть из «Посылторга» выписывай.

— Знаю, на деревне — дефицит. Да только стыдно возвращаться.

— Кого стыдишься? Мать родную? Или подруг школьных? Ты что погордилась когда-нибудь, зареклась?

— Давайте градусник. Смена моя кончается. — Медичка, взмелькнув на циферки, уткнула градусник в повязанную марлей банку. — Ничего страшного. Вот валидол, вот от головной боли, на всякий случай. Теперь недалеко до Касатина. А кто у вас там?

— Сын, говорю, Степа бедовый. Второй раз попал. По телеграмме на свиданку еду.

— Знаю, бывала. Брат старший лечился в ЛТП, навещать ездила. Напрасно два года лечили — не помогло.

— Никто не поможет, ежели человек сам не отрешится.

— Это верно. — Девушка оглядела стол, шкафчик. Прихорошилась перед зеркалом и только тогда сняла медицинский халат — осторожно снимала, чтобы прическу не испортить. — Пойдемте, провожу.

— Спасибо. Я сама. Привычная под ношами ходить. На ферме силос корзинами таскаем. И дома по хозяйству все с ведрами.

— Доля такая женская. — Медичка повернулась к Дарье, сочувственно оглядела ее. — А теперь нельзя больше. Не положено. На легкий труд пускай переводят.

— Где он у нас легкий-то? До пенсии так и на пенсии так. У окошечка не просидишь. Седьмой десяток пошел, все хорошо, в больницах не бывала, тут вот чего-то затуманило. Не от работы — от печалей да тревог матери страдают: с малыми детскими горе, с большими — вдвое. — Дарья Макаровна, если было бы время у этой девушки неустроенной, могла высказать ей свои заботы-печали о семейном разладе у племянника, откуда пошли нелады в Степановом житье. Но молодым нынче некогда выслушивать старших, не только чужие, а даже дочь и сыновья не больно-то интересуются материнскими думами.

Плохо сказать про медичку нельзя и винить ее не в чем. Заботливо, внимательно отнеслась, проводила до перрона — выручила, понимая, что напутается деревенская женщина в этих переходах.

— Желаю тебе встретить доброго человека, да чтобы и дети у тебя были хорошие. — Дарья ласково взглянула на медичку.

Девушка никак не отозвалась на пожелание — не было заметно перемены в отстраненно-пустоватом взгляде. И пошла она такой походкой, будто подталкивает кто. Сколько их дергается без семьи, без детей, думала Дарья Макаровна. А показывают собой, что свободно да вольно: никого обстиривать, кормить не надо. Ой, девки, девки. Неужели после института и Ленка в такую судьбу попадет? Уже сейчас намекает: замуж не охота, и того не надо, и за этого не пойду. Один без диплома, малограмотный, другой — слишком высокого мнения о себе, у третьего — профессия непрестижная, четвертый — выпивает средка, а не курит.

Дарья опять сидела на чемодане возле столба, чтобы не мешать людям. В отдалении хлопотали парни с тяжелыми ящиками, в которых какая-то аппаратура. Один, усатенький, сновал между ожидающими поезд, все кого-то выглядывал, а другой вслед за ним таскал на плече кинокамеру. Проходивший мимо представительный мужчина в льняном костюме буркнул: «Поразвелось этих кинолюбителей, проходу не дают». Будто ему помешали, будто места на перроне пожалел. На стройке были кинщики — Веня говорил, что для пользы дела они. Значит, и тут — для пользы.

Уже поднялся поезд. Точно, как и сказала медичка, подали его за сорок минут. Подкатил к обозначеному месту семнадцатый вагон, заслонил светлый прогал между серыми зданиями. Ладно получилось. Не далеко бежать. Подхватила чемодан и сумочку да первая и шагнула в тамбур, качнувшись вперед, чуть не столкнула встречную проводницу, но та вовремя отстранилась и всхохотнула: «Тарань, тарань, тетка, вдоль коридора, а там разберемся».

Дарья Макаровна с трудом протолкалась в последнее купе, не зная куда поставить чемодан, задвинула его под столик. Отышалась и огляделась в чисто-уютной комнатке, определила свое тридцать третье место. Помечтав о подходящих по возрасту попутчиках, в ожидании прислушивалась к движению по коридору. В других купе стало оживленно — люди устраивались шумно, с обычной дорожной поспешностью, враз выясняли взаимоотношения. В дороге всякое бывает и ссорятся из-за пустяков, сгоряча, в особой временной неприязни вспыхивают, негодуют, а потом, успокоившись, добреют. Бывает, что и навсегда знакомятся, за одну ночь влюбляются. Случайно свидятся да и навсегда. Так вот и Степа знакомился со своей Ларисой.

— Еще раз здравствуйте, — говорит смуглый рослый парень. Встал против дверного проема. — Извините, я с вами. Значит, общая дорога. — Это вы возле contadorы в поселке Дудырино были, когда мы там к съемке готовились — Точно вы, я вижу.

Он кладет на верхнюю полку новенький дипломат, шуршащую куртку туда кидает, кроссовки — вниз, под диван. Подпрыгнул да мигом и оказался вверху, облегченно вздохнув, заложил руки под голову.

В купе вошла опрятная маленькая старушка в накинутом на плечи цветастом платке — по черному полю пышные розы написаны.

— Свободно ли у вас? Может, не туда выбрела в сутолоке такой. Нижние полочки были обозначены, — сказала она и, оглянувшись в коридорную даль, позвала: — Никодим, тута я. Нашла!

— Посторонись, бабуля! — ее оттесняет пухлявенский молодчик с тяжелыми сумками. — Вот этаким манером. Светлячок, гнездаемся. Сюда-сюда, моя хорошая! — Кивнул Дарье: мол, посторонись-ка, старушенция.

— Пожалуйста, располагайтесь. Всем места хватит. Мое — наверху. — Дарья пересела на другой диван, подрядок со старухой, и сразу стало уютнее. «Видно, провожает свою Светлану, — думала про молодого заботливого мужа. —

Старается угодить, чтобы не испортилось настроение у не-наглядной».

— Видала, — шепчет соседка Дарье, — расфорсила индюшиха евонная, входить не желает.

— Ну, мадамы, — обращается к ним добрячок. — Попшушкались, рассасываться пора. Прошу освободить территорию.

— Как так? Никодим у меня еще где-то курит. И соседка вот, гляжу, на верхнюю полочку определенная.

— Чего, чего? — он пузато подбоченился. — Эта старомодина откуда? Ну-ка, ваши билетики...

— Не командуй здесь. На то проводница есть, — урезонила его бойкая старуха. — Не первый раз едем, слава богу. Дорожка тореная, всяких видывать приходилось. Нынче все наглые, только уступай. Молодым — везде дорога, старикам — почет без места.

— Горе ты луковое, а не мужик! — распевно вступила в разговор «индюшиха». — И это называется: ему устроили. За что тогда тысячи сунул носильщику этому? — Светляночка действительно превратилась в капризную индюшиху.

— Трое на одно место получается. — Молодец выпучил глаза.

— Ой, недотепа. Как был деревенщицой, так деревенщицой и остался, что с таким делать? — недовольствовала Светляночка.

— Разберемся. Отрегулируем как-нито.

— Раньше чесался бы. С проводницей надо толковать, а не здесь боягу разводить. Ой, Вовик.

— Э-э, Светлячок. Это — пустячок. Утрясемся. К начальнику поезда сходим, если что...

Когда поезд тронулся, стало ясно: нет в купе никого провожающих. Глухо постукивая самодельным протезом, пришел наконец-то Никодим, тоже опрятный, подстать своей старухе. Он повернулся неловко и, качнувшись, коснулся плечом Светланы.

— Я больше не могу! — вскрикнула она визгливо и нервно зацокала каблуками по коридору.

Пришла проводница, спокойная, уверенная.

— Знаю. Сразу поняла. Вагон этот дополнительный, видите, какой расхлябаный. Прицепили только до Касатина. Не волнуйтесь. У всех одна станция назначения. Или первый раз в дороге?

— Конечно, не первый. — Никодим распахнул пиджак — звякнули медали на груди. — Нам недалеко, перетерпим до утра.

Оказалось, попали на одно место Дарья да Никодим со старухой. Никодим возмущался, обещал написать жалобу и даже затребовал начальника поезда. Проводница смилиствилась, увела их со старухой в служебное купе, а потом вернулась и за Дарьей: решив, что неуютно ей будет с капризными молодоженами.

И вот опять трясется Дарья Макаровна в поезде. Хорошо еще — с соседями повезло: ветеран Никодим с женой-старушкой. Быстро разговорились, будто свои, деревенские. Они ехали в профилакторий внука навестить. И она тоже будет добираться от Касатина в Путятине, где второе отделение бывшего профилактория находится.

Вместе горевали: неладно жизнь ведут молодые, чуть что — сразу в разгул, в пьянку. И воровства, и скандалов много. Отчего, почему расштайство такое повелось? Грабят белым днем. Руководство ворует миллионами, а то побольше.

— Порядку нет нигде. Безответственность круговая, — сделал вывод Никодим. — Старательного и скромного человека будто не видят. А оступился — со всех сторон учителья: такой-сякой-разэтакий.

— Верно. Мой-то скромница был, безответственный. В колхозе с малых лет работал, а дома своего не заимел. Другим так почести, только приедет кто со стороны, он и передовой, потому что начальству прислуживает, речи масляные говорит. Ну, и отворотило от своего колхоза. У нас нигде своих людей не ценят. Районом, областью только приезжие стали командовать. Местному населению одни попреки: жить не умеете, обленились. Мой-то терпел-терпел да и ляпнул одинова: раньше уполномоченные командовали, а теперь совсем чужие командуют. Ну, и стали притеснять, с трактора сняли будто за своеволье. У нас ведь как повелось: честного да скромного сторонятся, враз могут затупить, а наглого да речистого наградами обсыпают. Степа у нас прямой. С указчиками, говорит, целоваться не собираюсь, целовальников и так много развелось. А жена Лариса другую линию ведет: шуточки да прибауточки, улыбочки да речи зажигательные. Мужа приникают, поедом едят, а ее — на трибуны, в газетках пропечатывают хвалебно. По совещаниям затаскали — работать некогда. Взаимопроверки, праздники животноводов, круглые столы. Тосты да пляски. Загуляла. И на детей наплевать, и про мужа забыла. Так они нынче, так. Вон, у племянника не лучше картина получилась. Отчего бы это?

Прорвалась Дарьина откровенность — видится ей пониманье и сочувствие попутчиков.

— Пошел мой Степа плотничать по деревням. Шабашничали, значит. А где шабашка, там и вино, там и собутыльники. Дома раздеряга: то сойдутся, то разойдутся, деток обоих — и сына и дочь — измотали. Пожалела, отняла у них на лето. Этих, племянника-то, придется тоже к себе. Родителям отлехта. А Степан со своей вместе пить начали — сдружились на беде. Когда по пьянке квартиру спалили, Степа вроде бы спохватился, но жинка человеческий облик потеряла. Тогда и он окончательно загоревал. На станции в грузчиках побыл — тяжело. В райпо толкался возле складов, там тоже такие дружки-приятели. Вот был работный человек, а вроде его и не было. Районный суд определил в трудовой профилакторий. Еду проведать, что-то неладно: повторный суд назначен.

Показалось возможным излить душу в воспоминаниях. Говорила неторопно — ее сочувственно слушали и наверняка понимали, чего стоили материнскому сердцу многие передряги. Дарья откровенничала: мол, всякое бывало с детьми и с самой тоже, и с мужем — фронтовым инвалидом, которого почему-то районные власти в подозрении держали. Ожиданием облегчения жила, одним успокаивалась: перетерпится — перемелется, только держи себя в руках, работай по совести. Так и жила по наказам родителей. Как они, жила без хитростей и коварства, терпением только и спасалась от нападок разных.

Странно получалось: в этой дорожной беседе она проглядывала прошлое, словно к другой жизни готовилась. Мать и отца ясно видела перед собой в такую минуту, когда они сияли в единой радости, потому что на трудодни впервые за всю войну получили мешок ржи, полтора мешка ячменя и котомку гороха. Даже отец смеялся. Он всегда — сколь Дарья помнит — был молчалив и бородато мрачен. В первую осень с фронта безногим привезли, сам себя култышкой называл. И такой никогда не сидел без дела: на весь колхоз лапти плел, шорничать тоже мог, хомуты для лошадей и быков — его работа. По вечерам мать ему помогала. Ловко у нее получалось. Смуглая, худенькая, скорая на слове и на деле, все видела, все понимала. Бывало, песню за работой поют, длинную, печальную. Детки притихнут. Шестеро было, мал-мала меньше. Самая старшая — Даша. Подумать только, после невзгод и болезней из большой крестьянской семьи Дарья Макаровна теперь — последняя веточка, давно без мужа. Вырастила детей и племянника, да и осталась одинешенька, гоняяся вот от одной беды к другой. Были, конечно, светлые деньки, даже в страшные по-

левоенные годы, когда развороженная войной, насоками уполномоченных и каких-то всевластных мрачных людей в форме да при наганах деревня особенно бедствовала. Откуда-то брались и песни, и смех, и прибаутки. С соседями тоже ладилось. Может, не у всех, может, повезло с соседями — новые жильцы в заброшенный дом вселились, из-за реки они приехали. Повезло. Помогали соседи, будто знали, что вернется сын Григорий после госпиталя и приглянется ему Даша... Он чуть ли не на десять лет старше, при медалях тоже вернулся, прихрамывал только и два шрама на груди принес, а так видный был, не хворый поначалу. В госпитале, видать, лечили хорошо, прежде чем домой отправить. Все-таки пять осколков вынуто, один из-под самого сердца. А не жаловался никогда, до сорока лет не сказывались ранения. Даже стога метал и на сплав его посыпали бригадиром. Степан весь в него, терпеливый задался. Да нынче на терпеливых-то воду возят, как на упрямых.

Мало Григорий пожил, взяли на какой-то досмотр, повезли, а он в дороге и помер... Без отца, можно сказать, дети росли. Безотцовщина, безответственные. Внуки теперь без деда, некому заботиться, льготные покупки оформлять. Получается, вроде как наши и не воевали, вроде и заслуг нету, не было страданий. Ветеранов войны пригласят бывало, солдаток скличут, а Дарьи Макаровны как и нет. Правда, в школу на родительский комитет или в сельсовет по самообложению вытребуют — расписывайся, плати за все: и за огород, и за сенокос, и за дрова. И страховку подай. И на заем подпишись. И молоко от своей коровы не задерживай, почти триста литров выноси за так. Ой, вспоминать-то тяжело, не надо бы — не поможет. А дети это видели, дети знают.

Хватило разговоров на всю дорогу, опомнились, когда вагон в Касатине отцепили.

### 13

Ребята из любительской киностудии — так их назвал Никодим, утверждая, что не раз видывал в Костроме, — занимались своими делами возле вагона: снимали вокзал и окрестности... Солнышко выкатилось на лес, туман по низинам уполз. Зеркально блестел близкий пруд, в камышах крякала утка. На черепичной кровле вокзала голуби ворковали. Вдалеке белели шиферные крыши. Накатанная, будто полотняная, дорога тянулась поперек железнодорожной линии. Кой-где люди переговаривались, в перелеске корова мычала. Теплое утро, похожее на деревенское.

За столько верст уехала Дарья от своей деревни, а про коров вспомнилось: на дойку пора бы, слышно будто бы, как удойницы во дворе вздыхают.

Сбоку аппаратик съемочный стрекотнул — молодые кинолюбители подсматривали за Дарьей, изловчились запечатлеть. Вот привязались, снимали бы Никодима, у него вон сколько медалей.

Дарья Макаровна углядела скамейку, разместилась поудобнее — долго ждать, только после обеда на Путятино мотовоз побежит, за другой сменой рабочих в профилакторий после обеда ездят. Это дотошный Никодим разведал.

Парни ушли поселок Касатино осматривать, ящики свои возле Дарьи оставили, чтобы пригляделя. Усатый еще и сказал: «Землячка приглядит». Не такие ли ребята приезжали в колхоз из области? — думала она. — И Ларису тогда снимали для областного телевиденья, и Степа в кадр попал.

Основная шумиха, конечно, была вокруг Ларисы: новенькая!

Еще раз вспомнила, подивилась тому, с какой легкостью отпустил ее председатель в дальнюю тревожную дорогу.

Так и сказал председатель: «Поезжайте. Непременно встретим и проводим, потому что вы у нас работница незаменимая...» Это и обнадеживало, согревало душу. Может, и Степа при новом председателе останется, человеком станет... Да и Веня вдруг да надумает отказаться от этих дальних строек, переправит обратно семью на родимую сторонку.

Вдруг ее вроде бы покликали. Очнулась и первым делом подумала: «Неужели ребята-кинщики распознали, что в родстве у нас неладно?» Взмелькнула взглядом по привокзальной площади — и поняла: какая-то перемена произошла, людское размещение особенное, галдеж прерывистый. Поблизости стоят полукругом удивленно-любопытные люди. Совсем близко, как раз напротив Дарьи, сидит печальный мужик, на Степу похожий. И плечи покатые тоже, и шея заправная, и лицо скуластое, только небритое. Как следует одет мужик, по-работному: рубаха дорожчатая не помята, пиджак серенький нараспашку, мало поношенная фуфайка, сапоги кирзовые недавно гуталином мазаны. Чемодан приличный стоит около, заместо стола чемодан-то у него, газетой, будто салфеткой, принакрыт. Зеленая бутылка давнего плодово-выгодного, обшипанный краюха формового хлеба, штук пять лампасеин, похожих на махонькие лимончики, да красная разорванная коробка из-под сигарет «Прима». Мужик раздумчиво держал граненый стакан. Недопито в стакане-то, видать, что бордовое мутнеет. Отстраненно да внимательно приглядывались к нему со всех сторон расторопные по-особому одетые ребята. Точь-в-точь такие же

приезжали бывало в колхоз сделать торопливую съемку простых сельских тружениц для того, чтобы светлое будущее показать. Помнится, Степа тогда сказал: «Как смотришь на беду, так ее и видишь».

Вот и дело, вот так раз. Одна картина с другой смыкается начала. И съемка эта будто давней продолжение. Будто одно кино продолжается, а сторона другая, дальняя. Люди другие. Да чудеса одинаковые. И знакомых много. Никодим с Матрениной, киношники эти. И женщина — будто сестра Ларисы. Все, значит, при одном интересе? Но почему так похож этот мужик на Степу, почему Степино обличье ему придают, а он терпеливо послушен, сам собой оставаться не хочет: на самом деле артист или совпадение жизни такое у него с жизнью Дарьина сына?

Кто это объяснит, кого об этом спросишь? Кого жалеть, кому сочувствовать?

А чужой мужик беззаботно Степу изображал. Неужели ему судьба другого известна? Этого мужика вздумали обрядить в допотопную одежонку: шапку, что воронье гнездо, нахлобучили набекрень, другую фуфайку подали — нашли где-то старенькую механизаторскую, сапоги тоже велели переобуть, дескать, в белесых вернее дело будет. Милиционер поблизости топтался; ему сказали, что надо потребовать у мужика документы.

Сбоку аппарат глазастый немного постrekотал. За тем аппаратом парень волосатенький притаился и вот целился, вот целился, азартно качаясь из стороны в сторону, словно курица перед взлетом на шестик. Вынырнул еще один юнец с обвислыми усиками, в короткой кожаной курточке, шепотком делает указания тому, возле аппарата. И главный распорядитель у них молодой, тоже с обвислыми усами, но в длиннополом зеленом плаще, он все указания угловатыми жестами делал, не произнося ни слова, руки у него тощие, костлявые, как шатуны туда-сюда работаются.

Любопытный люд тянулся зреть на приготовления, будто на чудо какое. А мужик сидел хоть бы что, только взгляд у него в зеленой тоске: сам он тут, а душа печалится, в прошлую даль устремлена.

— Скажите, а какой будет фильм, художественный или документальный, под каким названием? — спрашивала размалеванная белокурка.

— Со всеми вопросами — в справочное бюро, пожалуйста, — отвечал парнишка, напряженно затаившийся возле аппарата.

— За участие в массовых сценах сколько платят? — поинтересовались из толпы.

— Держи карман шире, сейчас накидают! — из той же и ответили.

Глянула Дарья Макаровна туда, отыскивая молодую женщину, отвечавшую голосом бедовой снохи Ларисы, и промелькнули перед ней разные лица. Среди них, словно напудренная маска, явилось над плечами плотно стоящих мужчин знакомое лицо. Макаровна встрепенулась:

— Лариса, неужели ты здесь? Или это ты — Фенечка? Не разглядя...

Не отозвалась, исчезла родственница, может, и не было ее в толпе, привиделась только, мало ли похожих людей. Но и походка той, что торопливо пошла к вокзалу, играво помахивая сумочкой, очень похожа. Хотела Дарья еще раз окликнуть, да уже поздно было: разве в многолюдье таком докричишься человека, если он и знать не знает, что именно его зовут.

— Имела бы ты, тетка, деньжат мешок, вот тогда бы она не убежала, — в игривом безразличии вздумал шутить невидимый острослов. — Или деньжата были, да сплыли? Грабанула кралечка? Я видал, как она зигзагами следы заметала.

— Не она это. Обозналась, — тихо сказала Дарья Макаровна. — А ты над чужой бедой не потехался бы. Нехорошо. Чужой-то беды, смотри, не бывает.

— Видал, Валек, деликатно отбирают тебя. Вот, привлекут сейчас за мелкое хулиганство. Милиция рядом, ее теперь везде полно, но порядку все меньше и меньше: асов не трогают, а тебя...

— Товарищи, не мешайте работать, — главный распорядитель велел всем отступить на два шага. — Простор нужен.

Он подбежал к печальному мужику, еще посдинул на лоб разлохмаченную шапку, велел мрачнее нахмуриться. Мужик не согласился, решительно отмахнул рукой и, прицельно скавшая прищуренные глаза, обратил внимание на Дарью.

Распорядитель понял его взгляд и подбежал к Дарье:

— Останьтесь. Будьте любезны. Задержитесь, пожалуйста. Вы очень нужны. Понимаете, возникла идея. Мысль такая: вы оказались приятным совпадением. Не бойтесь, ничего сложного. И чемодан, и сумка подходят, пусть они так и будут белой тесьмой связаны. Нам никто никогда не отказывает. Сыграете первую роль.

Сбоку — еще голосок:

— Лучше вас не найти, по замыслу подходите, — вкрадчиво упрашивали, хотя она не отнекивалась. — Вы откуда будете, из Рязани, да? Это бы особенно кстати.

— Не рязанская, из Хмелевки родом, — Дарья Макаровна разглядела этого любезного просителя с головы до ног: щупленький, с обвислыми усиками, в длиннополом зеленом

плаще так и утонул. Пожалела, посочувствовала его заботе и старанью. Вроде и сама переменилась, пожелала продолжить разговор: — Как будешь проезжать костромскую землю в сторону Вятки и дальше к востоку, вот там, на самом закрайке, и пойдут наши места.

Хотела даже упомянуть и про леса сосновые, которые со всех краев рубят беспощадно, и про былье урожайные льны, и про то, как через всю область дорогу строили, теперь автобусы из района в район катают, пожалуйста, навещай родственников. Но парень смотрел на нее, словно портной, обмеривая глазами. И это смущило. Дарья Макаровна прикусила пока язычок, замерла, чтобы не мешать человеку своей суетливостью, хотя было желание поддержать шутками общее беззаботное настроение: сколько можно печалиться.

— Пусть даст адресок, если дочери не замужем. Ты спроси, спроси, — бойкоголосый кому-то советовал — привык, значит, чужими руками жар грести, за спинами других отсиживаться: подзадорить горазд, а сам в стороне, будто непричастный. Много нынче везде умников непричастных...

В толпе загулял молодецкий хохот. И здоровущий парень, перевалистый такой, оказался выпихнутым на чистину, вот он и спрашивает, ломаясь:

— А тебе, тетка, зять не нужен на иждивение?

Смешной да смирный, а вот, поди ты, пожеланье дружков исполняет, думала Дарья. Почему бы и не пошутить? Приободрилась, поддержала необязательность разговора, потому что и ее коснулось общее настроение молодых людей, что-то несерьезное, игровое почувствовала Дарья в этом сборище вокруг странного мужика, расположившегося с откровенной выпивкой на площади, вокруг напустивших на себя важность киношников.

— Над кем потехаетесь, зубоскалы? Так-то зятя не показывают себя. Вы что думали? Две дочери у меня. Красавицы. Старшая, правда, замужем. Младшая — в институте. Ой, баска! И грамотная. С балаболами статись не велю, а хороших где нынче найдешь: то пьяница, то ленивец, то неумеха бессвестный. Есть среди вас хоть один самостоятельный да работающий, по дому разумеющий? Или все теперь по ларькам?

Оглянулась — поняла: усатенький распорядитель безобидно на нее смотрит, не собирается упрекать за помехи работе, над магнитофоном сторожко склонился. Все так же таился за глазастой своей машиной исполнительный помощник, занятый верченем кнопочек на замысловатом ящике.

— Чего приумолкли, не признаетесь, кто на что горазд? — обратилась она к бойким любопытникам. — Ну, похвалитесь ремеслом?

— Смотри ты, шустрая бабуля. Берет на себя инициативу, — сказали в толпе. — Входит в роль. Знаменитостью хочет стать.

— Еще спросите чего-нибудь. Что она скажет?

— А вам что нужно? — Дарья Макаровна решилась каждому давать отпор, чтобы не думали про нее: деревня забитая, необразованная. — Мне тут выхитривать нечего. Жизнь открытая, не воровская, своим трудом живу. Приезжайте — поглядите, может, понравится, в квартиранты на первое время пушу. Работников у нас в деревне всегда нехватка, везде-то, гляжу, безработица.

— Видали, агитирует.

— Моей жизни не позавидуешь и не завидовать нельзя. — Она опять оглянулась и вроде бы осуждение заметила и печальных глазах одинокого мужика. — Переживанием только и богата.

Снова заслонили его молоденькие хлопотуны, живо советы давали. А мужик послушно сменил позу, как-то надломленно повернулся к Дарье и еще сильнее сгорбатился. На плечо к нему наглый воробышко скокнул, насыпав любопытную публику. «Добродушный, видно, мужик, даже малые птахи не боятся», — подумала Макаровна. — Есть такие люди на свете, зверя и птицу способны чувствовать, понимать, потому и доверчива с ними всякая живность. Степа, бывало, сороку и грача привадил, крошки хлебные с руки клевали. Одно время зайчонка подкошенного за печкой выхаживали вместе с Веней...»

— Рассказывай, тетка, свои бывальщины. Чего молчишь растерянно? Артисткам так не полагается. Давай, пока время не вышло. Запишут на вечную память. Расскажи про дочерей-то еще, — не унимался ершистый самозванец в зятя, будто ему больше всех надо, будто на посмешище к нему именно вышла Дарья Макаровна. Сказала бы она словцо приветливое, да время неподходящее. И место тут особенное.

— Эх, ребята... Сыновья, деточки. Один сам уехал, другого увезли, Степана. Давно не писал, а теперь вот стряслось неладное. От вина вся вина. Не пил, не курил. Работный был. Разболтался по какой причине, кто его толкнул? Нет ему поддержки окромя родной матери. Никакие доктора, никакие законы не спасут.

— Да что ты про сыновей. Про дочку давай, про дочку. Где она учится, в каком городе? Подрабатывает, нет?

— Захочешь найти — найдешь, голубчик. Сердце само дорогу ищет. В любви самозванцев не бывает.

— Не наводи туманность Андромеды. Сказала бы адрес — и порядок. А мы знаем, какой товар везти.

— Товарищи, товарищи! Очень прошу тишины. Теперь не

мешайте, — распорядитель в длинном зеленом плаще и с обицами, будто обслюнявленными усиками, по-дирижерски раскинул руки, подсказывал печальному усталому мужику: — Начали! — помедлив, обратился к Дарье: — Двигайтесь, говорите что угодно. — Он потирал свои костлявые руки, ставшие очень гибкими, как у балерины, а глаза у него горели, будто у счастливой собаки, скружившей зайца к хозяину. — Пойдем от скамьи. Так. Взяли свои вещи? Отличненько. Вы только еще идете от вокзала. Все должно быть как на самом деле. Держитесь свободно. Будьте сама собой, не обращая внимания на выкрики толпы. Волнуйтесь, волнуйтесь за него, как за сына... Представьте, что он сын ваш, загубил свою жизнь, развелся с женой, летает с места на место — в общем, что-нибудь в этом роде. А человек был хороший. Имейте в виду, он действительно выпивши.

— Вижу, не слепая. Бедолага. От семьи отшатнулся из-за пьянки, теперь горюет. Глаза-то, вон, какие туманные.

— Выпил, конечно. Так надо. Для убедительности выпито. А горюет он понарошку, — подстраивался речью к Дарье торопливый распорядитель, довольный своей новой задумкой. — Видите, понарошку он горюет, для съемки, но убедительно, второй час так сидит.

— Э-э, милок, ты зря говоришь. Понарошку горевать человек не может. Я ведь вижу: неладно у него в жизни, ой, неладно. И не только сам в своей судьбе виноват, другие подкузьмили.

— Может быть, может быть, — согласливо торопился усатенький распорядитель. — По секрету скажу: от него жена ушла. Одинокий человек. Ни дома, ни семьи. Пожалейте его. Ну, протяните руки.

— Сердцем жалеют.

— А вы просто так, для выразительности. Понарошку, значит. Имейте в виду, съемка началась.

— Нет, понарошку не могу. И к нему сочувствие мое, только не жалость. Не могу, не артистка ведь прославленная.

— Привезли, — вдруг неизвестно о чем сказал кто-то. Возле вокзала под черепичной крышей, визгливо скрипнув тормозами и обдавая всех клубистой желтоватой пылью, круто разворачивался милицейский фургон.

Толпа отшатнулась, непонятный ропот прокатился волной, кто-то пояснил:

— Преступника привезли. Судить будут.

— За что судить-то? За себя постоял и самым виноватым стал. У нас только так могут, русский за себя и голоса не пойдай, сразу фашистом станешь, про самооборону забыть велят.

Дарья тревожно оглянулась, сердцем чувствуя взаимосвязь всего происходящего со своей жизнью.

— Сами виноваты, смиренные очень, покорные, — говорилось в толпе. А машина милицейская зачем-то пошла по второму кругу, словно первый раз не вписалась куда следует. И тут Дарья вскинула взгляд на зов родного голоса:

— Мама... Зачем ты здесь, родная моя?

Это Степа оказался в том фургоне. Она явственно разглядела измененное, заросшее серой щетиной лицо сына. Он был рядом, можно достать рукой. Если бы не двигалась по кругу машина. И тут Дарья полетела. Вскинув руки, она летела к зарешеченному окну, чтобы выручить несчастного Степана из беды:

— Степа, родненький... Сыночек, — едва успела выкрикнуть... И ударенная углом борта, перекосилась, словно подкованная, но устояла. Где-то рядом торопливый профессионально-азартный шепоток понукал:

— Снимай же, снимай крупным планом!

Растерянно замерла Дарья Макаровна посреди туманного круга, ее обволокло каким-то неземным желтоватым светом. Не зная, что сделать для спасения сына, кого призывать на помощь, взметнула отчаянный взор к нему. Губы вздрогнули в безгласном крике. Горе толкалось к небесам: дети, дети... что с ними стало? куда их несет судьба? в какой раздор они втянуты? кто и зачем разметал крестьянский род? Неужели на то воля твоя, Господи?

Может быть, только попутчица Матрена ее понимала и потому слабеющим голосом просила своего старика:

— Никодим, поддержи Дарью-то.

— Ничего. Это так, ничего. Пройдет, если терпеть, — качнулись над толпой успокаивающие Дарьины слова. — Неужто не хватит терпенья?

Может быть, это уже не она сама вопрошала, а ее голосом робким кто-то другой намеревался просить за всех нас. Кто-то другой, трудно обретающий нынче веру... Веру и в самого российского человека, способного наконец оглядеться и понять, откуда что происходит...

Может быть, это во мне, повествующем судьбу землячки Дарии Макаровны, кричит ее угнетенная душа? Кто нынче услышит этот крик и отзовется сочувствием к нашим матерям, к нашим исковерканным судьбам, к нашей поруганной и разграбленной стороне?

Mama... Mama's hayfields. The haystacks in those fields. Mama's song... And a son's drawing.

I took my youngest to the one and only place to show him my favourite paths, the most beautiful glades which, far from my home town, I more and more often see in my dreams. As soon as my son had rested we went around the village. Alyosha chose a road and traipsed along as the mood took him, hands behind his back, putting on airs, or suddenly rushing ahead, his sandals flopping on the firm field path, or stopping to peer at something. When I had almost caught up with him, he ran ahead, laughing joyously, snatched the hat off his flaxen head and carried it in his hand like a big ox-eye daisy. When he was lost from sight behind the tall grass, he raised his hat high and cried out: "Papa, I'm alone! Find me quickly!" And it was by the big blue flower that I found him. We continued in this way until Alyosha became tired. On the way back I carried my sleeping son in my arms...

It was already late, tired people were trudging down the village street, going home without taking leave of one another, for in three or four hours, with the sunrise, they would be getting up, and after a hasty breakfast, again go to the fields, to work together—old and young men and women, boys and girls.

The street became quiet for a while, and you could hear the creaking of a wagon in the distance, horses snorting as they blew away troublesome flies, and the barking of a dog. The accordion player, coming out onto the stoop, first gave the keys a few tentative strokes, and then began playing with a firm hand, seemingly happy at remembering the simple melody of a ditty. It was

# IN MAMA'S VILLAGE

MIKHAIL BAZANKOV

A STORY

# РАССКАЗЫ



## ДАЛЬНИЕ ТРОПИНКИ

Иногда кажется, живешь не настоящим, а ожиданием и воспоминаниями. Зимой (как в детстве) с нетерпением ишь летнее раздолье, летом же, под жарким солнцем, мысленно возвращаешься в зимние дни, в те самые, когда удивленно заметил, что уклад лесной жизни резко меняется: зимующие в наших местах птицы и звери таятся, боясь обнаружить себя неосторожным движеньем. Только лоси да волки гуляют, будто бы нарочно взметывая широкими размахами снег. Лишь кое-где хитрые лисицы оставляют длинные бусы легких следов да, спустившись с дерева, пробегает коротконогая куница или белка. В такие дни все чаще однообразные серые облака затягивают небо, по неделям не выглядывает солнышко. Но чувствуется, вот-вот ударят трескучие морозы, раскрошат, порозовят серую завесу. И с надеждой думаешь, скоро придет тот день (медведь повернется в берлоге на другой бок), наступит перелом, который определяется поговоркой: солнце на лето, зима — на мороз. А там уже не трудно

дождаться первых оттепелей, а там — лето. И снова в дорогу, снова можно пройти полями да лугами до самой милой земли, где каждая травинка клонится к тебе...

Редкое шарканье подшитых обледенелых валенок в гулких сенях. Нет, это не мамины давние, а чьи-то чужие теперешние шаги. И жестяное шуршанье почтового ящика за дверью.

Я в прошлом, настоящем и будущем одновременно. В одно и то же мгновение могу вернуться на сорок лет назад, с наивной надеждой ждать письмо с фронта от старшего брата или же оказаться на сорок лет далеко впереди, где упадет самый последний листочек с дерева. И чьей-то памятью вновь воскресится мальчишка. Память всесильна. Ей подвластно пространство и время, она все переплетает и все ставит на свои места. У нее тысячи дорог туда и обратно. Она формирует человека. Человек. Целый век. Все человеческое — вечно. Нет, не воспоминания пишу, а свои тропинки самые дальние разглядываю. Там и тут высвечиваются камушки. Сегодня один, завтра — другой. А память собирает их, укладывает по каким-то необъяснимым связям. Можно бы ухитриться, сместить, поменять местами, один ближе к центру, так сказать — в фокус, другой подальше, затенить, а который чуть-чуть обгладить, отполировать даже, чтобы эффектнее, да? Но то, что ценишь и любишь светло, пугается искусственного блеска.

Бродит, бродит память дальними тропами. Говорят, не надо, не рассказывай о том, что вспоминаешь, пиши о том, чем сейчас живешь. Но каждый день, каждый час по чудесным, необъяснимым законам получается одновременно и прошлым и настоящим. В памяти больше близких и дорогих сердцу людей, чем сегодня тебя окружает. Оглянуться и вспомнить их добром разве не полезно? Вчерашний день мы находим в сегодняшнем. Мы вспоминаем об ушедшем, потому что это лучший способ почтить его и при этом почувствовать, откуда ты родом, почему стал именно таким. Неужели найдется человек, ни разу не ощущивший особенной щемящей связи с тем, что было давно, да вдруг высвечивается так ясно, отчетливо и понятно, так властно, что с горьким сожалением думаешь иногда: нет, не вернуть! не вернуть... Неужели найдется способный прожить всю жизнь без этого сожаления?! И человек ли он, если без прошлого?

Бывает так, случайно остановишься перед зеркалом и замрешь в удивлении неполного узнавания самого себя. Промелькнуло время, сколько-то дней промелькнуло — ты изменился, но еще не ощутил, не осознал перемены, нет не в облике, а в чем-то таком, что не поддается зрительным

уточнениям. Внешние изменения в себе и в других мы замечаем более оперативно, иногда по ним пытаемся определить, глядя после разлуки на близкого человека, как складывается жизнь, повседневность, как были прожиты год-два-три.

А вот изменения в душе... Почему она стала другой? Почему оглядывается в прошлое, что ищет она там?

Сказано не раз: без прошлого нет будущего. Оно реально в каждой судьбе, потому что было в начале, потому что определяет каждый последующий день. Опираясь на прошлое, мы можем мыслить возвыщенно и глубоко, при этом не меняя своего подлинного медного гроша на фальшивые золотые. Медные пятаки детства...

Солнечный день. Уверенная отцовская рука поднимает малого сына к небу, а где-то ласковый голос матери: «Не бойся, сынок...» И вот уже понятливый конь качается в осторожной трусце, а я испытываю невесомость, точно так, как во сне, если снится, что летаешь. Открывается мне взволнованность всадника. Это было первым памятным летом.

Сместились времена — не различить чувством, что и в какой день. Но ведь было, было. Но ведь снится так, что ощущаешь, тепло нагретой солнцем подушки. Было... И не вспоминать? И не ценить? И не рассказывать? Почему? Может, у всех было одинаково, может, никому тревожить, ворошить? Может, для наших глобальных забот сегодня это не имеет и самого малого значения? А чувство, а память, которая не прихоть?

Ничто не было только вчера. Говоря по-другому, ничего не происходит только сегодня, все начинается когда-то раньше и непременно каким-нибудь образом прорастает в судьбах наших детей. И самый малый пустяк? Но ведь он чем-то вызван, обусловлен какими-то движениями души. Вот говорят, живем в стремительное время. Но ведь стремительность антипод памяти, потому что она все время занята собой, днем сегодняшним, текущим моментом. Значит, стремительная современность забывает прошлое, теряет память?

Мальчик из прошлого, восторженный и робкий, берет меня за руку и ведет, ведет невидимой тропой, будто знает, что там просторно, тихо и тепло до сих пор, только там есть истоки живой памяти.

Вспоминаю, чтобы возвратиться по сокровенным незаражающим тропинкам. Возвращаюсь, чтобы вспоминать в поклонах, вглядываться в прошлое, чтобы понимать себя и других. На родину всегда тянет. Надо поехать, непременно поеду опять. И писем оттуда жду: от родных, друзей и знакомых...

На бетонной площадке повторился жестяной шорох почтовых ящиков. Вот и наш ящик принял газеты. Журналы, письма — вести со всего света. Шаги на лестнице затихают. «Сынок, принеси-ка почту». «Сам, папа, возьми, мне некогда». Конечно, некогда. С другом развернули на полу танковый бой, урчат и тарахтят, ползая на четвереньках. И спорят: кто да куда попал из пушки.

Опять шипит туго набитый почтовый ящик, не желая отдавать вести со всего света.

Солдаты насилия. Вооруженное вмешательство. Новые объекты Пентагона. Американо-израильские переговоры.

Даже заголовки, одни заголовки говорят: «крестовый поход». Сердце сжимает, как в детстве, когда радио упоминало про Гитлера...

Во многих рассказах я возвращался на родину, в детство.

И о себе можно сказать: начинал с попыток понять, осмыслить непреклонную тягу к земле, нравственную стойкость, душевную щедрость и совестливость близких людей. Прочитав, кажется, все лучшее о «привычном деле», все-таки находил своих героев, не боясь повторений, в обкатанном будто бы «деревенском материале», начинал с поклонов. Значит, была такая потребность. Всегда будет она, если умеешь понять и жалеть, если заново, по словам критика, открываешь «берег», как образ народного трудового начала, здравого смысла, живого развития и постоянства, средоточия исторически выверенных нравственных ценностей. Где же, кроме родной Межи, смог бы я в первую очередь обрести этот берег? Накапливая, осознавая житейский да и литературный опыт, мы не можем не прикасаться к пережитому, выстраданному предыдущими поколениями, не можем без этого обойтись, сколько бы ни мудрили. Не потому ли приводят меня на Межу сокровенные тропинки, над которыми печально кричат чибисы?

Эти возвращения — сыновние поклоны родному берегу, не они ли учат и подсказывают: спасение человека от горя, смертной тоски, любых напастей в бескорыстном труде, в кровной связи с отцовской землей; человеку необходимо помнить прошлое, чтобы лучше понимать себя в быстротечном времени, чтобы укреплять душевые силы благодарной сыновней памятью.

Память не прихоть, она — закономерность. Память помогает понять откуда мы родом, почему такие.



## ДАВНЯЯ МУЗЫКА

Деревни давно уже нет, только высокий пень сломленной в бурю березы напоминает, где стоял родительский дом...

Трактор перепахал еще одно дворье, закрыл его влажными пластами тяжелой земли. Вывернулась на поверхность обшарпанная коричневая досочка. Может быть, она была от того кухонного поставца, на верхней полке которого мама прятала зеленоватые лепешки из липовых листьев и клеверных головок, чтобы дети не растаскали «безо времени», а только вечером разделили поровну и съели, запивая синим обратом. Отчетливо привиделись на высоком поставце деревянные ложки, глиняная кринка с молоком. И кухонное окно обагрилось отсветами пламени, играющего в печи. А мама возвращалась домой, спешила, чтобы варить еду на большую семью. Перед самым крыльцом бригадир охрипшим голосом предупредил, что правление накажет за самовольную кошенину осоки в дальнем углу выгона, и за то, что ночью по заморозку привезли траву на корове Комолене, и за то, что раньше колхозной выкопали картошку на своем огороде.

...Туман закладывался над белесой травой вокруг перелесков. Не в низинах и оврагах, как обычно, а на взгорке в первую очередь. И от этогоказалось, что деревья подпрыгнули, оторвались от земли, как будто застыли в воздухе.

Такие вечера приходили, когда устанешь от летних забот, когда заметишь, что теплые дни промелькнули. С полей прибрано; скотина нагулялась, начала привыкать ко двору; свезены под навес и в сарай плуги, бороны, сеялки, жатки, замолчала на току барабанная молотилка; близкий лес просветел; речка — словно стекло меж прилизанных берегов. Возле родного дома еще много дел, с утра до вечера всем работы хватало, но дети все-таки иногда отлынивали, вроде бы случайно это получалось — так много вокруг интересного. А мама всегда в хлопотах. Вот опять дотемна присидит на крыльце, связывая в большие пучки-гроздья крупный оранжевый лук. Возле ног в старых подшитых валенках — ворох обрезков и шелухи. Рядом, на ступеньке, — жгуток свежего мочала, серп, воткнутый в березовый кряж. Этим серпом отрезает она луковые перья и мочальные слоинки, чтобы связать пучки. А Митя стоит в отдалении посреди улицы: и деревню видно, и маму на крыльце. Только что она рассказывала, как и откуда прилетает предзимняя птица Сиверко. Рассказала и снова поет по-своему медленно и печально: «Синенький скромный платочек...» Теперь понятно: она так вспоминала мужа... Когда он был на войне, дети часто слышали эту песню. В этот раз на всю песню у мамы не хватило сил, она тяжело вздохнула: «Видно, Сиверко летит. Это уже пятый».

Мите хочется увидеть сказочную птицу, потому и всматривается в густеющие над лесом сумерки. Напористо потянул ветер. Слышится шорох перьев в огромных размахнутых крыльях. Жутковатый холод наполняет грудь, и Митя готов крикнуть: Мама! Правда, летит Сиверко! Быстро летит! Но что-то удерживает его, в нерешительности он стоит с приоткрытым ртом.

Поздним вечером вместо крыльев таинственной птицы нависли над лесом тяжелые набрякшие облака, вместо шороха слышались отчетливые шаги, хотя они были легки и осторожны. Мальчик скоро познал: зима не прилетает, она подкрадывается. Она подкраалась насовсем, когда взяли среднего брата Николая. И детство Мити Барцева закончилось в тот же год. Больно вспоминать, как провожали Николая, до сих пор аукается эта боль. И что же, он больше не верит в сказочных птиц из-за синь-морей? Разве его уже не радует приближение долгой холодной зимы с бодрящими морозами, закаляющими ветрами? Неужели не радует? А тот давний искристый снег, а та давняя музыка из-под легоньких санок? Повторилось бы снова — для сыновей, внуков и правнуков...



## ХОЛОДНЫЙ ГОРОХОВЫЙ КИСЕЛЬ С ТЕПЛЫМ ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ

— Дорога одна, все по столbam — не собьешься. Быка не дергай, бывал он тут. От дома пойдет не ходко, обратно — поживее. Вечером поджидать буду. Ну, поезжай с богом. — Эти напутственные слова матери, видимо, должны уберечь меня от всяческих случайностей.

Проводив за два километра к большаку, она снова растолковала путь до Портюга и заставила повторить, где какого края держаться, которые деревни останутся в стороне, как переезжать через реку, чем покормить быка, сколько давать ему воды, что сказать маслобойщику Ермилову. Я повторял, а она, словно учительница, подбадривала:

— Так, правильно. Так, молодец, хорошо запомнил.  
У мамы вздрагивали губы.

Было грустно, и я собрался разреветься, как это делают другие при расставании, но напустил важность, похвастался даже:

— Ладно, мама. Не маленький. Две недели молоко в Среднюю возил, и ничего не случилось, справился ведь, правда?

— Справился, справился, сын. И трудодни заработал, и я на поле больше успела. Нету другого помощника. Поезжай, сынок. Вечером-то, может, встречу.

Дернул вожжи, прикрикнул на быка:  
— Ну, Горька, пошел!

Но хитрый бык не послушал. Значит, надо дергать вожжи сильнее, для острастки взмахивать плетью, кричать басито, точно пахарь Костюнька, у которого — взрослые говорили — на пахоте голос грубеет.

— Эй, ты, мотовило, мотайся! Смотри у меня!

Горька из-под оглобли оглядывался на березовый разноцветный перелесок, скрывший родную деревню Малое Тюково, словно раздумывал, идти или не идти по песчаной дороге вдоль цепочки телеграфных столбов. Мама догадалась, в чем дело, подбодрила и его:

— Поди, поди. Не бойся, не намаешься. Дорога легкая нынче. — Похлопывая Горьку по коричневым исхлестанным бокам, она проверила упряжь и решила, что второпях мы все-таки плохо запрягли. Развязала супонь, перезаложила дугу, чтобы не выставлялись слишком длинные концы оглобель. — Конь любит все в аккурат, рогатый — особливо. Поезжай теперь, и мне бежать надо, а то корова недоена.

Горька осторожно качнулся, как бы проверяя тяжесть таратайки, пошел без понукания, пыхтел и обнюхивал дорогу, нацеливал короткие толстые рога в дальний лесной проем, отчетливо видимый на втором увале. Этот проем, похожий на коридор, заполненный синевой, напомнил мне позапрошлую осень, когда мы с отцом ездили в хлебном обозе до Николы. Нам пришлось тогда толкать андрец — развалистую снопоповую телегу — на длинном подъеме. Отец как-то однобоко упирался в перекладину и тяжело дышал. Подводила его, как он сам однажды признался, прорешеченная спина. (Ранен он был сильно, а домой из госпиталя выпросился пораньше, думал, дома-то легче будет.) После той поездки отец слег совсем и больше не вставал. По первому снегу Горька вез его на кладбище; на моих щеках стыли слезы... Бык, наверное, помнил тот печальный день и потому теперь оглянулся на меня, мотнул головой и принюхался к той стороне, где было большое кладбище. Белая церковь высилась над лесом. Всегда, увидев ее из деревни, я вспоминал отца, а в день Победы кричал, складывая руки рупором: «Папа, фашистов победили! Ты слышишь, папа!» Тогда я был мал и верил, что отец слышит меня.

Мне почудился ужасающий вопль — так кричала мама в день похорон. С тревогой оглянулся: она была возле перелеска, от которого до деревни оставалось полкилометра, и прощально махала рукой. Я снял кепку и крикнул ей: «До свидания, мама!» И сразу почувствовал себя увереннее. Выпрыгнул из таратайки, взявши за искосину, зашагал по-мужски широко.

Таратайка — одноосная телега, похожая на арбу, — была удобна и потому, что для нее требовалось колес в два раза меньше. Катила она бесшумно, оставляя вихлястый след в песчаной колее, лишь иногда подпрыгивала на попадавшихся камнях. Деревянный бочонок, привязанный у передка мочальной веревкой, вздрогивал, прерывисто гудел. Этот звук бес-

покоил Горьку, он вопросительно косил выпуклый глаз: мол, кучер, неужели не слышишь, с поклажей непорядок. Я догадался, что надо сделать. Нарвал на клеверище росной отавы (и на корм пригодится), напихал под бочонок, вокруг накидал. Проверил, тут ли топор и узелок с печеною картошкой, клеверными колобками, бутылкой синеватого обрата. Дал Горьке пучок отавы. Бык захватил ее длинным шершавым языком и начал жевать, от удовольствия покачивая головой. Шагал он легко, и мне было приятно ступить по мягкому влажноватому песку.

На вершине увала, перед тем как войти в лес, бык остановился, принюхался к палевым листьям, которыми была усыпана дорога. Несколько листьев вспорхнули и разлетелись. Это Горьке понравилось, и он низко склонялся, шумно выдыхал через широкие ноздри. Но на спуске шел как-то настороженно. Тревожный холодок загнал меня в таратайку, я сжался, словно затаился, и нащупал ногами топорище. Только бы не напали волки или медведи, только бы не вышли на дорогу бандиты. Они, по рассказам, в ту пору скрывались в лесах.

Из чащуги тянуло пихтовой трухлявиной, гнилым осинником, смолевиной и грибами. Где-то дятел звонко простиживал тонкую сухостоину. Надо бы посмотреть на дятла, но повернуться не решаюсь: уперся взглядом вдоль дороги и мигнуть не смею. А Горька идет себе да идет. Вдруг выскочил на дорогу линяющий заяц, сделал стойку, навострил уши, опасливо оглянулся и прыгнул за куст можжевельника. Бык не заметил зайца. Может быть, при таком равнодушии к окружающему он и медведя не заметил бы?

Б болотистой низинке колеса застучали по гати, загрохотала расхлябанная таратайка, и от этого грохота лес будто проснулся: закачались близкие деревья, прошумел верховой ветер, перелетела дорогу нарядная сойка, старая ворона дребезжаще каркнула, кланяясь кому-то невидимому, замелькали в еловых зарослях торопливые рябчики. И стало спокойнее у меня на душе. Поудобнее уселся в передке, и вскоре босые ноги, настуженные росой, разогрелись под мешковиной словно в печурке.

Из-за поворота лихо выкатила встречная подвода: ретивый каурый мерин, высоко вскинув голову, почти по воздуху нес новенький черный тарантас, в котором сидел важный кучер в синем кителе с глухим воротом. Это я потом вспомнил и синий китель, и кожаный блестящий картуз, и праздничную сбрую на кауром мерине, и круглый колоколец под дугой. «Вот чертинесут!» — ругнулся я привычными мамиными словами. Встал на колени, поспешно потянул быка вожжами на обочи-

ну, а тот не подчинился: голову в сторону воротит, перекошенными ноздрями трясет, но все равно прет по колею. Чуть не наскоцил на нас ретивый конь с лихим наездником — показалось, что все, подминают; я даже зажмурил глаза. В лицо ударили песчинки — на резком повороте колеса сильно резанули песок. Когда я наконец смог оглянуться, тарантас был далеко, а дядька, оскалив зубы, ругался и грозил кулаком.

— Упрямый ты, Горька, совсем бессовестный! Важному человеку дорогу не уступил! — Я замахнулся плетью, но бык швыркнул хвостом по кнутовищу, выбил его из руки и сам тут же остановился: ждет, когда плеть подберу. Такая понятливость смягчила мое отношение к Горьке. Я решил, что не надо махаться, а то он и совсем закапризничает. Ведь известно: в упряжи быку не сладко, он привык к вольной жизни, а его впряжен из-за нехватки лошадей, и он, ничего не понимая и не сочувствуя, не хочет быть покорной тягловой силой, артачится, упрямится вроде бы ни с того ни с сего. Если обидишь, придется испытать его упрямство. Горька был на это способен: заупримится, ляжет где попало, тогда ни вожжами, ни криком, ни плетью, ни «пропеллером» не заставишь его подняться и идти дальше, пока не измотает тебя. «Пропеллер» — последнее средство. Был такой жестокий способ: крутить быкам хвосты...

— Ладно, больше не буду. Иди как знаешь.

Снова устроился возле бочонка и стал смотреть по сторонам, замечать дорогу. Мечтал теперь только о том, чтобы не встретилась машина, потому что не знал, как поведет себя Горька. Сам-то я несколько раз видел машину, даже катался в кабине с приветливым шофером, который приезжал сватать нашу учительницу Галину Ивановну. Вспомнив про учительницу, я решил в понедельник рассказать в классе о том, как нахрапистый, криклиwyй бригадир Большаков вдруг доверил мне дальнюю поездку за маслом, потому что все взрослые были заняты на картошке и молотьбе льна. Представил, какие удивленные лица будут у всех моих одноклассников.

Солнце поднялось над лесом, высутило летящую через дорогу паутину, загнало туман в дальние ложбины. Как-то просторнее стало вокруг. Открылись белесые и сизоватые полыни, впереди показались крыши никольских домов. А дальше — об этом мама говорила — за селом, оставшимся в стороне, пойдет редкий сосновый бор. По такому бору ехать одно удовольствие, издалека можно увидеть ягоды, грибы или какого-нибудь зверька, бурундук например.

Все было просто: сиди в таратайке, изредка для порядку покривкай на быка, чтобы не засыпал на ходу, и на всякий

случай поглядывай вперед, чтобы, завидев машину, вовремя выпрыгнуть, за кольцо вывести Горьку на обочину. К счастью, ни одной машины не появилось, все деревни оставались в стороне то слева, то справа. Я думал, что благополучно доеду до Портюга, все идет так, как мама обсказывала. Скучновато было ехать, потому что ни ездока, ни пешего на дороге. Разва три пытался подторопить Горьку, но лихой езды не вышло: бык то трусил несколько метров, вихляясь и мотая головой, то резко затормаживал, словно пугался какой-нибудь ямины, колдобины или близкого куста, и снова медленно шлепал раздвоенными копытами, роняя тягучие обрывки слюны. Он, наверно, хотел пить. По моим предположениям, скоро должна была показаться река. А там оставалось переправиться вброд и подняться на пологую гору. За Сорвином окликнула меня старушонка с белой полотняной котомкой за плечами:

— Хоть до отворота подвези, милый.

Она поставила аккуратный лапоток на ступицу колеса, перешагнула на искосину и тут же присела, нахолилась, словно клуша.

— В Баламыкино мне. До почты ходила, посыпочку отправила. Крахмальцу свежего припасла да картохи насушила. Мнуку в Кострому, в фазау тама. Пропитанья-то, поди, не хватает. Нынче везде несладко. Хлеба не народилось, картошка — одна мелочь... А ты чей будешь? По обличью не разберу, а вижу: не дальний.

Старушка дотошно расспрашивала, я охотно отвечал, стараясь выглядеть взросле. И оказалось, что мы с ней родня какая-то. Вот это хорошо, думал я, ладно, что посадил, а то плохо получилось бы, если бы родственнице не подвез. Свой-то бабушки у меня не было, а эта, как родная, обо всем спросила, посоветовала, как лучше на трудном пути с глинистой горы спускаться, и даже дала голубоватый крахмальный пряник. Прощаюсь, она погладила мои ершистые волосы и заботливо оглядела, все ли ладно у Горьки в упряжи.

— Доедешь, не торопись. Конь рогатый заартачится — не убивайся, люди добрые помогут. — Она прошептала еще что-то и перекрестилась. — Поезжай. Бог с тобой.

По сырчей боровой дороге таратайка катилась мягко, лишь изредка громыхала, тыкаясь колесами в высокие выбитые корни. Под сосенками виднелись коричневые маслята, как у нас говорят, мостами. И это радовало: поеду обратно, целый ворох наберу, а пока не трону: все равно очервивеют. Сосны постепенно снизились, перемешались с мелким ельничком, а потом и совсем затерялись в дымчатом ольховнике. Все чаще и чаще обозначались поляны с копенками можжевель-

ника. Перед рекой и кусты можжевельника, и разлапистые елочки широко разбежались. Между ними был разостлан на вылежку лен.

Бык упирался, словно не хотел идти под гору, вплотную притулил к передку таратайки измазанный зеленью мосластый зад. Он так и вылезал из хомута, скользил широко расставленными ногами по мокрой глине. Наконец Горьке надоело упираться, он вдруг дернул и галопом помчался к широкой воде, отрывая от земли и подбрасывая таратайку. Напрасно я натягивал вожжи, пытался его удержать. Зря не послушал бабушкиного совета, надо было пропихнуть в колеса какую-нибудь валежину.

Перед самой водой бык опять резко затормозил, и, словно на лыжах, съехал в бурлящее перекатное течение. С ужасом подумалось: а вдруг тут ему с рожками? Но воды было Горьке по колено. Он жадно уtkнулся, торопясь смыть пену с ноздрей, загуркал горлом.

Вода бурлила в колесах, вихрилась вокруг седоватых бычьих ног и увлекала течением тяжелый расслабленный хвост. Хоть и неглубоко тут, но невозможно было разглядеть дно, и потому жутковатой казалась незнакомая вода. Горька пил недолго. Приподнял морду и пошел к другому берегу, угадывая направление без моей помощи, по выбоинам. На выезде, метрах в десяти от берега, он встал: то ли ему приятно было от того, что вода обмывает заскорузлое пузо, то ли хотел попить.

Вдруг выполз из-за бугра трактор с большими бункерами по бокам, такого я еще не видывал. Это был трелевочный «газен», один из тех, для которых по зимам в колхозах заготовливали чурку. Урчащее чудище удивило Горьку, он выпучил глаза.

Тракторист, узконогий парень в шлеме танкиста, и те двое, что стояли за кабиной, могли подождать там, на горе, или свернуть в сторону и пропустить нас, но им, видно, не терпелось. Трактор, грохоча и фыркая сизым дымом, торопливо сползая между двух холмов по узкой дороге и, как я понял, не мог никуда свернуть.

Неистово выкрикивая ругательства, как это делал пахарь Костюнка, левой вожжой я пытался стянуть Горьку в сторону, но бык стоял на своем, уступать дорогу не думал.

Трактор был совсем близко, вот-вот змеевистые поблескивающие гусеницы накроют, растопчут и быка, и таратайку, и меня... Оставалось последнее средство. Я схватил скользкий зеленоватый хвост почти за самый конец, полагая, что так легче будет провернуть, и начал крутить, уверенный в том, что «пропеллер» сдвинет быка с места, а тогда можно направить его

вдоль берега, ведь и машины легче поворачиваются на ходу. Может быть, я сделал это боязливо, неуверенно, может быть, у меня просто не хватило силенок. Бык, упруго изогнув хвост, вызволил его, со всего маху плюхнул мне по спине и тут же плотно притулился к таратайке. Встречные парни захотели. Я не смотрел на них, но хохот, конечно, слышал; мне показалось, что он заглушил урчание близкого мотора. Тут-то я разозлился на Горьку. Выскочил в воду и, сжатый холодом, пробирался вдоль оглобли, которую нельзя было выпускать из рук. Борясь с течением, цепляясь пальцами ног за камни на дне, я добрался все-таки до бычьей морды и, стиснув зубы, потянулся за кольцо. Ноздри у Горьки вытянулись, порозовели и вздрогивали, а глаза, большие, омытые слезами, удивленно таращились и просили: не мучай ты меня, все равно не пойду.

И тут я наконец-то зацепился ногами за что-то там на дне, ударил по этой мокрой непослушной морде кнутовищем и со всей силы рванул кольцо. Но Горька только пустил мелкую дрожь по загривку и, выкатив испещренные красными жилками белки, скосил глаза на трактор, ворчавший совсем близко. Это еще обиднее: он в мою сторону и глядеть не желает, за свою шкуру дрожит, а упорствует по-прежнему, словно совсем бесстолковый. Ах ты, такой-сякой! Вот тебе — только взмаха не получилось, потому что опора вывернулась из-под ног.

Почему-то я знал, что делают те двое за кабиной. Они орали, размахивали руками, давали советы.

Тут-то и пожалел быка, будто бы понял его: с какой стати мы должны уступать дорогу этому металлическому чудищу?

Навсегда запомнился рыжий широкорожий парень в тельняшке, на которого — было такое мгновение — я надеялся больше всех, верил, что именно он мне как-нибудь поможет, не зря же парень носит тельняшку. Но рыжий набрал березовых чурок и начал бросать в Горьку, удачливо попадая то в хребет, то в голову. Рыжего поддержал другой, безликий, не запомнившийся. Сначала они кидали в быка, чтобы он двинулся и уступил дорогу.

— Тяни сильнее, сопленосый! — орал рыжий, кидая чурки и, как мне показалось, стараясь попасть Горьке в глаза. Я заслонил своим телом бычью морду. Теперь чурками кидали точно в мои лопатки. Я заревел, не от боли, конечно, а от обиды и на бесстолкового быка, и на этих нахальных парней.

Кто-то из парней, видимо, сжалился, вышел в воду и пытался меня оторвать от Горьки...

То ли послушался бык понуканий постороннего, то ли, не видя, меньше боялся трактора, но вдруг пошел, легонько

подталкивая меня своим широким лбом. Вода опускалась все ниже и ниже... Я оглянулся — трактора и близко не было, угол его кабины да крышки бункеров выглядывали из-за бугра. Узколицый тракторист в мокром комбинезоне подбежал к рыжему, который все еще хохотал, коротко и сильно ударил. Рыжий нагнулся, словно хотел боднуть тракториста в живот, и схватился за лицо.

— Сволочь! — Тракторист выругался и замахнулся, но не ударил, оглянулся на нас с Горькой. Подбежал, поставил меня в таратайку, взмахнул кнутом.

Горька рванулся и попер в гору. Он пригибал голову к земле, оттянув хвост, торопливо перебирал ногами. Таратайка бренчала, тараторила, а зубы у меня стучали.

Парень спросил:

— Ты куда правишься?

— За мм-ма-аа-слом...

— Куда за маслом-то? В Портюг, что ли, к маслобойщику Ермилову?

— Ага.

— Утри сопли, теплей будет.

«Подрулив» к крайней пятистенной избе, над крышей которой вился из трубы желтоватый дым, парень остановил Горьку у коновязи, намотал вожжи на колья. Взял меня, словно грудного ребенка, и, хлюпая размокшими сапогами по ступенькам, вбежал на высокую лестницу, толкнул дверь плечом: пахнуло жареными льняными семечками. Вошел в избу и посадил меня на просторную печь, велел снимать штаны и сущиться:

— Оттаивай тут.

А хозяину, которого я не видел, пояснил:

— Гость к тебе дальний. Подмоченный, правда, немногого. Обиходъ его, дед Митрий. — И сам — за дверь. На улице — с печи хорошо было видно — парень бросил Горьке охапку отавы и ослабил чересседельник.

— А-а, побег ошалелый. Все спешит, не поговорит, не посидит.

Густой голос хозяина гудел где-то снизу. Я выглянул из-за кожуха: совсем близко увидел желтобородого мужика, шурящего в печи ухватом.

— Ты малютковский, что ли? — спросил мужик и, не дождавшись ответа, продолжал: — Раненько чуток, пока тут то да се, и отогреешься. Одного, значит, снарядили? А ты и давай взахлеб пробовать, чем у взрослых жизнь сладка. Так ведь?

— Я не пробовал, чего мне пробовать. Само так вышло. Тут трактор, а Горька боится.

— Вона что. Чего сам-то вплавь ударился, сидел бы.

— И не плавал совсем. Быка выводил...

— Понятно, раз так. Сам-то крепкий аль хилый будешь?

— Крепкий, конечно, крепкий. Никогда не болею. Мне и не холодно нисколечко, жарко даже теперь.

— Поговори у меня. Сохни покамест, а потом я тебя на подмогу призову. Марья, хозяйка моя, нонче на стлище пошла, я опять один толку и парю.

Вот как повезло: в помощники хозяин пригласил. Я-то думал, все скучно будет: приеду, в бочонок нальют масла — и пили обратно. Радость вдруг нахлынула — не унять, будто и не было долгой дороги с постоянным страхом перед каким-нибудь происшествием, с постоянным ожиданием какой-нибудь опасности, будто и не бился из последних силенок на перекате, уступая дорогу леспромхозовскому трактору. Тихо, тепло, как дома.

— Чей парень-то тебя доставил?

— Он — тракторист.

— Из новеньких, видать, из фезеушников, а знает, к кому идти. И так подумать: знать меня должны, потому как на всю округу работаю. С фронта раньше других коверканый заявился.

Тут только я увидел, что левой-то руки у Ермилова совсем нет. Когда он в печи кочергой шуровал, казалось: все как следует у него, а расправился — пустой рукав болтается.

Я напялил женскую кофтенку, украшенную вместо карманов малиновыми заплатами, надел длинные штаны, закатал штанины до колен и — прыг на пол:

— Жарко мне. Помогать буду.

— Прыткий какой. Погодь. Вот клинья придержать — твое будет занятие. Воды с колодца принесешь аль нет? Не суметь, поди?

— Ой, не суметь! Мигом!

— Тебя как звать?

— Митька...

— Так, Митрий. Тезка, значит. На матерь похожий. Когда она льносемя привозила, я, брат, пластом лежал — хворь навалилась, а теперь ничего. С маслом домой поедешь.

Маслобойщик дал бадью, не велел наливать полную, чтобы не надсадиться.

— Еще воденка потребуется — колодец рядом. Весело выбежал я на улицу, взглянул на солнце, которое уже скатилось с полудня, и ласково спросил быка:

— Горька, Горюшка, скучно тебе?

Следом за мной вышел Митрий — так он себя называл. Когда я опускал бадью в колодец, предупредил:

— Через срубник не перегибайся, а то улькнешь.

Он хлопнул Горьку по боку сильной лопатистой рукой, коленом подтолкнул снизу бычью морду и ловко рассупонил хомут, сбросил гужи. Звучно ткнулись в землю оглобли, таратаika задрала зад, словно курица, клюющая зерно.

— Пускай скотина от сбруи отдохнет. — Дед еще раз хлопнул Горьку и повел за огород на луговину.

Вернулся, осмотрел таратаiku, приподнял оглобли и под одну из них поставил дугу. Хомут перенес к тыну, привалил хомутиной наружу. И молча наблюдал, как я, перебирая гладкий шест, быстро опускаю бадью во второй раз, потому что в первый из-за торопливости ничего не зачерпнул. Вот бадья чохнулась об воду, вздрогнула и замерла вверху, на комле журавля, обрубок бревна, привязанный проволокой. Я придавил шест вниз, и бадья захлебнулась, исчезла под синеватыми кругами, но тут же упруго вынырнула, быстро побежала на свет.

— Ловкий! Выливай тогда в колоду, раз еще зачерпнул. — Дед взял бочонок из таратаики, пошел домой, шаркая обувкой — берестяными ступенками, поднялся на крыльце и оглянулся. Следом за ним — и я, как большой, несу бадью в одной руке, стараясь не сгибаться.

...Эта изба не похожа на мою родную — тут просторно и вроде бы неуютно: ни стола под льняной скатертю, ни стульев, ни кровати, ни фотокарточек в рамках. Посередине — большущая колода, положенная концами на два стула, под ней прямо на полу — корыто с покатцем в одну сторону и сверленым ходочком, заткнутым деревянным штырем. На длинной скамейке в рядок положены желтые, будто бы подсвеченные изнутри деревянные плашки и клинья да большущий деревянный молоток с бойками, обжатыми металлическими ободьями. У передней стены плотно друг к другу поставлены четыре корчаги разной величины, а на шестике между опечком и поставцом повешены блестящие, словно хром, холстины. В нижнем ярусе поставца было около десяти плиток жмыха. Все это маслянисто переливалось в солнечном свете.

Митрий пихнул левый пустой рукав в ворот рубахи, застегнул первую снизу пуговицу.

Пузатая корчага, накрытая большой сковородой, точно огромный гриб с толстенной ножкой, плавно поворачиваясь, явилась из печи на шесток. Брякнул ухват, приставленный к стене. Ловко и почти бесшумно сдвинув сковороду, дед, не боясь обжечься о парящую корчагу, аккуратно обложил ее фартуком и прижал к себе. Повернулся к столу, тряхнул корчагу

над разостланной холстиной. Толченное в ступе и распаренное льняное семя оказалось на столе вязким с виду ворохом, тут же обволокло его желтоватым ароматным парком. Но ворох враз был расплощен одним движением руки Митрия, захлестнутый холстиной со всех сторон, переплыл на растворенную ладони со стола к колоде и шмякнулся между плашек. Вот клинья уткнулись носами по обе стороны от плашек, а молоток короткими ударами вогнал их до половины. Митрий широко улыбнулся; подпаленные, тоже желтоватые, усы его приподнялись, расползлись по щекам, глаза блеснули добром и приветливостью:

— Так сюда садись на корточки. Да гляди в оба. Первую росинку не прозевай.

Он ударил сначала по одному, потом, помедлив, по другому клину немного сильнее, чем вначале, и, ловко пихнув молоток под локоть, быстро вставил два подклиника.

— Подтаяло в аккурат, — тихо, с какой-то особой азартностью вымолвил Митрий и пригладил усы к щекам. — Будем смелее теперь, просить надо. А ты, как янтарек родится, сказывай мне. Вот тут, посередке, ожидай, — показал он на подбрюшину колоды.

Не имея представления о каком-то янтарьке, все-таки я навострился, чтобы не прокараулить. Молоток по очереди, вежливо кланяясь, клевал то клинья, то подклиники, а в колоде все тоньше и тоньше чвакало. Маслянисто шуршал над моей головой вспархивающий фартук деда. И вот вроде бы тоненько пискнула тяжелая пчела, так она пищит, когда с ношей пролазит в узкий леток. И верно! Внизу, в зеленоватом сумраке, вдруг появилась желтая, словно обсыпанная вербной пыльцой, и нагруженная пчелка. Я побоялся, что ее там может прижать, и, чтобы спугнуть, прикоснулся к ней, но вместе пчелы увидел на пальце пенистую капельку.

— Не прозевал. Молодец! Тут сейчас и янтарек родится.

— Маслобойщик еще раз легонько ударил. Крупная золотистая капля, похожая на гладкий прозрачный камушек, нет, на кругляшок застывшей сосновой смолы, беззвучно упала в корыто и тут же исчезла, будто растаяла. Но за ней появилась вторая, еще ярче, золотистей, похожая на маленький пожелтевший бересклетовый листочек.

— Пошло! — басовито радовался дед. — Пошло, слава богу. В ручеек теперь растянеется.

И действительно, потянулся тоненький, вязкий, словно медовый, ручей, от которого, кажется, пахло и свежим медом, и голубыми цветочками льна, и протопленным сухим овином, и горячим гороховым киселем.

Митрий понял, что мне очень хочется попробовать свежего масла; подставив чайное блюдечко, подождал, когда скроет дно.

— Макать будешь. — Усадил меня к подоконнику, дал большой ломоть настоящего ржаного хлеба.

Ничего нет вкуснее свежего хлеба с теплым льняным маслом, думал я, осторожненько прикасаясь куском к чудному маслу. Чтобы растянуть удовольствие, не жевал хлеб, а просто ждал, когда он растает во рту. Я был счастлив! И солнце светило для меня, и масло струилось для меня, и дед мне улыбался. Наконец-то я попал в сказочное царство, где каждый может как сыр в масле кататься, если будет добрым, трудолюбивым и послушным.

Маслобойщик был доволен; сделав очередную закладку, он прикоснулся теплой ладонью к моим волосам и опять дал команду: «На дозор!»

Еще четыре раза я ожидал тонкий писк, сгонял «пчелку» и видел, как янтарик падает в корыто, в котором все прибывало и прибывало долгожданное масло, предназначеннное для всех людей нашей малютковской бригады. Это масло из корыта, поставленного на скамейку, журчало через ходок в поющий, а затем гудящий бочонок; удалось наполнить его (после всех повторных проколачиваний жмыха) только на три четверти.

Дед успел расспросить меня о домашнем житье. Я рассказывал всю правду, даже самую горькую. И про отца — тоже.

Ермилов больше не задавал вопросов, начал закуривать, но долго не мог прикурить: потому, наверное, что самодельные серные спички ломались; положил трубку на подоконник, пристально посмотрел в окно и заговорил:

— Хотелось до Берлина дойти. Да вот руку оторвало... Надо бы гранату схватить да по танку швырнуть, а хватать то и нечем...

Я с ужасом глянул на пустой рукав и, жалея Митрия, едва сдержался, чтобы не зареветь.

— Ладно, — говорит Митрий. — Не горюй, малый. И без отца вырастешь, не даст народ в обиду. Работать будешь, все привьется.

Снова легли на скамейку клинья, подклиники и молоток, встали в ряд пузатые корчаги, порожняя колода засветилась плавкой желтизной, а фартук маслобойщика висел перед печкой. На верхней полке поставца, словно пироги, лежали четыре плитки жмыха, на которых можно было разглядеть четкую сеточку, пропечатанную от холстины.

Задумчивый Митрий сидел на пороге открытой двери, глядел на низкое оранжевое солнце.

— Бочонок можно закупоривать. И поезжай, не тошибко запоздаешь.

— Мама встретит.

— Вот и ладно. Доедешь. Бык дорогу найдет. Бык — что мужик, всегда к дому веселей шагает.

Вместе запрягали Горьку, увивали соломенное гнездо для бочонка и смазывали колеса дегтем. Жмых положили в последнюю очередь, я и забыл бы про него, а вот Ермилов помнил.

Он проводил меня до реки, направил Горьку по перекату. У другого берега бык успел схватить несколько глотков фиолетовой вечерней воды и приемисто попер в гору.

— До свиданья, дядя Митрий! — Теперь он мне казался не таким уж старым. — Когда-нибудь еще приеду.

— Приезжай. Ожидать буду, — отозвался Митрий слабым голосом, глядя на меня из-под руки.

— Обязательно приеду, — легко пообещал, не зная, что больше никогда не придется бывать на маслобойне и пробовать льняное масло, такое же сладкое, как это.

Я вез домой колхозное масло, оно, казалось, шептало мне что-то ласковое.

В сосновом бору меж стволов уже путались полоски тумана: дали сделались фиолетово-синими, а песчаная дорога была похожа на портянину, которую положили на наст отбеливаться. Горька шагал по ней легко, весело. Чтобы не прислушиваться к тишине, я начал орать песню:

На границе тучи ходят хмуро...

Потом пришли на память «Катюша», песня про девушку Татьяну, которая с рассветом вышла из тумана, но ее схватили немцы и потащили в хату на допрос... Подумалось, что из чаши могут выйти немцы, отнимут бочонок с маслом, будут пытать меня, дознаваясь, где живет маслобойщик и сколько бочонков масла в день он может набить. Я знал, что умру под пытками, но ничего не скажу. И в мыслях об этом забыл про пустячные дорожные страхи, которые — уверен — подстерегали за каждым поворотом, за каждым лохматым деревом или взъерошенным кустом. А о грибах и не вспомнил даже.

Близкие деревни оставались в стороне, но старались успокоить меня скрипом колодезных журавлей, хлопаньем пастушьего кнута, бренчаньем андрецов, веселыми криками ребятишек и запахом печеной картошки. Так и ехал от деревни к деревне. Круглая красноватая луна катилась слева над лесом, не желая ни отставать, ни обгонять. Лунное лицо улыбалось, точно так, как маслобойщик. Постепенно уменьшаясь,

оно становилось ярче и утрачивало определенность выражения, просто светило, и все — чтобы ясно была видна дорога. Острый Горький хребет позеленел от лунного света, а солома в таратайке показалась облитой льняным маслом. Я с тревогой ощупал бочонок, успокоился: нигде и капельки не подтекало.

До моста через Межу проехал без приключений, хотя постоянно предчувствовал: должно что-нибудь случиться.

Вдруг впереди опять послышался звон колокольца. Прежде чем ступить на деревянный мост, Горька насторожился, заводил ушами. Совсем близко смеялась, словно от щекотки, веселая женщина. Заржал ретивый конь. Думалось: кто-то пасет его у реки. Ну и пусть, мне ехать надо. Подшевелил Горьку вожжами, он пошел серединой моста, обнюхивая настил. Внизу шелестела черная вода — это я не слышал, но, прислушиваясь к нарастающему грохоту колес, предполагал, что вода именно шелестит. Впереди действительно грохотали колеса тарантаса. Не успел управить Горьку ближе к перилам, как ретивый встречный конь коваными копытами будто бы засучтал по бычьему хребту, взметнувшись, свернул чуть вбок, прорвал тарантас между перилами и таратайкой. Взвизгнула, захочотала женщина, трехэтажно выругался знакомый кучер и громовито сказал спутнице: «Опять этот белобрысый сопляк на большаке». Долго перекатывался грохот над рекой, над лесом, по небесам...

Сначала напугался за них, за этих бесшабашных ездоков: ведь могли с моста рухнуть, они ближе были к краю, ладно, перила выдержали. Но потом проклинал их, запоздало кричал, выхватив топор и потрясая им: «Вот увидишь, что тебе будет! Вот увидишь, когда вырасту!»

Быстрый тарантас зацепил и раздернул колесо моей таратайки. Не зная, что делать дальше, я был способен только проклинать и охрипшим плаксивым голосом костили лихого кучера самыми скверными словами. А напоследок погрозил: «Погоди вот, трактор тебе встретится!»

Не знаю, куда ездил тот человек, зачем спешил, почему лихачил и презрительно назвал меня белобрысым сопляком.

Теперь я узнал бы его при встрече и на базаре и на вокзале — в любой шумной толчее. Узнал бы всем опытом своей жизни, начавшейся в трудные годы. Потому что и сейчас кажется: тот человек из таких, кто не оглядывается, причинив боль, кто не возвращается, чтобы помочь.

Темнота обступила меня. Луна почему-то не хотела больше светить, спряталась за тяжелым облаком. Вспомнилось: «Бык найдет дорогу домой, — говорил дядя Митрий. — Тяга к дому сильна». От этого стало спокойнее.

Подумаешь, колесо, оно и так еле держалось. Не на мосту, так где-нибудь в канаве все равно бы рассыпалось.

Подобрал обод, части расколотой ступицы, спицы, — может быть, пойдут в дело. Тут и топор понадобился: с ним не страшно в темноте было, да и смастерить приспособление в виде полоза можно. Теперь я деловито и спокойно копошился возле таратайки, примерялся пропихнуть кусок жерди под ось, чтобы привязать его вожжами к оглобле. Горька дорогу домой найдет.

При помощи ваги как-то сумел приподнять таратайку, пропихнул гибкий обрубок жерди, крепко привязал вдоль оглобли и расклинил. Какое-то время сидел на земле, не решаясь испробовать приспособление, но Горька сам дернулся с места и убедил, что так ехать можно. Уже потом, когда, прислонившись к бочонку, наслаждался мягким покачиванием, почувствовал, что не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Помню, не хотелось, чтобы встречала мама, я сам должен был все исполнить до конца. Теперь ничего не боялся.

Было тепло. Легкий ветер обволок меня покоем. И видел я себя дома ранним утром, в солнечной избе. Топилась печь, отсветы играли на стенах. Сладко сопели братья и сестренки, не знали они, что приготовлено угощение. В каждой из семи тарелок брусками нарезан холодный гороховый кисель, намазанный поверху свежим льняным маслом. Пора было вставать, умываться и расхватывать ложки. Но мама почему-то не возвращалась с колхозного двора. Там, возле фермы, которую хорошо видно из наших передних окон, толпились женщины. Было понятно: они обсуждают, где искать меня, потому что я потерялся.

Сон затягивался, обрастал жуткими подробностями: меня сбивали с пути коварные враги, по бочонку стреляли из пистолетов, и я закрывал пробоины грудью.

Измотанный бык тем временем вольно избирал себе путь, он свернулся на прямушку, чтобы быстрее добраться к родному выгону, дотянулся до ворот и лег возле них отдохнуть. А мама встречала меня по большаку, беспрестанно аукая.

На трудодни нам досталось масла чуть больше полкирники. Но зато какое это было масло!

Жизнь складывается так, что с тех пор не приходилось бывать на маслобойнях (то ехать некогда, то ехать некуда): надомные маслобойщики в наших местах давно перевелись, а другие не появляются, видимо, нет в том хозяйственной необходимости. В любом льноводческом колхозе спросишь, умеют ли масло бить, — удивляются молодые председатели:

«Зачем? Льняное ведь для промышленных нужд». А мне хочется иногда угостить сыновей холодным гороховым киселем с теплым льняным маслом.

С годами все чаще приходит тоскливо желание побывать в родной деревенской избе. Знаю, ее уже нет, но светлеет на душе оттого, что представляю себя там. Будто бы ранним утром, едва проснувшись, вижу, как мама хлопочет возле печи, готовит еду на большую семью. Появляются на столе наполненные до краев гороховым киселем ярко-желтые, словно цветы мать-мачехи, фарфоровые тарелки, сточенный наполовину хлеборез, хохломской росписи ложки, пышный, с поджаристой корочкой каравай, испеченный на капустном листе, синеватые чашки с топленым молоком и чайное блюдечко льняного масла. Этот праздничный стол мама накрыла в честь моего благополучного возвращения из дальней поездки. Думается мне, что хорошо бы за этим столом вместе с нами оказался и дяденька маслобойщик...



### ВЕТКА РЯБИНЫ

Из окна городского дома хорошо виден проселок, прорезающий синий лесной разлив на дальнем взгорье. Вчера я возвратился оттуда, из-за реки, из-за леса, и все еще не могу из прошлого перейти в настоящее. Опускаются сумерки, затемняют след уходящего дня. Незаметно подкрадывается ночь с осторожным шепотом дождя за стеклом, превращенным светом лампы в чистый речной лед. Там, в зеленоватой глубине, иногда косо проплывают еще яркие, неотгоревшие листья рябины; влажно блестящие, они похожи на больших окуней, лениво играющих в теплой воде, которая не успела процвести.

Ветер сильно толкнулся в окно, прилепнул к стеклу «ржавую» веточку с тремя чудом удержавшимися крупными ягодами. Чуть выше белая искра промелькнула и рас-

творилась, словно в небе пролетел метеорит. Еще одна черточка. Вторая, третья. И вот уже все стекло исполосовано. Пошел — не сразу определишь — частый полудождь-полуснег. Отяжененная ветка медленно сползла вниз, оставляя в белом черный след. И снова перед глазами заблестела пронизанная солнцем река Межа. Вижу себя на перекате. Склонился, выглядываю шныряющих по дну пескарей. Они прикасаются к моим ногам, и я невольно улыбаюсь, потому что чуточку щекотно. Над обрывом размашисто вжикает коса — там косит отец. Напахнуло приятным дымком — мама варит уху...

Если бы не ветка рябины, я спокойно работал, готовый к тому, что принесет новый день. Но тогда ненастная осенняя ночь не подарила бы мне воспоминание о самых теплых тропинках, прощальный крик журавлей. Тогда я не услышал бы плач ребенка — будущего мужчины в соседней квартире, не увидел знакомого учителя в единственном на весь дом освещенном окне напротив и не слышал порывы северного ветра с той стороны, откуда прилетает Сиверко, и не ощутил холода предстоящей зимы. Я не увидел бы пронизанную солнцем реку и себя в ней, не подумал о той, что счастливая, с красным букетиком шла ко мне по высокому берегу Межи.

Если бы не ветка рябины, средь ночи не присыпался бы мне долетевший из детства печальный крик чибиса. В малотюковском поле каждое лето мечутся птицы, оберегая своих птенцов, уводят от них опасность. Там, на лугу, играл мой мальчик...

Неужели в том самом месте, где нынче бегают наши дети, злые силы взрывом поднимут огромный адский гриб?

Часто снится мне: под низким грозовым небом тревожно кричат птицы моего детства.

Но деревни давно уже нет. Распаханное на том взгорье хлебородное поле отступает под натиском бурьянных зарослей, заполонивших былье сенокосы. Кто и когда сможет туда вернуться, чтобы возродить праведную деревенскую жизнь? Даже чибисы перестали возвращаться...

Что будет с нами? Что еще произойдет в нашей жизни, на нашей кровной земле? Какие нужны перемены, чтобы главными стали земные законы? Куда уйдет человек безоглядный, если его не окликают чибисы?

## ВЗАИМОСВЯЗЬ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО

По отдаленным районам Иван Сидорович Смирнов, наладчик типографских машин, ездит без малого двадцать лет. Служба такая — не обойтись без командировок, вот и привык, да что там привык, с интересом ездит. Из каждой поездки любопытные житейские новости привозит домой, чтобы рассказать жене, трем сыновьям и пятилетней дочери. Невидный, негромкий человек и работник, а без него в областном управлении по печати не могут обойтись: «Иван Сидорович, пожалуйста, посмотри, наладь, пусти в ход линотипы, станки печатные — газеты должны выйти в срок». Вот и надо по любой погоде ехать, даже в выходные дни, а вернешься — отгулы будут тебе. Но отгулами не умеет пользоваться Иван Смирнов, неудобно как-то: люди на работу утром пойдут, а он, значит, словно пенсионер, у оконечка оставайся. С детства к безделью не приучен; в деревне бездельного отдыха не бывает, а рос он в большой семье, без отца, когда люди возобновляли жизнь после долгой войны.

В этот раз вызвали его на самый край области. Зима еще только начиналась. Уезжал из холодной квартиры, и жена пошутила: отогреешься где-нибудь на печи. Неплохо бы, конечно, полежать в целебном тепле на русской печке...

Купейный вагон порадовал уютом. Думалось, вот и отогреемся, накопим тепла, чтобы хватило на сотню километров от станции до Семина.

— Ну и духотища тут у вас, — в дверях купе, брезгливо скривив губы, возмущался высокий молодой человек в ощетиненной нутриевой шапке. — Очень жарко. Я не могу, понимаете ли. Уступите, пожалуйста, нижнюю полочку. Иван Сидорович поспешил встать:

— Располагайтесь. Я и на верхней, мне еще лучше. Попутчик, оглаживая пышную бороду, смачно зевнул. Сам он по-спортивному стройный, с гордо выпяченной грудью и широкими плечами, а вот руки у него особенные — они показались Ивану Сидоровичу музыкальными. И все в этом молодом человеке было аккуратно, чистенько, со вкусом. Он просил вежливо, вкрадчиво, уже обращаясь к женщине, стеснительно сидящей в уголке возле двери:

— Будьте любезны, раскройте для меня постель. Я очень устал сегодня. Спешка. Суeta. Так не хотелось ехать в командировку. Выходной день. Личные планы разрушились.

— Конечно, конечно. Я застелю, мне это не трудно. — Женщина сняла с плеч пуховый платок, с привычной провор-

ностью принялась устраивать постель для попутчика. Когда он вышел с полотенцем, пояснила: — Из нашего агропрома товарищ, в отделе кормопроизводства работает. Обаятельный, говорят, человек, ужасно интеллигентный. А какие лекции читает — заслушаешься.

— Грамотный, видать что. Но почему у него ногти на руках очень короткие? Привычка есть, ногти-то кусать.

— Ой, на это чего смотреть. Я тоже в детстве грызла. Мама намажет горчицей или перцем — грызи теперь. Так и отвадила. А товарищ на такой работе, сколько нервов надо с этими кормами, всегда нехватка, осенью еще ничего, а как весна подойдет: поезжай по другим областям, солому выпрашивай. Униженье-то какое. — Она могла бы сейчас затронуть все стороны многолетней проблемы кормопроизводства, взяв на себя заботы и этого специалиста. Но он уже вернулся.

— Господи, первый час ночи, — панически заметил молодой человек, взглянув на карманные часики в золоченом корпусе. — На покой пора. Завтра еще столько верст трястись. Спасибо вам, — он поклонился, с артистическим изяществом прижимая руку к груди напротив сердца.

— Ложитесь, Анатоль Вениаминыч. Спокойной ночи. Отдыхайте на доброе здоровье. А я в Мантурове тихонько выйду, не потревожу, как мышка. — Женщина опять закуталась в пуховый платок и отвернулась, чтобы взглянуться в синеву за окном. — Порядочно наснежило. И морозит, морозитшибко.

Анатолий Вениаминыч вяло, невнятно проговорил какие-то утешительные слова и тут же начал посапывать, а вскоре раскочегарил заливистый храп. Иван Сидорович, ворочаясь с боку на бок, завидовал молодому человеку. Мысли приходили разные: заботился о сыновьях, вспоминал капризы доченьки и жену пожалел, потому что устала она ждать его из командировок. А потом про сельские дела, проблемы размышлял — кто об этом не думает теперь, кто не считает себя знатоком. Поезд часто останавливался передохнуть, пыхтел на морозе, снова дергался с места, будто и сам сбрасывал дрему, и пассажиров хотел расшевелить, чтобы они не проспали свою станцию.

Когда поезд, беспричинно вроде бы опаздывая на несколько часов, доскрипел до разъезда Супостатный, в вагоне гулко захлопали двери, загулял сквозняк. Иван Сидорович стоял в коридоре возле окна с единственной тревогой: только бы не ушел автобус на Семино. Анатоль Вениаминыч вышел из купе:

— Как добираться теперь в это чертова Семино? Наверняка лекция сорвется. И назавтра четыре лекции. — Он грыз ноготь на большом пальце.

Хотелось сказать об этой нехорошой детской привычке, но Иван Сидорович только посочувствовал:

— За дела переживаете?

— Надоело все, за три месяца надоело.

— Погода нынче такая. И холода, виши, рановато грянули. В городе и то не успели подготовиться.

— Холода по прогнозу. Командировки плановые.

— Тоже небось по срочному вызову?

— Сам напросился. Инициатива. Мы теперь активисты, идем путями новыми.

— Это хорошо. Для знания дела лучше начинать с отдаленных районов. И не со средних показателей в отчетах.

— А мне все равно с чего начинать. — Анатолий Вениаминович вдруг спохватился: — Ты, старина, тоже в Семино? И тоже в командировку. Из какого ведомства, так сказать, на какие проблемы, на какой прорыв?

С этого и переменился тон разговора специалиста по кормопроизводству: он вновь стал подчеркнуто корректен, вдумчиво подбирал слова, вел четкую линию кровного интереса по коренным вопросам переустройства на селе. Так что разговоров хватило бы, пожалуй, до Перми, если не до Дальнего Востока. Борода у него топорщилась, глаза, карие, игристо подвижные, то суживались, то широко и удивленно округлялись, а голос, мягкий и вкрадчивый, примагничивал слух. Не обходилось без цитат, ссылок на постановления, доклады областных руководителей, иногда вспоминались философские категории.

Он продолжал философствовать и в неуютном холодном вокзальчике, заверив Ивана Сидоровича, что волноваться из-за автобуса не стоит, худа без добра не бывает, если ушел рейсовый, подадут другой, который комфортабельнее. И действительно, в соответствии с его просьбой по телефону через полтора часа перед окнами вокзала развернулся торопливый «пазик». Можно ехать — такси подано. Ехали темнющей лесной дорогой. Анатолий Вениаминович был доволен. Ожидание оправдалось, предчувствие сбылось: леспромхозовский автобус был специально для него задержан на полупути и возвращен в Супостатный. Теперь возбужденный специалист рассуждал, сосредоточив внимание на ассоциативности нашего восприятия, позволяющей ценить самые скромные явления, поступки, предметы, соединяя в единую цепь с учетом диалектического соотношения общего и еди-

ничного, случайного и закономерного, субъективного и объективного, реального и абстрактного, прошлого и настоящего. Иван Сидорович завидовал учености молодого человека, радовался за молодых, которым очень много дано. И тут же провидел будущее своих не очень-то прилежных к учебе сыновков. Он тоже старался говорить обстоятельнее:

— Снег больно рано выпал нынче, давно такого не было. Не случайно старики этот месяц называли «хмурнем». Самый хмурый, самый ненастный, самый мокрый за последние сто лет был октябрь 1952 года, в Москве тогда выпало 143 миллиметра осадков — почти три месячные нормы, — в разговоре ему пригодилась недавно прочитанная статья любителя природы из Судиславля. — Тогда реки вышли из берегов, наша Межа растащила стоговое сено, накошенное и сущеное с превеликим трудом. Большая беда была. А в семьдесят первом году в октябре-то по-зимнему пуржило, через год — опять зима в октябре залиховала, десять лет назад морозы такие стукнули к середине месяца, аж, реки встали. И нынче вот, пожалуйста, опять аномалия, — Смирнов старался иногда ввертывать терминологию. — Одним словом, зазимье. Коров-то бы еще попасти, поэкономить корма, а тут основные рационы подай. Глядите, еще листва на деревьях кое-где пестреет, еще овсы и лен, и картошка неубраные промелькивают. В этой зоне на тридцать безморозных дней в году меньше, чем возле областного центра, вот область наша размахнулась. Поуправляй-ко такой.

— Объявлен ударный декадник. Газеты призывают к активному участию.

— Как же, читал. Нынче зазывать приходится людей, тормошить. А не все относятся с пониманием.

— Индивидуальная работа нужна. Тропинки пора торить к душе каждого человека.

— Вот-вот, уговаривай каждого. Голодные не бывали, слишком хорошо нынче живут на всем готовеньком, — Иван Сидорович повысил голос, сравнивая былье годы с теперешними. — Ходим уговаривать: урожай помогите спасти! А сиверка дует-подувает. Нечего призовов ждать. Выходи, помогай общему хлебу по силе возможностей.

Смирнов думал так: общая беда — выходи каждый, не ожидая персонального приглашения. Житейское дело всегда просто, а вот ученые мучаются философскими вопросами, высматривая причинно-следственную связь, пишут многотомные собрания сочинений, трактаты есть у них, диссертации с поисками ответов на один самоглавый вопрос: как жить? Эка, заковыка. Живи по совести, чтобы другим было

теплее от того, что ты есть на белом свете. Так думал он в соседстве с ученым молодым человеком. Думать-то думал, а не все говорил — не перестаешь бы, не забить хорошую речь другого человека, может в силу своей отсталости не сумеешь заметить, пропустишь мимо ушей самое важное.

Вроде бы получался у них разговор. В общем, не скучали в долгой дороге. Иногда и шоферу молодому задавали вопросы: как, мол, ты думаешь, товарищ, по поводу современного образа жизни на селе? И получали краткий ответ: «А чего, жить можно. Порядок навести мало-мальски, вот и все. Элементарный порядок нужен». Понравилось суждение шофера: верно мыслит парень, порядок ему нужен и, конечно, внимание человеческое, доверье.

— А какой дом тебе по нраву?

— Лучше отцовского не надо. Тепло и просторно. Вода есть, газ — тоже. И на печке полежать можно, — парень тоже, видать, устал от дальних дорог, ему, видишь, родная печка вспомнилась.

Ретивый «пазик» наматывал версты на колеса, и казалось уже, что часам к десяти засветит впереди россыпью огней северное Семино. Но случился непредвиденный прокол. Кто-то бросил на дорогу половину доску с гвоздями — небось, старый дом на дрова разламывали да через проселок и перетаскивали доски, одну в грязи оставили, она вмерзла тут. Вот и пустяк, а задержка да урон какой из-за него.

— Закономерная цепь случайностей. — Прикрыв глубокомысленно глаза, Анатолий Вениаминович скрестил руки на груди. — Я же говорил начальнику, не надо выезжать в воскресенье, зачем, когда перед многою понедельников. Стрекалов не ошибается, Стрекалов предчувствует, — похвалил он себя. — А его не слушают.

— Бывает. В дороге всякое бывает, — успокаивал попутчика Иван Сидорович. — Это мы сейчас. Я по ремонту машин разумею.

Он расторопно помогал шоферу. Но времени протекло порядочно. Запоздали путники. В Семино прибыли в полночь. Холодная тишина вокруг, собаки и те поджали хвосты, не бродят на сквозистом леденящем ветру. Возле гостиницы тихо таилась дворняжка, издали похожая на белого зайца. В вершинах заледенелых берез под порывами ветра звякали блестящие листья. Единственная на всю улицу лампочка на пошатнувшемся столбе постоянно мигала. Командированные, поглядев на уходящий автобус, направились в проулок по ориентиру на белокаменный двухэтажный дом. Он возвышался над обычными бревенчатыми

избами, возле него тоненько тянулась в низкое клубисто-снежное небо жестяная труба котельной. Сидорович заметил, что труба сама-то кривится от холода, даже парок ни единого разу не промелькнул над ней. Может, с перерывами работает, подумалось, может, передышка была, сейчас раскочегарят снова.

Стрекалов, хоть и молодой, но оказался практичным; он был из тех, кто с помощью привлекательной кротости, невинно-слезного блеска в глазах может раздобыть все, что другим раздобыть не удается. Наблюдая за его обходительными поклонами, Иван Сидорович, в жажде покоя и тепла, восхищался этим красивым, бородатым, крепко сложенным мужиком, способным казаться одновременно и самой добродетелью и неудержимо-принципиальной требовательностью.

Дежурная, только что глядевшая из-под двух оренбургских платков, словно оленеводка из мехового одеяния, подобострастно привстала, замерла перед ним с обнаженной седовласой головой, выслушивая обозначенные одновременно в его голосе и вкрадчивую просьбу, и мольбу о сочувствии больному человеку — он даже пофыркал для убедительности ноздреватым носом. Оставив пост за узеньким окном, женщина обещала все сделать «чичас» и засеменила гулким коридором к запасному черному выходу. В распахнутой двери на нее игриво тявкнула услужливая собачонка, но подвернулась под тяжелый валенок и отскочила в сторону, тоненько повизгивая.

«Вот, — вспоследствии отметил про себя Смирнов, — работает взаимосвязь всего происходящего. Если бы не было вкрадчиво-приказной просьбы, хозяйка не побежала бы домой в столь поздний час, не стала бы причинять боль верной собаке, не визгнула бы собака, не потревожила цепного пса у соседнего дома, пес не стал бы грохотать и хозяин с шумом не выскочил бы на крыльцо, не поскользнулся бы, не ударился затылком — не потребовалась бы неотложка, а шофер, превысивший скорость, не перевернулся спецмашину, не пришлось бы ему дрожащими руками вытаскивать через окно испуганную медичку, которая, конечно, не могла вовремя оказать помощь пострадавшему, потому что сама пострадала. Правильно говорил Анатоль Вениаминыч: есть та самая цепная взаимосвязь».

Думал Иван Сидорович так уже на другой день, мысленно соединяя трагические случайности, произошедшие ночью. И в другую цепьставил персональную грелку, символично обозначавшую определенный тип деяний. Дежурная спеш-

но принесла ее, резиновую, голубенькую, ласковую к руке. Торопясь, и сама на бегу разогрелась, разрумянилась, выглядела моложавее. Она пригладила старинной узорчатой гребеночкой седые волосы на пробор и, повторяя «чичас, чичас», накрыла голубую спасительницу вышитой салфеткой, тоже, конечно, из собственного сундука. Поставила на нее тарелку с горяченькими масляными блинами. (Откуда они взялись в такое время — одному богу известно).

— Шелепов, окаянный, у нас опять портачит. Как выходной — уезжает в Доброумовку к матери, а оттуда каково нынче добираться. Вот и молчит котельная. Так-то вроде все в ней исправно, только истопника, видишь, нет.

Дежурная, Зоя Ивановна, провожала поздних гостей из области на второй этаж гулкой гостиницы: в правой руке — огромный зеленый чайник, наполненный кипятком из бурлящего титана, в левой — дары на грелочке. Анатолий Вениаминович, вальяжно покачиваясь, с достоинством нес на широких плечах распахнутое меховое пальто, а тщедушный Иван Сидорович семенил следом, согбаясь под тяжестью похожего на чемодан трубчатого камина.

— Шелепов где-нибудь набормотушился, а стужа будто на грех, — виновато растягивала слова Зоя Ивановна. — Ничего, сугреться можно теперь. Нынче всю уборочную двое представителей проживали, это еще до отопительного сезона, и осень-та мокрая, холоднущая. Я вот и заботилась о них, когда в свой дом поведу ночевать. А теперь домой-то нельзя, молодые там у меня да гостей куча мала. Свадьбу играли...

— Очень хорошо, когда молодые. Жизнь идет, — с душевным подъемом сказал Иван Сидорович, подступая к двери номера.

Пока он, одышливо пыхтя, крутил обкатанный ключ в расхлябанной замочной скважине, Анатолий Вениаминович заговорщики что-то шептал Зое Ивановне. По коридору острыми коваными каблучками выцокивали хихикающие молодки. Сидорович не видел их, но понял: прошли милые хорошие картинно, с желанием, чтобы заметили, оценили. Они явно обращали на себя внимание высокого молодца с пышной бородкой — представительного работника из областного центра, который бороду носит для солидности да скрытия рановато начавшего отвисать подбородка.

— Ба-а, Ниночка! И вы здесь?! Очень даже мило с вашей стороны, очень даже прелестно. — Стрекалов попытался изобразить красивый поклон, забыв что пальто на нем распахнуто, — получилось неуклюже, будто усталый петух распустил крылья.

— Ну что же, ты Анатоль, удивляешься? Куда вы — туда и мы. Неужели не нравится? — Ниночка игриво качалась на месте, будто заводная кукла и, приложив руки к пышной груди, пожаловалась: — Ох, замерзаем в одиночестве. Понимайте.

Иван Сидорович наконец-то выявил секрет расхлябанного замка, распахнул дверь в холодный сумрак, нашарил выключатель. Стрекалов недовольно бурчал, протискиваясь в дверь и оттесняя технаря к шифоньеру, быстро сориентировался в обстановке:

— Тэк, значит: мы — слева, вы — справа. — Он выдувал белесые волны, повисающие в пространстве, замкнутом бетонными стенами. — Известно, бетон этот не просто холдит, а коварно излучает. М-да. Имейте в виду, — он облизывал масляные губы — горяченькие блины упорхнули под растопорщенные усики. Зоя Ивановна уходила с пустой тарелкой.

Анатолий Вениаминович активно располагался, словесно обозначая, чтобы слышал сосед по номеру, куда и что он кладет, ставит и почему это так нужно делать.

— Кровать перетаскиваем ближе к коридорной стене — у деревянной стены уютнее, но ставим так, чтобы розетка была поблизости. Грелочку голубенькую сразу под простиночку. Тэк, наполнить надо ее. Иван Сидорович, если не трудно, заправьте голубушку. И чаек надо. Заварочки у вас не найдется?

— Как же, имеется. Без чаю в дальних дорогах нельзя.

— Вот и хорошо. Разливайте. Я сейчас. Хх-и, не так ведь она произносит. «Я чичас!» Вот серость деревенская.

Вениаминович подготовил для себя гнездо: кровать возле теплой якообы стены, единственная настольная лампа над подушкой, распузатевшая грелка под одеялом.

— Что ж, почаевничаем, тэк?! — Вениаминович потирает гибкие руки, жадно пьет согревающий напиток с домашним печеньем Ивана Сидоровича. На черной бороде, на длинных девчоночных ресницах и даже на высоких залысинах его будто бы индевеет испарина. Печенье, мелкая сушка, яблоки, кружочки колбасы — все летит в золотозубый бородатый прогал.

— Дети у вас есть? — ни с того ни с сего будто бы спрашивает Иван Сидорович.

— Э-э, Сидор. О детях ли надо теперь думать. — Анатолий довольнохонько покашлял в кулак. — Ложись-ка ты, старина, спать-почивать.

— Пора, конечно. Работно завтра. Поставлю на ход линотипы и — домой.

— Кто ж так спешно ездит в дальние командировки? Э-э, Сидор, не учишься особенности момента. Не наскоком надо, а с полной отдачей, основательно, с приработком.

Не трудно было заметить: за время совместного пребывания Анатолий Вениаминыч несколько раз менял стиль своего поведения и манеру речи. «Увертливый какой, — подумал про него Иван. — Не поймешь, чего из себя представляет на самом деле, что у него за душой, ради чего ездит».

Дверь с протяжным скрипом приоткрылась, и седовлая дежурная призывным жестом подозвала к себе Вениаминыча, украдчиво сунула ему в руки свернутую трубочкой электрическую грелку. Он тут же спрятал ее в постель и, приспособив к розетке тройничок, вткнул штепсель.

— Не пропадем! — бодро сказал Стрекалов, выпячивая упругое пузцо.

Смирнов определил, что спортивный костюм лучше не снимать. И куртку свою, капроновую, легкую, шумливую, расправил поверх одеяла. Осторожно, словно в прорубь, влез в холодную постель.

— У нас, кажется, был камин? — неуверенно произнес он, укрывая голову полотенцем.

— А вот это ни к чему. Запаха не переношу. Голова у меня, понимаете ли. И сердце к тому же. — Анатолий Вениаминыч пустил в ход часть своего защитного арсенала и для убедительности выложил на тумбочку капсулу с валидолом. Одну таблетку пихнул под язык. — Понимаете, Сидор, я очень нуждаюсь всегда в свежем воздухе, — теперь по-новому картавя, говорил он. — Эта кабинетная работа неизбежно порождает кислородное голодание. — И вновь мудрено повел рассуждения с использованием цитат. Глаза его заблестели, потому что покрылись вдруг чем-то похожим на слезы. — После длительной паузы добавил: — К сожалению, в нашем номере всего одна розетка.

Оно и видно. Гррейтесь на здоровье. Мы и так. — Иван Сидорович еще глубже скользнул с подушками под одеяло, свернулся, как в детстве, калачиком. Но зазываемый сон долго не приходил. Вспоминалась долгая дорога. Теперь он видел ее отчетливо, в подробностях. Его мучала дрожь, он сам вздрогивал как тот леспромхозовский дребезжащий автобус, прыгающий на выбоинах и кочках. Потом прокол, надо менять колесо. А запаски нет. Придется «слагаемые» переставить, чтобы можно было ехать дальше: проколотое переднее колесо пойдет на задний мост, а снятое с заднего — на передний. Но домкрат не подставишь, подступиться

невозможно. Иван Сидорович находит в лесном закрайке слегу, подкладки. Автобус они вывесили вдвоем с парнем. Анатолий Вениаминыч ходил поблизости, осматривал перелески, отыскивая сладкие плоды шиповника, пробовал рябину. Конечно, заранее предупредил: «Ребята, вы давайте одни. Я в этом деле ничего не смыслю. Свою «Ладу» на техобслуживание поставил давно. Да сегодня у меня чего-то пальцы в суставах ноют. И сам на таблетках тяну». — Тогда он впервые продемонстрировал игру с таблетками, пихнув две сразу под язык. Но вытеснил обе в краешек губ на бороду, резким рывком головы стряхнул — к самому колесу и подкатились они. А колесо это как раз освобождал деловитый технарь Смирнов...

Съеженно и затаенно дыша, Иван Сидорович принуждал себя ко сну.

Анатолий Вениаминович ходил на цыпочках по комнате, куда-то собирался. Ушел, бесшумно прикрывая дверь. И чемодан-камин унес. Настольная лампа грела его подушку. Персональная «голубушка» утепляла место для ног, а электрическая грелка обласкивала место для натруженной спины. Через некоторое время он явился с проверкой: какова обстановка в номере, все ли на месте. Пользуясь миниатюрным кипятильником, которым обычно Иван Сидорович кипятит чаек в стакане, нагрел воду в чайнике и, вылив «отстой» из грелки, снова заправил ее, заботливо пихнул под простыню.

Долго из соседнего номера слышался его влажновато-ласковый голос и счастливый хохот развеселой Ниночки. Где-то на первом этаже неуемно плакал ребенок.

Иван Сидорович вспомнил приоткрытую дверь в котельную и все сказанное дежурной. Встал, торопливо оделся, взял из сумки свои профессиональные удостоверения, подтверждающие, что он, Иван Сидорович Смирнов, и мастер-наладчик типографских машин, и слесарь-сантехник, и электрик, и кровельщик, и специалист по котельным установкам. Сумел при помощи этих «корочек» заверить Зою Ивановну в своих способностях растопить котельную. И даже написал расписку: «По своей инициативе берусь пустить в действие локальную систему отопления гостиницы «Северная». Принимаю на себя полную ответственность». Расписался разборчиво, красиво: И. Смирнов. Зоя Ивановна проводила его, показала, где и что надо взять. Очевидно, она не раз помогала подгулявшему Шелепову исполнять обязанности истопника.

Через час в коридорах гостиницы запахло теплом, запотевало, зашипело в трубах. Когда Иван Сидорович

приходил трогать трубы чуткими заскорузлыми ладонями, подмигивал Зое Ивановне: видела, мол, как, а ты не доверяла, боялась. В номерах было тихо. Даже ребенок больше не капризничал. Смирнов, чтобы сбросить с себя усталость, подремал в котельной и к концу седьмого часа наведался в номер. Анатолий Вениаминыч сладко спал, приставив к пунцовыми губам пухлый указательный пальчик с коротким обкусанным ногтем. Над ним, все еще одаривая теплом, горела персональная настольная лампа.

Пора было идти на работу. Белизна свежего снега слепила глаза. Дышалось легко. Встречные, узнавая Сидоровича, кланялись: «Опять к нам в гости... Молодец, не забываешь». Один просил зайти посмотреть стиральную машину, которую никак не сумели отремонтировать в КБО, другой благодарил за ремонт телевизора: «Спасибо. Теперь без помех работает».

В типографии его, конечно, ждали. Возле линотипов пришлось повозиться, но ничуть не больше обычного. Линотипистка Ольга Нестерова с благодарностью угощала его домашним горяченьким супом. Такая она заботливая всегда, сама-то в большой семье выросла и своих детей тоже пятеро, вот и не заглохло в ней добродушие. Вообще, думал опять Иван Сидорович, народ здесь простецкий, доверчивый.

— Может, Иван, ты и лекцию нам прочитаешь? Давай-ка уважь народ, — весело говорила Ольга. — Обещали свежего лектора, а он чего-то не явился вчера. Полтора часа ждали.

— Добираться-то к вам, девоньки, каково?

— Это верно. Тяжелый к нам путь. Так мы ли в том виноваты.

А в обеденный перерыв собрались работницы типографии на обещанную лекцию. Иван Сидорович тоже полюбопытствовал.

В пальто нараспашку, торопливо извиняясь, гулко проторпали коридором разгоряченный Анатолий Вениаминыч, читающий в этот день по линии общества «Знание» для жителей отдаленного райцентра лекцию о человеческом факторе. Слушали его с деликатным вниманием, а Иван Сидорович даже при особенном напряжении: наверно, опять будет упоминать ассоциативность восприятия, связь между самыми безобидными явлениями и фактами, которые вольно или невольно отражаются на отношениях между людьми.

Иногда, отвлекаясь от написанного, лектор пробовал грызть ногти, но, спохватившись, доставал носовой платок и долго прочищал широкие ноздри. Пауза эта ему была нужна

для того, чтобы собраться с мыслями, привести их, так сказать, — это по его выражению, — в стройную последовательность ради главного вывода: надо перестраивать сознание, менять отношения друг к другу, культивировать всеобщую доброту, так сказать, пора начинать обеспечивать гласность, идти на компромиссы, искать консенсус... и не допускать сомнительной альтернативы, культивировать плюрализм.

— Я позволю себе зачитать одну мысль. Вот послушайте, — просил лектор. — Явная демонстративная доброта является компенсацией тайного зла.

— Это верно сказано, — подтвердил Иван Сидорович. А когда разрешено было задавать вопросы, он встал по всей форме и спросил:

— Скажите, пожалуйста, Анатолий Вениаминыч, как нынче складывается кормовой баланс в отдаленных районах области, какие рекомендации вы даете местным зоотехникам?

— Извините, Сидор... как вас по отчеству? Мое время истекает. Ваш вопрос не по теме. И к тому же для данной аудитории...

Он развел руками, уходя с временной трибуны, осуждающе покачал головой:

— Без демократической просвещенности, уважаемые, нашу серую жизнь не перестроить. Много и терпеливо надо всем работать в этом направлении. Жаль, мне очень жаль, — сказал Анатолий Вениаминович от порога и ослепительно белым платочком обхлопал пунцовые щеки. — Да, работать и консолидировать...

Одна из типографских девчонок, видимо, самая смелая, поблагодарила:

— Спасибо, просветили. А то, видите ли, живем словно темные бутылки. Работать работаем, а ради чего и для кого — не знаем, взаимосвязь всего происходящего осмысливать не умеем.

— Не трудно осмыслить, — не удержался Иван Сидорович. — Все идет как в басне: одни работают, другие таращатся... А им, таращающим, наша коммунистическая покорность по-прежнему нужна, шикарные привилегии повсюду подавай...

## ПОСЛЕДНИЕ СКАНДАЛИСТЫ

Предпраздничные дни выдались погожие, солнечные. Без особых трудностей собралась городская сестра, без глубокой печали проводил ее до станции Василий Терентьевич Тяпышев. Не было у него волнений и на обратном пути, хотя добирался на перекладных. Бывает же такое везение: с одной попутки на другую без томительного ожидания пересаживался. Недолгой была задержка и на последней развилке-поворотке. Только устроился в прохладном тенечке на передышку, его окликнули:

— Эй, старина! Иди, подвезем, если дорогу покажешь.

— Не просто так, значит, а за услугу. Виши вы какие, — не выказал он поспешную готовность по своей привычной рассудительности.

— Раньше, говорят, тут бездорожье было... — Здоровенный мужик стоит Гулливером. Одет по-дорожному: защитный костюм на нем, компас вместо часов на левой руке, сапоги тоже зеленые, фасонные.

— С разведкой, значит, по нашим углам? Геологи небось?

— Так точно, разведываем. А ты, дедок, вроде клюнувшись слегка.

— Тяпышев буду, Василий Терентьевич, — скакивил в ответе, не признался, что пару стопок красненького пригубил на станции, — еще не возьмут выпившего пассажира.

— Ну, будем знакомы. Константин Иванович Слепинчуков, — великан протянул руку помочи — помог выбраться из-под куста.

— Один для нас путь. В тупике живем. Правда, заречной дорогой на вездеходе и до райцентра проскочить можно. Аксеновские разрубы там...

— Вот как раз к разрубам этим и надо. Пошли, пошли, старина. Пойдем, свет Терентий.

— Слыши, чего скажу. — Тяпышев выбирается с подмогой на обочину и, привстав на цыпочки, гордо тянется перед великаном. — Василий Терентьевич я, родом из Костромихи. И не какой-нибудь старина. Это я сразу предупреждаю. Поехать поеду, но, милые товарищи, только без панибратства. Такое не терплю.

— А вот сейчас вижу, что стариной назвать нельзя. — Великан вежливо повинился, широким жестом пригласил в блестящую необычно длинную машину.

Тяпышев узрел, что переднее сиденье свободно, и сразу же юркнул туда:

— Вот как подфартило! Прикачу этаким фраером домой, пускай соседи ахают, дружок Полинаху присвистывает.

В машине густо всхочотнули мужики — трое, кажись.

— Вот теперь порядок! Свой проводник. — Константин грузно втиснулся, осадил машину. — Можно ехать.

— Поезжайте, дорога-то лентой белеет. Жара нынче, давно дождей не бывало. Сушит и сушит. Цветенье изнывает — это плохо, перемочка нужна, — начал было рассуждать Василий, но незнакомцы его не слушали, бубнили меж собой.

— Своим-то ходом Сидоров может за реку? — отчетливо произнес главный среди них — великан этот.

— Про которого Сидорова? — Встрял Василий Терентьевич. — Не из Аксенихи он будет? Евлампия Сидорова сын? Говорят, шибко зарабатывает и такую же машину собирается купить...

— Нет-нет. Местных в нашем отряде не числится — противопоказано.

— Все дальние, значит. Бывалые ребята, как погляжу. Культурные да на таких машинах к нам редко пока залетают.

— Всему свой резон, папаша. И — свой момент.

— Неспроста, значит, не кое-как. — Тяпышев погладил надбровный шрам и замолчал. Укачивало на зыбкой дороге, клонило в сон, да и не хотелось надоедать людям, нацеленным на какое-то серьезное дело. Они, эти люди, поглядывали на стороны, словно бы оценивали местность по своим особым приметам. Невзрачные придорожные перелески привлекали их наличием липняговых куртинок.

— Медовые места, ребята. Запах чувствую, — говорил старшой, потирая пухловатые, должно быть, влажные руки.

— У нас так об эту пору, только нюхай, — возгордился Тяпышев. — По-каждому волоку липняги, по каждой ложбине. И по деревням есть. Липовые рощи, аллеи, так сказать, тоже кой-где имеются.

— Особенный древостой — особенный микроклимат. Флора и Fauna привлекательная, — вроде бы по-научному говорил великан. — Липовый цвет, зверобой, тысячелистник, калган, прочее лекарственное сырье.

И снова примолкли, так до отворотки ехали. А знакомство состоялось. Тяпышев показал им дорогу на Аксениху, объездную, что проходит неподалеку от его родной деревни. На постой даже приглашал, если долго в работе задержаться эти культурные ребята:

— Не чурайтесь. Переночевать или мало ли что. Потолкуем. С дружком своим Аполинахой познакомлю, тот раз-

говористый, все места в разнообразном интересе досконально знает, по любой визире провести может.

— Ладно, ладно. Заглянем при необходимости.

— Поджидаст стану. Ну, счастливо, ребята. Левой стороны держитесь. Там видно, что вдоль реки ехать надо на Аксеновское взгорье. Там лет пятнадцать назад геологи тоже бурили-сверлили.

До поселка своего Василий Терентьевич скорехонько дотопал. Привернулся в столовую выпить кружечку пивка за компанию с лесорубами, сообщил собеседникам, что вроде опять нагрянули геологи-изыскатели. Домой-то и запоздал, к дружку Крупинову не зашел побеседовать...

## 1

А дружок Василия — Аполинарий Григорьевич Крупинов, поругивая жену Валентину, даже к родительской субботе невернувшуюся из города от дочерей, одиноко скоротал вечер. И ночью плохо спал в ожидании нового дня, который намеревался прожить легко и празднично при душевной поддержке закадычного друга. Но управил утренние домашние дела и в раздумья пригорюнился, не хотел никуда идти. Некоторое время сидел на крыльце, опираясь локтями на колени. Теплый ветер иногда перебирал редкие волоски, затаскивая их с висков поперек лысины; шевелил мягкую нежную траву в палисаднике. Вот ведь трава, думалось вроде бы беспричинно, была вечером примята, а обласкало солнечным ветерком — взбодрилась опять. Повсюду она так. Топчем, прикатываем тракторными гусеницами даже, которую и косим два раза в лето, все равно растет. Там, где и не было ее десятки лет, где дом, например, целый век стоял... а убрали, порушили его, смотришь, одворье бурьянном затянуло. Бурьян уломается, отживет свое — сменяя одна другую, разные травы будут расти...

Родное одворье в Костромихе так же вспомнил. Тоскливо стало на душе, будто вот случиться чего должно — предчувствие такое. А предчувствиям своим Аполинарий в последние годы доверял все чаще. Он решил отдохнуть, тяжело поднявшись по ступенькам, пошел в избу. Ой, да какая это изба?! Лесопунктовская квартира в бараке на четыре семьи. Соседи в разбеге, поговорить не с кем. Дружок где-то в разгуле. Тихо, никто не стукнет, не брякнет.

Устроился на диване перед распахнутым зарешеченным окном — не специальная сетка, не марля, натянутая на рамку, а обыкновенное решето от старинной веялки в раму встав-

лено, потому что как раз подошло. Тут, на свежем воздухе, по утрам и в полдень приятно вздремнуть. Аполинарий будто бы на ласковых волнах переплывал в воспоминаниях к родной Костромихе. На просторном лугу средь полей, распаханных к лесу, по-прежнему красуется стройная деревенька.

От нарядного, общитого свежим тесом, крайнего пятистенка начинается липовая аллея, посаженная в первый колхозный год: отец Григорий Митрофанович, избранный председателем, придумал коллективную общинную посадку на память, потому что пчеловодством планировал заниматься. Видится, как над вершинами мечутся чем-то обеспокоенные ласточки, еще выше, под самым облаком, похожим на парусный корабль, отчетливо трепыхается жаворонок, но без песни почему-то, может, не слышно издалека. Небывалый в этих местах тяжелый гул накатывает со всех сторон по окружному лесу. Уже понятно: железнодорожные составы грохочут. В прогалах лесных можно разглядеть вагоны, груженые всяческим строительным материалом. А на вагонах сидят костромихинские мужики, ныне здравствующие да проживающие на чужой стороне, и те, что не вернулись с войны. У всех плотницкие топоры, так и перекликаются солнечным блеском. Едут мужики, чтобы отстроить, возродить Костромиху, порушенную коверканным житьем...

— Полинаха, вставай! Виши, разнежился. Как без тебя в такой день? Отдохнул маленько и ладно, будет. Вставай, земеля, негоже долго спать в родительский день.

Вздрогнул Аполинарий, сообразил что к чему и признался:

— От скучи прилег, а вздремнулось — не полегчало.

— Без меня тебе завсегда скучно. — Василий Тяпышев прилип щетинистой щекой к ржавой сетке. — Вечор с докладом планировал — не явился. Опосля думаю: не помешать бы. Ты ведь не одну неделю холостякуешь, молодайку бы не спугнуть с твоего крыльца.

— Холостякуешь тут. Из рук все валится. — Полинаха кое-как раскачался, встал с удобной лежанки, приплюнул на ладонь и обгладил всклокоченные, словно у младенца, волоски.

— Сам на бессонную стезю попал. Не знаю себя куда деть. — Тяпышев потер красный фронтовой рубец на лбу.

— Заходи поскорей, Василий, в мой бобыльский неуют. Может, и придумаем чего для душевного облегчения.

— Неплохо бы. В продмаг разве привернуть заодно? А, Полинаха?

— Приверни. Прыток на ногу, мигом слетаешь. Не бойся, расчитаюсь в день приезда Валентины, — Полинаха ска-

зал с уверенностью: дружок не откажется, безденежным он никогда не ходит, кошелечек тугой имеет — привычка мелкотой бумажной набивать. — Захвати порожняк, может, примут штук десять! — запоздало кричит он. — Вишь, исполнительный какой, на полном газу сорвался впропрыжку порученье исполнять.

Полинаха долго глядит в окно, мыслю возвращается в прошлую жизнь: было много разных интересов. Строились с Василием в одно лето, помогали друг другу, одной заботой с весны до поздней осени жили. А уж потом, когда в хозяйствах все оказалось приложено к месту, каждый своим ремеслом занялся. Тяпышев лапти плел, валенки подшивал, иногда охотничал на приволье, а он, Полинаха, деревню снабжал санками да корзинами. Намерзнутся, намаются в глубоких снегах, доставляя из-за реки сено для колхозной скотины, и — по домам, но не на печи греться под боком у женушек, а в уголок, где мастерская приспособлена для ремесла, пилить, строгать, дратву ладить. Вроде и не тягостно. Ребятня рядом вьется — отцовское ремесло не лишнее. Опосля получилось не так: им оно ненадобно — как восьмилетку который осилит, поехал другую жизнь искать. До сих пор обидно от того, что дети от родителей по сторонам разбежались.

Расстроенный Аполинарий Григорьевич встретил дружка вопросом:

— Ты как считаешь, обидно нынче нам или нет?

— В чем дело? — навострился Василий. — Ты чего, Полинаха?

— Обидно. Мы тут, а земля наша где? Я здесь вот как нажился! — Аполинарий резанул ребром ладони по выпуклому кадыку. — Уют этот казенный. А тебе не обидно?

Тяпышев, жилистый низкорослый мужичок, всегда отличался терпеливостью, выдержанкой, не торопился с ответом.

— Обидно, али нет. Еще как обидно, — признался он. — На старости лет деревенские жители квартиросъемщиками стали. Прихватизаторы теперь — только и всего. А мы для жизни при пахотной земле предназначены.

— Теперь уж неходить за плугом. Пахоту не поминай — забурьянило, мелколесьем забило. Лучше про охоту или рыбалку скажи. Бывало у реки-то на зорьке сидишь сам себе царь природы. А щука ворохнется в травнике, булькнет — аж сердце замрет. Или голавли наплытом по всей реке пойдут — с обрыва хорошо видать. Вода так и кипит от скопища рыбного.

— Помнишь, Полинаша, молотилку новую привезли? Рожь-то как радостно молотили. Хороша рожица была. На

трудодни досталось. В каждой избе солоду понаделали. Пивко варили какое!.. А помнишь, овин горел, так в огонь кидались хлебушко спасать. — Тяпышев опять прикоснулся к шраму на лбу.

— Возле Хмелевки тот год и пшеница хороша набралась.

— Нету Хмелевки. Ни сарайчика не осталось. Растили спешные ликвидаторы. Еще недавно в хмелевском выгоне кони у меня гуляли. Какие были кони! Любота! Покаталися, будет. Терпите, ребята, при многих утратах. Эх, милые, родные! — басил Тяпышев, дергая изломанной бровью, встряхивая приподнятыми перед собой руками, будто держал вожжи. — Эх, залетные! Прокачу милашку с ветерком! Запевай, милашечка, звонку песню радости!

Полинаха наоборот говорил все печальнее, все тише:

— За скотиной ходили душевненько. Овцы, к примеру, в крестьянском дворе. У каждой матки четыре-пять ягняток.

— Нынче скотину тоже умеют держать. Это нам с тобой на новом месте все не так да несподручно. Сами другие стали — вот в чем вопрос, не ту политику к нам исхитрили. — Тяпышев горделиво откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и голову горделиво приподнял. — Деревенский жительшибко переменился — ему вленено меняться. Ты, дружок, на себя взгляни: живешь вроде отряселка.

— Это верно. Кто мы в поселке теперь? — по-своему клонил разговор Полинаха. — Разве хозяева? Иждивенцы одни повсюду. И всякий, кто про свое лишь выживанье думает, есть иждивенец.

— Так-то мы с тобой слишком много иждивенцев насчитаем. Это уж ты переборщил, Аполинарий Григорьевич. Те, которые правят, тоже, значит, иждивенцы? А ладно, все равно не перебрать наши беды. Давай-ко родителей поминать — такой час по празднику пришелся.

Крупинов тоже на все махнул рукой, взбодрил свою стать, но прежде чем пойти на кухню, чтобы закусочки принести, как-то придилично оглядел Василия, заприметил неладное в его одежде и рассмеялся.

— Ты чего, чего ржешь-то? — беспокойно спросил Тяпышев.

— Так я тебе и сказал, где ночевал, — отшутился Полинаха и тут же исчез за перегородкой.

— Женушка твоя коли приедет из города? — на всякий случай спросил предусмотрительный Тяпышев.

— У нее спроси. Адрес дам — спроси ласково, мне потом скажешь.

— Да-а, нынче бабы что хотят, то и воротят, куда хотят — туда и едут. А наш брат домовничай, — медленно с растягом говорил Василий, чтобы не сидеть в пустой тишине.

— Шевелись, Полинах. Времечко летит. Лишнего не придумывай, неси по куску хлеба да по картофелине.

Полинаха, привыкший все делать обстоятельно, вынес на двух тарелках рядочки ломтиков копченого сала, лучок с огурчиками, мясцо отварное и картошку жареную, а при ней мелкие груздочки — синеватые кругляши, искусно приготовленные.

— Нам спешить некуда. Посидим, старики помянем, — рассуждал Крупинов, наводя порядок на столе, а сам думал про недавний сон, о тревожном утреннем предчувствии. — Ты раздевайся, снимай пиджак-от.

— Теплее в пиджаке. И по фасону. Приличие, значит. — Василий придинулся к столу. — Культура, нагляделся на этих культурных. И зачем они по деревенскому безлюдью теперь ездят, чего еще добирают?

— Ездят, им все надо. Новый подъем Нечерноземья начался, видать, землю начинают расхватывать. А ты уши прижми и помалкивай, тебя не спрашивали и не спросят. А вякнешь — оглоушат... Чего ждешь-выжидаешь? Разливай, если принес. Это нам пока разрешают, это зелье, пожалуйста, только потребляй — быстрей подохнешь.

— Ну, ты не груби, Полинаха. Ты ведь не такой. Да и грешно сегодня серчать. Сперва не об том наша дума-печаль. — Василий осторожно наполнял рюмки — те, что только по большим праздникам на стол выставляли, небольшие они, аккуратные, на тонких ножках. — Григория Митрофановича да Серафиму Павловну, Терентия Леонтьевича да Любовью Захаровну грешно не помянуть. Терпеливые были при всех бедах. Совесть имели...

— Поработали старики. И прощать могли. До последнего часу в заботах. Мама говорила: вот подниму ребят, выпишаю в люди, погляжу как в жизнь наладились, тогда и помирать можно. Восьмерых подняла. На войну трое пошло вслед за отцом... А дождалась одного Полинашку.

— Любовья Захаровна с ней в одном поле, на одной пахоте, в одних оглоблях. Под одной тучей... Земля пухом и вечная благодарная память...

Аккуратно, с вилочек, закусывали, вытирали губы бумажными салфеточками, как в былой хорошей столовой.

— Да-а, подумаешь: может так-то нас некому будет помянуть. — Тяпышев достал заграничные яркие сигареты, но сморшился и закуривать не стал: очень хотелось при такой

выпивке махорки обыкновенной или крепкого самосада, того самого, под который бывало лучшую грядку выделяли на своем огородце. Гордость и достоинство давал домашний табачок.

Казалось мужикам, что раньше все было ароматнее, крепче, приятнее. Прошлое стойкими запахами возвращалось к ним с памятных грядок, с лугов и пашен, из зарослей липняга, из оврагов и березовых перелесков, от старых отцовских изб, амбаров и банек, от овинов, конюшни, кузницы, даже от первого трактора, который проезжая деревней, на чадил на целый месяц. В прошлом и морозы были ядреней и снегопады обильней, и грозы страшней. И общие гулянки песенное согласие давали.

В напряженной тишине они оба отчетливо слышали неровное тиканье: часы словно бы прихрамывали в медленном шаганье по остаткам житейского времени.

## 2

Тяпышев надумал преодолеть тягостное молчание, взмахнул усталой рукой и выбрался из-за стола:

— Играй, Полинаша, плясовую, если гармонь не рассохлась! — Достал хромку с шифоньера, вручил приятелю. — Играй веселей!

Он распахнул великоватый пиджак, вздернул коверкную бровь и начал дробить, не дожидаясь, когда гармонист приладится с мелодией. Лихо плясал — и на это мастер Тяпышев. Так плясал, что стены дрожали, стаканы с квасом волновались на столе и переборка ухала.

Позавидовал гармонист — и ему дробить захотелось:

— А теперь для меня играй! — разгорелся Полинаха. — Мы тоже можем.

Тяпышев согласился, но поставил условие, зная, что Крупинов по-хорошему петь не умеет:

— Только с приговорочками, понял? Начали!  
Полинаха топчется на месте — ловит мелодию, подбирая частушку:

Б Костромиху мы ходили,  
Ой, не показалось:  
Там всего четыре девки —  
Нам и не досталось.

— Правильно, правильно! Совершенно верно! А парень молодой, оченno примерный. — Выкрикивает Василий, встряхивая плечом.

— Не части, Вась. Под ногу подлажайся, а то издергашь натуру.

— Топай, парень, смелей. Топай да частушки встреливай.

— Спою, когда на ум придет.

— Веселее, ну! Подыграюсь — не бойся! — Тяпышев уже сам был готов запеть, мычал над гармонью, давая дружку времени собраться с мыслями, но все-таки не утерпел:

Погуляй, моя красотка,  
По полям, по просекам.  
До глубокой осени...

— Иэ-эх! — подхватил Полинаха — да и сам обрадовался, что к месту.

До глубокой осени  
По полям, по просекам!  
А потом засватаю  
Милую брюхатую.  
Ха-ха да ха-ха,  
Ой, хихи-хахаха!

— Лихо, парь, получается. Сейчас распоеемся, весь поселок взвеселим. Давай-ка нашу с переборами! — растягивая бело-красную гармонь насколько позволяли руки в полном развороте, Василий широко вышел на крыльцо, резанул мощно сормовского-походного. Полинаха в боевой веселой готовности предложил:

— Пройдемся в нашу сторону, по всему волоку гаркнем!

— Давай врежем, как бывало. — Тяпышев был когда-то мастаком водить ватаги под хорохристое пение. И запевать умел. — Эй, го-во-рят, что запретить по этой улице ходить... — он выиграл витесватый перебор, снова скособочено рванул гармонь во всю ширь. — Иэ-эх, стены каменны пробьем — по этой улице пройдем!

Полинаха так же напористо и широко вышагивал рядом, расправляя грудь, вскидывая сжатые до белизны кулаки, выкрикивал нараспев:

Эх, пройдем и пропоем...  
Пробивали, проходили  
мы с товарищем вдвоем!

Бодрое пение придавало сил, частушка объединяла, роднила, как братьев, и возвращала им давнее ухарство, разгульный азарт. Сами себе они казались моложе, увереннее, будто все еще впереди. Свое слово, русское, родное, от которого они вроде бы начали отвыкать под натиском телевизионной говорильни, родное вольное слово очищало

душу. Простор, знакомый и ласковый, раскрывался перед ними, заманивал дальше и дальше на лесное взгорье. Теперь мужики не спорили, кому первому запевать, само собой получалось чередование. Разыгралась гармонь, распелась душа, начала озоровать:

Не выглядывай в окошко,  
Тетка — щучья голова...

— Стоп, стоп. Это не надо. Старухи услыхать могут — в магазин за хлебом не пустят охальников, — спохватился Полинаха, приобнял друга, словно помог ему сжать расхорохенную гармонь. — Ай, да все равно! Играй веселей, пой, чего хочется. — И снова заливисто рассмеялся. — Гулять так гулять. Отдохнет душа, воспарится.

Солнце скатилось за дальние хвойные гривы, но небо озарено ровным ласковым светом. Ни единого облачка на нем, ни единой паутинки. Во всем мире будто бы тишина и благодать, только и слышишь собственное дыхание. Кажется, не идешь, а паришь над дорогой. Вот так же в детстве было: вдруг окрылит какая-то легкость, ни с того ни с сего нахлынувшая радость и трепетно смотришь вокруг, все узнавая, понимая, любя.

Мужики не спрашивали друг друга куда и зачем идут, не успели заметить расстояние, которое миновали. Кирзовье сапоги стали скороходами, помимо хозяйствской воли несли над лужами, иногда отражающими розоватость заката, над глубокими тракторными колеями, над развороченными мосточками и даже над окраинным осиновым лесом, за которым начинались забытые поля. Друзья легко и незаметно прошли весь волок, не успели ни о чем обстоятельно поговорить. А выкатили в простор и встали, чтобы отдохнуть, оглядеться.

— При такой земле как жить дальше? — вдруг спросил Полинаха и тем самым остановил, словно вожжами дернул, шагнувшего вперед Василия.

— О чём это ты? — Тяпышев притворился непонятливым — это он умеет, пройдоха. — Опять, что ли, вспомнил как ехал в телеге без колеса. Ай, пропадай моя телега...

— Про жизнь нашу. Отчего она пошла кое-как, не прямо, а зигзагами обманными по чужому хотению. Отцы-то деревню на кого оставляли? А мы что? Что с ней, с Костромихой, сделали? Предали — и все! Не притворяйся, что не чуешь своей вины.

— Вина, конечно, есть. Но чьей больше — тут подумать надо: правители дров наломали или мы дуг нагнули? Не к месту ты, Полинаш, заладил опять. Неуж для этого собра-

лись. — Тяпышев приладил половчее гармонь, тронул две-три кнопочки голосистые да тут же руки в стороны раскинул: — Гляди-ка, хозяин мастеровой, трои вилы на одной березе выросли! — радостно удивился он, довольный собой, что и в сумерках надобность хозяйствскую выглядел. — Чур, моя! Понял? Сколь раз мужики проходили, мы с тобой тоже, а не замечали. Хотел ведь топоренко на всякий случай взять. Так всегда и получается: печка лечит, а дорожка учит. На печи-то ничего не вылежишь.

— Это уж не к месту сказанул. И про топор с утра ты не думал. И береза не такая привлекательная... — Полинаха не договорил, догадавшись, что Василию при слабом зрении с похмелья могло привидеться в каждой ветке по вилошине.

— Надо же. На тебя, Полинаха, как на мою Нюрку, не угодишь ни делом, ни словом.

— Анну свою не хай, она баба мировая: вишь, ретузы синенькие в голубинках подала навсегда тебе — своих не пожалела. Подшибты вроде, а то утонул бы по уши в ейном размере.

Тяпышев панически оглядел себя:

— Ой, раскорюка, правда ведь, в бабиных штанах вылупился. Пиджак длинный, из-за него не видать. Как сидел на солнцепеке в палисаде, так и покатил, про тебя размышляя.

— Во-во, спохватился и самому весело стало, поди. А я давно любуюсь: больно на пляске ндравился ты мне такой петух. Небось думал, я просто так для припеву хи-хи да хаха выкрикиваю. Когда ты слыхивал от меня беспричинные выкрики?

— Постой! В продмаг, значит, тоже эдаким манером бегал?

— Не иначе. Сразу и не углядел — не сдокументил откуда у тебя такой вид фасонный А ты в продмаге выступил, чай, солидную речь держал перед бабами?

— Народу полно было, густо стояли. Не могли разглядеть. Да и шут с ним, ежели кто чего плохое подумал. — Василий лихо вывернул растянутую гармонь перед Полинахой. — Не волнуйся душа, не печалься: наряды тебе нужны, — пропел он вдруг с озорством и подтолкнул приятеля.

Полинаха отшатнулся, хватаясь за воздух, ступил в колею. Тяпышев тут же протянул руку помощи, но пострадавший сам выбрался кое-как, сел отдохнуть:

— Садись и ты. Садись, Василий, раз так.

Тяпышев не противился, знал, что не подтолкнет землячок — на шутливое коварство он не способен: добрый, отходчивый, доверчив и откровенен, хотя жизнь его потерла

изрядно, лукавства полинахиного хватает только на ехидный смех. Василий осознал себя виноватым — мог бы ведь Полинаха и в грязь соскользнуть. Василий тоже сел на обочине, прижался к другу плечом.

— Не обиделся, Поля? Подстрекнуло чего-то меня.

— Ты лучше песню придумай. Ну, коротеньку какую-нибудь. Раньше здорово придумывал. Точно, давай, Василий, сочини. Или зазнался?

Тяпышев тронул пуговки да кнопочки:

— Нет, не угадал, Полинаша. Насчет зазнайства не угадал. Отвык от этого, отучили. А вот достоинства не хватает, не хватает — и все тут. Не спохватился еще мужик, не прозрел. Редко видимся, сходимся для песен. Все на толкотню чужую зырим, беснованье это показное терпим. При телевизоре жизнь остатную прожигаем...

— Пой, Василий, пой! Мало ли что там дoldонят. Народ завсегда страшает. А мы, брат, много раз пуганые. Пой вольнее.

Василий разбудил гармонь:

— Отцвели медовым цветом липы в папином саду... Здесь была деревня где-то, но никак я не найду.

...Через час, может быть, полтора, в минуту горького отчаянья-недоуменья вновь прислышился Полинахе этот печальный с хрипотцой голос друга, земляка и ровесника. А пока они, присмиревшие, отдыхающие, сидели перед туманным полем, будто поджидали кого. Осторожный вяхирь (эти птицы с давних пор все еще гнездятся в низинном березовом закрайке) окликнул вечернюю зарю глуховатым «гу-гру-у-гу», а потом, помедлив, еще повторил зазывание, но оборвал его шумным вздохом. Низко пролетели к пойменным озерам две утки, посвистывание крыльев вторилось над лесом — будто бы все летит и летит огромная стая. Удивленный вяхирь снова повторил свое гу-гру-у-гу.

— Слыши, чего говорит? — Василий снял кепку — мешала прислушиваться. — Вот, слыши: Васюта-дурак, живешь ты не так.

— И мне про это сказал. Не нам уже перекраивать на житую неперспективность деревенскую.

— Напридумывали всего мозгари да умники. Ну их... Пойдем в свою деревню... — Полинаха, извернувшись, глянул в сторону Костромихи. — В отцовском доме за столом возле печки посидим-погорюем.

Усталые обшлепанные грязью выкатили они как тяжело раненые на взгорок и долго смотрели издалека на смутно, словно сквозь матовый лед, едва видимые постройки.

Туман еще не скатился по оврагу к реке и мешал разглядеть былую Костромиху, скорее она предполагалась в воображении: стройная еще, жилая, с липовой аллей вдоль порядка домов. Тяпышев слабыми глазами, конечно, ничего не видел, а только представлял как дома-то стоят на возвышенности. А Крупинов обгладил похолодевшее лицо, сам себе не веря:

— Что такое? Вроде забор тесовый белеет?

И вдруг оттуда, из деревни, резануло пучком света.

— Рыбаки небось машину ставили, — предположил Тяпышев.

— Гляди, в избе-то во всех окнах свет разом. Как же это? Ведь амбарный замок повешен, избяную дверь поперечиной заколачивал, — вспомнилось Крупинову как прибирал последний раз все, что в доме оставалось, надеясь на сохранность: может, еще дачного житья лето придет.

— Не Анна ли тайным манером здесь, — гадал Тяпышев. — Твоя на машине попутной с кем-нито проехала. И моя не зря долго не заявлялась. Бабы, они тоже придумать могут.

— Не эти ли залетные разведчики? Уж больно вроде было людно да шумно там. Хозяйничают по-наглому в деревне-то нашей.

— Ай, поглядеть спешно надо. Ну-ка, живо туда!

Побежали под гору, спешили луговиной да выдохлись быстро. Отсюда, от реки, за полосой тумана деревня как бы отдалась, а крайние дома оказались огромными, так и заслонили всю улицу — ничего не видно, будто и не было там белесого забора и яркого света. Только отсветы промелькивали. Высокие въездные ворота, перекошенно склоненные от деревни, только и углядел Василий. Сдернутая от столбов верея, расщепленная, растрепанная гусеницами, лежала попрек дороги.

— Смотри, перешагивай!

Но предупреждение запоздало: Полинаха со всего маху саданул ногой во что-то упругое, похожее на проволочную лосиную петлю, приклонился, но не упал. Он не пожаловался, что сильно царапнуло — до того ли, а чувствовал как штаны распахивается, выстручивая бледную наготу колена, хлюпающее голенище размазывает что-то липкое, может быть, кровь.

Тревога за родные дома, за всю деревню бесхозную одинаково подталкивала мужиков, но все же Полинаха отставал. Тяпышев всегда был поворотливее, напористее, характером другой и здоровишком покрепче, война наградила его одним ранением, а Крупинова в трех местах прошила осколками, в госпитале едва выжил. Пока молодость

свое брала, с натугой не уступал дружку-приятелю ни в ходьбе, ни в работе, теперь уж трудно вытягиваться наравне — все догонять надо.

— Сгоряча не ставь порядки! — крикнул Полинаха, боясь, что Василий нестерпит, кто бы там ни был, не сбросеет, когда правда за ним, начнет самоуправничать.

Тяпышев взбежал на взгорок и осталбенел: невероятное творилось в Костромихе — по предчувствию вышло.

— Как знал, вот они где, супчики-голубушки.

— Кто тут? — Полинаха еще копошился, карабкаясь по скользкой траве на четвереньках.

— И не понять... — Василий в полууприседе из-под руки глядел вдоль деревни. Свет от машины или трактора высвечивал вместо липовой гряды два ряда белых столбов, только вдали крайнего пятистенка по-прежнему шатром темнели рослые липы. Но и к ним — отчетливо видно против закатной неостывшей стороны неба — приближалась огромная клешня. Тяпышев сразу сообразил, что к чему, и все-таки поджидал Крупинова, чего-то бормочущего про свое верное предчувствие, про сон о строительстве деревни и теперешние чудеса.

Впереди скрежетало, ворочалось, взвизгивало. Огромная клешневидная захватывающая рука замахнулась над вершинами, лязнула, пронзаясь через ветви книзу по стволу дерева. Дзинькнул, прошипел пильный диск. Словно взмахнула прощаально крылом подбитая огромная птица, перекошенно падающая в темноту. Дерево оторвалось от земли, накренившись проплыло над крышами, с тяжелым шумом исчезло. Железная рука снова взметнулась наизготовку...

— Ай, что творят! Обдирать эдак приспособились, — уже не голосом, а срывающимся хрипом едва выговорил Тяпышев, рьяно выдергивая кол из поваленного на крапиву забора.

— Ай, что творят! — повторил Крупинов. — Липы обдирают... корыевщики — ммо-ччаль-ини-ки! — кольнуло, заныло в груди, глаза еще сильней притуманились, и он шагнул вперед незряче, почти механически подражая Тяпышеву, на ощупь искал чего бы пострашнее взять в руки. Подвернулись ржавые с одним отломленным рогом вилы. Выхватил эти вилы из бурьяна, устремленно — откуда и силы взялись — побежал против нахального света. Он бежал на самоуверенное чудовищное урчанье барахтающихся в темноте машин, еще не зная что будет делать...

### 3

Воскресным утром молоденький участковый, еще непривычный к новенькой форме, прилежно разбирал происшествие, случившееся по вине местных скандалистов. Он записал в бумагу все, что считал необходимым; было тут и про чужую залетную бригаду, которая дерет липовое корье, укладывает его на вымочку в озерины — для чего заготовители пригнали за реку Межу треллевочный трактор, валочно-пакетирующую машину и два грузовика-самосвала; разрешения на заготовку ни корья, ни мочала, конечно, у них не было. Ни в леспромхозе, ни в лесничестве они не докладывались.

— Такого-то числа во столько-то часов, — прилежно и важно читал участковый, — бывшие местные жители Крупинов А.Г. и Тяпышев В.Т. явились в Костромиху, увидели незнакомых людей за работой и устроили скандал. Гражданин Тяпышев с целью нападения толкнул первого встречного рабочего Сидорова, который был выпивши и настырно преграждал путь. Тяпышев замахивался длинной палкой на тракториста Завальнова, но не ударил, а просто хотел приугнуть. Соучастник гражданин Крупинов никому из людей не угрожал, но вилами тыкал в тракторные гусеницы, разбил черенком вил фару при повороте, нацеленном и на стоящий поблизости автомобиль марки «Волга» (цвет морской волны, номер КОП 00-06), а также грозился выбить лобовое стекло у другой легковой автомашины иностранного производства — на стекле обнаружены три характерные трещины.

Аполинарий Григорьевич согласился со всем, что было прочитано важным голосом. Пришлось стыдливо клонить голову, чтобы не встречаться взглядом с молоденьким милицionером, которого он так и не разглядел. То и дело приглашивал чувствительно встопорщенные на затылке волосы, поспешно кивал повинной головой, подтверждая свое скандальное поведение, мол, так оно и было, как написано. Правда, проставленная сумма причиненного ущерба показалась слишком большой, на целую корову насчитали, да куда деваться, если своя вина очевидная.

Василий Терентьевич вел себя иначе: гордился своими фронтовыми отметинами, выставлял себя правым, называясь последним и единственным патриотом-защитником отчей земли, где родился и без штанов бегал. Дело свое считал правым: кто-то должен остановить это нашествие обдиральщиков, хлынувших со всех сторон.

Но пухощекий парень в строгой форменной одежде, совсем еще юноша, проявлял служебную настойчивость, требовал ответов:

— Почему под вечер пошли в Костромиху?

— Разве и родная деревня теперь для нас заперта нагло? — взвился было Тяпышев, но осекся, не стал больше настырничать, потому что парень начал похмыкивать. — Кабы знать, когда обдиратели приедут, можно бы и воздержаться, дома посиживать, тоску придерживая, не давая воли сердцу. Приходится нынче терпеть, когда землю-матушку терзают и все былое походя втаптывают...

— Не надо, не надо разглагольствовать. Отвечайте, как положено.

— Я вот и отвечаю по правде. Другой манере не учен. Родительская суббота была. Или сам-то не знаешь? Отцов и матерей грешно не помянуть. Заслужили они нашей памяти. Ну, заодно и деревню родную помянули стопариком. Как же, русской деревне надо поклониться, немало за счет ее отстроено было по всем окраинам. Знать это и помнить следует. Может, до моих-то годов доживешь, тоже затоскуешь по родительскому одворью. Ты откудов будешь, милок?

— Василий тяжело вздохнул, сморщился и приложил ко лбу ладонь, потому что бровь опять задергалась.

— Это мое личное дело, гражданин. Я — на службе, при исполнении.

— Милок, не горячись. Ты деревню-то назови свою, не повредит лишний раз достойную повеличать. С Липова родом? Я ведь по обличью определяю — Степана Архипова внучек? Так, нет?

— Откуда знаете? — удивился парень.

— Даك мой отец с той деревни. Тяпышев Терентий Леонтьевич, кузнечных дел мастер. А дедушка твой у него в подручных лет пять стоял до войны-то. Вишь, как получается: земляки мы с тобой. Твоя деревня живет, а моей уже нет. Липы и те налетчики схряпнули. Отцы наши посадили, а они, обдиральщики подлые, ... целую рощу, можно сказать, ради своей выгоды, только пенечки высоченные остались. Вон дружок мой пригорюнился на скамейке, — Василий Терентьевич подошел к окну. — Ты думаешь, одну рощу липовую жаль? Не только это печально. Совесть у него болит, память у него плачет. Ты пиши, пиши, сынок, раз надобно фиксировать, работа твоя такая. Мы тебе по правде оба говорим, выхитривать не станем: что было — то было. Разбирайтесь, кто прав, кто виноват. Была бы деревня жилая — хапуги, может, и не посмели бы, только нынче все без совести творится,

везде разор кому-то в угоду. Дак могу идти? Свободный теперь? А можно вопрос без протокола?

— Ладно, говорите, что там у вас еще, — снисходительно позволил парень.

— Сынок, ты местных жителей хорошо должен знать, нашу откровенность цени. Отец твой в Костромихе гостили бывало и кузнецил не раз. Он подтвердит небось какие мы на самом деле скандалисты. Они, эти ухари, угощали меня на дороге, да... Угощали да пить не стал — что-то не понравились они мне сразу. Не зря меня воротило от ихнего конъячного духа. — Василий встряхнулся озабочено. — Верлиока этот наглый...

— Когда, где, при каких обстоятельствах угощали? — оживился участковый. — Почему людей клопами, кровососами называете?

— Не было никаких обстоятельств. Обычное дело — дорога. Сестру тогда провожал. Попутка попалась — ну вот и подвезли. Я еще им проезды растолковывал. Теперь сдокументил: как и что, почему они нюхательный разговор вели про лекарственное и прочее сырье. Плюнуть бы тогда на таких попутчиков, а я раздобрился, дорогу обсказал. Простота наша — хуже воровства: кто кровь сосет — тому и служим.

Молодой милиционер не перебивал, даже несколько раз поддакнул чему-то: так, мол, так, дядя Вася, очень хорошо понимаю, будем разбираться.

С наивным облегчением уходил от него Тяпышев. На волю выкатил и, стоя на крыльце, оглядел окрестности. Друг-приятель, робкий земляк сидел в ожидании на скамейке. Он глядел на серую поселковскую улицу без единого деревца и, наверно, думал о траве, которая каждый год при любой погоде растет.

— Не боись, — сказал Тяпышев Полинахе. — Мы тут, выходит, все земляки. Степана Архипова внук, оказывается, бумаги пишет на последних в этих местах скандалистов. Поторпим и в скандалистиках. Что было-видели, что будет — увидим. Пока живы — все видеть надо.

— Я вот, Василий, думаю... Чего меня перед ихней длинной машиной остановило вдруг? Ты видел, нет ли?.. Светом выхватило на переднем сиденье иконный лик... Тут и осекся, осталбенел в замахе... Божья матерь... Для чего-то поставили эту икону большую при таком промысле...



## НА ЧТО МЫ РАСХОДУЕМ ЖИЗНЬ...

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА



## ДОБРОТА

### *Строки писем издалека*

Новый московский знакомый спросил меня о самочувствии в городе на берегу Волги, о радостях и огорчениях. Радоваться было рановато при множестве забот и удивлений. Я обстоятельно рассказал обо всем.

— Откроется еще и не такое. Ты почувствовал неискренность, но за ней так много всего последует, что у твоей провинциальной наивности волосы дыбом встанут.

Почему он, известный критик, давно проживающий в столице, беспокоился по поводу моего вхождения после Высших литературных курсов в новое жизненное пространство?

«Вот и тебе довелось убедиться в том, что неискренний человек себялюбив и коварен, притворство и показная добродетель у него всегда на вооружении, — писал он мне через год, отвечая на обстоятельное письмо, в котором было высказано так много огорчений. — Ты понял теперь: явная демонстративная доброта является компенсацией тайного зла...»

Это верно: неискренность себялюбца опасна. Но трудно бывает за скрупульной авторитета разглядеть эгоистичные устремления. Не сразу и не всем становится очевидно, что неискренний человек нуждается в лести, в близких по роду деятельности видит опасных соперников, хотя считает их только «мусором», пригодным для собственного восхождения. Он подгребает их, изощренными способами гуртит в кучу, но разделяет и властвует при помощи кнута и пряника. Каждый способный на самостоятельность, имеющий собственное понимание и суждение, нежелающий «быть адъютантом его превосходительства» невольно и обязательно попадает в подозрение и будет объявлен на обществе «предателем». На основе конкретной ситуации я писал об этом московскому адресату, признался, что давно знаю одного человека, в наивной доверчивости, словно школья, верил его пространным рассуждениям о чувстве долга, доброте и нравственности. И признался, что вспомнилось давнее дружеское предостережение.

Однажды осмелевшие многострадальцы из той «мусорной кучи» начали говорить правду, возмущаться, но при этом сбивались на нервический тон — в бледнеющих лицах, в дрожании рук и пересохших голосов был очевиден страх, потому что «лидер», заведомо просчитал критическую ситуацию

и обеспечился безусловной обкомовской защитой, присутствием на конфликтных собраниях первого секретаря. И все-таки то, что считалось невозможным, невероятным, произошло. Горькая правда, бродившая подспудно многие годы в покорной «кучке», прорвалась...

Откровенность и доказательность возмущения вызвали властную жестокость и мстительность. О, какая пошла тут свара. «Нам здешний мир так много говорил». Когда связка стала необратимой, вдруг появилась инициативная партийная группа, способная испытанными приемами сфабриковать обвинение всякому инакомыслию. Лукавая добродетель общественного призыва пошла в наступление, под лозунгом высших целей и защиты нравственности были разработаны стратегический и тактический планы, по которым предполагалось наказание за искренность и правду: из квартиры выселить, из творческого союза исключить, признание таланта считать ошибочным, доказать несостоятельность литературной работы, книги сжечь... Инициативная группа при этом поддерживала теряющую власть формальным присутствием и «подписанством» — члены ее в клубящихся парах мстительности разглядели потускневшую рекламу «добавления жизни добра» и уже ничем не могли помочь бывшему обладателю истины в последней инстанции. Конец восьмидесятых существенно отличался от исхода тридцатых годов.

Читая Чехова, вспомнил эту житейскую ситуацию. И теперь убежденно соглашаюсь с Антоном Павловичем: искренность — важнейшее условие сближения людей.

---

«Широкий мир земной еще достаточен для дела...» Так написал мне далекий человек, портрет которого представляю лишь воображением. Был повод для письма незнакомца — прочитанный рассказ. Но неравнодушный понимающий читатель раздвинул фабулу рассказа, за сюжетными пределами вспоминал свои дороги, свое детство и обнаружил душевное родство с автором.

Тогда я еще не умел ценить такую читательскую искренность. А теперь хочется встретить того человека, побывать рядом с ним. Помочь... Кажется, я знаю его жизнь. И доверяю ему, искреннему, больше, чем демонстрирующим лозунговую доброту в каждодневном очном общении.

---

«И верность наша, а не только подвиги придают навек значение личности...» Почему-то она приписала эту цитату из «Фауста» в конце короткого письмеца с сообщением о том, что доехала хорошо, но под стук вагонных колес, выговаривающих «теперь без тебя, теперь без тебя», обе ночи уснуть не могла; со второй полки трудно было разглядеть за стеклом другой темный мир, убегающий от уральского места жительства... Я много раз намеревался навестить ее там. И не навестил. Верность тому, о чем искренне и часто говорили, осталась. Надо признать: вся наша жизнь — не подвиги, а терпение. Вряд ли оно добавило значенья личности.

---

— Мне хорошо с тобой даже когда ты очень далеко или занят своим вечным неотложным делом, — очень редко, но все-таки повторяла она эти согревающие слова. Давно не слышал таких. Сумеем ли мы создать возможность для повторения признания?

Она рядом и знает, что очень нужна мне при этом вечном и главном деле, но молчит. Ничто не изменилось во мне по отношению к ней. Жизнь с каждым днем все привлекательнее, загадочнее, интереснее. Вероятно, мы уже почувствовали и осознали самое важное, самое дорогое. Ожидание прежних признаний тоже украшает наши дни. Воспоминания согревают, молодят. Взгляды наши встречаются и говорят об этом лучше слов.

---

В жизни все заново. На работе — все по-прежнему, ничто не меняется. Чиновники не терпят перемен, отклонений от правил. «Будь таким, как я хочу, иначе не сработаемся!» Вырвался за рамки исполнения служебных обязанностей — чувствуешь себя человеком, другие что-то в тебе неординарное находят, за что-то благодарят, присылают признания удачи. Но это все из другого «поля» — из неподвластного местным деятелям пространства. Они не успевают вмешаться, повлиять. То в журнале пройдет публикация, в том самом журнале, куда, по местным понятиям, мой доступ и предположить было невозможно. То неизвестный провинциальный автор на радио прозвучит, то появится в зарубежном издании. Завистливая дама из отряда бойких журналисток виз-

жит на планерке: «Он для нас делает левой ногой, а колотит на всю железку для столицы». Она призывала руководство иметь это в виду при подведении итогов за квартал и предлагала возможную премию урезать на тридцать процентов. Другой, огруженный по собственной лени, газетчик «аккомпанировал»:

— У него, везучего, везде дружки, везде он вхожий протеже.

И ошибался. За всю историю своего сочинительства я ни разу не испытал заботу доброго «дядюшки», никто никуда мои заметки, очерки, зарисовки, рассказы не представлял, не предлагал с дружеским сопровождением.

Жил я тогда в отдаленном районе, работоспособно и честно собкорил. И все отвергаемое редакционными «правильщиками» забирал обратно, сразу шел на почту и посыпал по первым попавшимся на глаза адресам редакций газет и журналов. Случалось и так: из одной московской редакции чудесным образом тот или иной очерк перекочевывал в другую. Мне же приходило такое сообщение: «Очерк понравился. Но у нас он пошел бы со значительным сокращением, поэтому передаю его в журнал «Крестьянка». Виктор Хохлов. Тогда Виктора Константиновича, доброго земляка, я, конечно, не знал, видывать не видывал. Добрые были времена. Это сейчас принято огульно охаивать человеческие отношения «застойных» лет.

Вот в семьдесят седьмом году 17 марта пришло письмо из редакции Центрального внутрисоюзного радиовещания. «Спасибо за присланный очерк о матери-героине А.Ф.Белобородовой, он прошел в эфир 6-го февраля. Если у вас есть подобные материалы — присылайте, пожалуйста. Нас интересуют самые различные стороны жизни села, но особенно — культура, быт, очерки о людях. Сообщите Ваше имя и отчество, напишите также, где Вы работаете. Буду ждать Ваши новые материалы. Присылайте на мое имя: Потаповой Валентине Семеновне (раб.тел.233-62-26). Всего Вам хорошего». И так отзывались работники из многих редакций. Теперь отвечать не принято. Перестроились. Старые папки хранят добрые знаки неравнодушия редакционных работников к неизвестному, начинающему автору. Не только благодарности и добрые отзывы радовали, нередко по результатам конкурсов приличные премии не за «голубые глаза» присыпали из Москвы. Пересчитал те, что помнятся: пятнадцать. А местные доброжелатели удивлялись: «Как же так?! Он нигде не учился, совета не спрашивает... Определенно есть у него где-нибудь высоко «рука». Это меня забавляло,

я постепенно смелел, обретал нагловатость. «Ах так, вы на половину урезали, самое главное по своим трафаретам переписали!.. Давайте обратно, коллега. Переработаю — пришлю. А этот вариант, смотрите, кладу в конверт, пишу адрес: из деревни — в столицу, редакция. Посмотрим, что дальше будет. И была публикация, отмеченная приличным (при моей бедности) гонораром, а по итогам года — второй премией журнала «Сельская новь». Ох, не взлюбили меня за это коллеги, завистливо не взлюбили не только газетчики, но и некоторые литераторы, желающие всех держать в узде, чтобы никто не самовольничал, вперед не высакивал. Говоря об этом, ничуть не ерепенюсь и возможностей своих не переоцениваю. Но проявления характера, некоторые давние свои поступки, сильно осуждаемые коллегами, теперь вспоминаю с чувством собственного достоинства. Так важно иметь его и осознавать. Иначе ничего не сделаешь, и браться ни за что нельзя, если нет веры в добрые свои намерения...

---

3 марта 1976 года. Ваши «Солдатки» идут в майский, пятый номер. Надеюсь, что вас постигнет «участь» Евгения Зайцева, Бориса Гусева, в том смысле, что «Солдатки» будут как-то отмечены. Спасибо за хорошую вещь и очень надеюсь, что она не будет последней. С самыми добрыми пожеланиями — А.Куликов». Внизу приписка: Куликов Алексей Алексеевич, служебный телефон.

Он был тогда главным редактором, но удосуживался писать от руки.

15 октября 1977 года. «Литературная Россия».

«Книгу получила. Спасибо, рассказ тоже получила и даже он уже будет опубликован в номере от 14 октября. За него тоже спасибо. Всех Вам успехов и благ. Г.Дробот».

#### «Наш современник»

«Я только теперь добрался до вашего письма, хотя рассказ прочитал давно и подписал его в печать. Судя по этому рассказу, Вы человек, бесспорно, одаренный, и мне бы очень хотелось не потерять Вас, внимательно следить за вашим творческим ростом... Не стесняйтесь, пишите мне, предлагайте новые вещи, в любом жанре (рассказ, очерк, статья). Догадываюсь, Вы хорошо знаете русского деревенского человека. И проблемы — тоже. И это знание, в концеп-концов, скажется. Главное, учитесь думать, ничего не

принимайте на веру, отметайте поверхностные суждения, старайтесь говорить о главном в человеке (и в жизни!) Ваш Сергей Викулов. Р.С. Как идут дела сейчас в деревне?».

Из письма Василия Смирнова, автора романа «Открытие мира»

«Получил ваше письмо и радуюсь тому, что вы серьезно беретесь за литературное дело. Грешно зарывать несомненные способности, как говорится, в землю. Развивайте их литературным трудом (т.е. систематически пишите, очень важно выработать привычку ежедневно писать, хоть понемногу), активным участием в жизни и учебой, постоянной. Вы человек образованный и мне не говорить вам о том, что читать. Обязательно свяжитесь с Костромским отделением Союза писателей. Если у вас напишется что-либо детское или юношеское, шлите в издательство «Детская литература». Больших успехов вам на литературном пути. Не смущайтесь трудностей, неудач — путь сей каменист, но иного у вас нет и быть не может, — упрямо, настойчиво работайте. И успех будет. С приветом В.Смирнов. Переделкино. 1976г. 25.XX.»

Из письма Ирины Стрелковой:

Столько в Вашем краю интересного и столько пишется поверхностного, налегке, что пора бы Вам разозлиться и написать то ли в «Наш современник», то ли в «Комсомолку» все то, что областная газета не решится дать».

Из письма Юрия Шакутина:

«Свежее, правдивое слово, действительно, сейчас нужно позarez. Поэтому и радуюсь, что наш призыв услышали. Мой совет вам: только не откладывать дело в долгий ящик. По себе сужу. Иногда думаешь написать что-то, собираешься, собираешься и... перегоришь. Выбирайте, что больше вам по душе, о чем можно говорить раскованно по языку и мысли. Форма тут не столь важна, «откровенный разговор» — раздумья на большую тему. Здесь больше простора. И в смысле размеров публикации, можно делать страниц девять-десять.

Есть еще одна возможность для выступления у нас. Может быть, на выходе книга ваших рассказов или повесть — не имеет значения. Можно выбрать тоже страниц девять-десять. У нас есть полоса «Наши публикации» где мы даем отрывки из больших вещей, одновременно представляя читателям и автора и его будущую книгу. Теперь с нетерпением буду ждать от вас материала...»

### «Сельская молодежь», Сергей Макаров:

«Получил Ваш очерк (рассказ) — очень хорошо, душевно и правильно. Показал главному редактору Олегу Попцову. Он тоже оценил, сказал, что надо готовить к печати в качестве рассказа. Поэтому рукопись у меня взяли в отдел прозы. Из Ваших рассказов последний читал в «Современнике». Мальчик возил льняное семя к маслоделу — очень! Желаю Вам дальнейших успехов».

### **По поводу одного рассказа**

«Здравствуй, Миша! Прочел твой рассказ в «Н.Современнике» и ... не могу не написать тебе, ибо он перевернул (и слава Богу) все мои былые представления о тебе. Весьма и весьма талантливо написано. Я рад за тебя, как всегда радуюсь при встрече с истинно талантливыми вещами, радуюсь за их авторов, радуюсь тому, что они есть, эти авторы.

Видимо, тебе надо рас прощаться с журналистикой и засесть за серьезную писательскую работу. Журналистика, особенно в наши дни, слишком тенденциозна, а это не может не влиять на художника, занимающегося ею. Впрочем, ты ведь и сам сетовал на это.

Надо утверждать в себе писательский взгляд на мир. Прими это мое письмо, Миша, как проявление самых добрых и дружеских чувств к тебе...

Вч.Шапошников.»

### Обращение земляка

«Обращается к Вам земляк — Колесов Юрий Михайлович (окончил Никольскую школу, 10 «б», в 1957 году). С удивлением и радостью прочитал Ваш рассказ. Приходится, значит, бывать на родной Меже. Чувствуется она и в ваших вещах. К Вам большая просьба: напишите, где Вас еще печатали и как сложилась Ваша жизнь после школы. О себе: после школы служил три года в Заполярье. После Ивановского мед. института работаю на Урале. Сейчас — зав. отделением в медсанчасти. Златоуст, Челябинской области.» 7.02.81 г.

### Второе письмо земляка

«Получил ваш ответ, большое спасибо. Меня (да и всех нас, межаков) радует Ваше писательство. Мы теперь ваши самые активные читатели и с нетерпением ждем Ваших новых работ. Мне удалось найти несколько публикаций в жур-

налах. Понравилось. Словом вы владеете хорошо! ... Если вы будете в г.Иванове, то там на улице Павленко, д.2/19, кв.5 живет моя мама — Колесова Клавдия Ивановна. Она коренная межачка. Много знает, лично знакома со многими земляками по условиям прошлой работы. У нее сохранилась фотография участников съезда крестьян в Костроме в 20-е годы, на котором была моя бабушка — за что по приезду домой была бита дедом, а от деревенских получила прозвище «Делегатка».

Колесов Ю.М. Златоуст, ул. Космонавтов.»

### От главного редактора

«От всей души поздравляем Вас с первой публикацией — рассказом «Поездка к маслобойщику», напечатанном в №1 нашего журнала за этот год. Мы верим, что Ваше искреннее, высокохудожественное произведение будет по достоинству оценено читателями и надеемся, что и в дальнейшем Вы будете успешно сотрудничать с нами. Всего Вам самого, самого доброго!

Сергей Викулов.»

### Из Томска от поэта Саши Соловьевса

С недавно-две назад прочитал твой рассказ и до сих пор во рту привкус льняного масла. И запах его чую почти явственно. Удивительно хорош твой рассказ! Ненавязчивый, светлый, точный, какие детали! Я, грешным делом, тоже в детстве бывал у маслобойщика — мать водила куда-то в сторону шарьинской Власихи. Но я ничего не запомнил. Но вот прочитал твой рассказ и снова почувствовал ТО масло на губах, и про холодный гороховый кисель — все точно. Безусловно талантливый рассказ.

Я как прочитал его, так снова заныло все внутри — захотелось на родину. Вообще этот номер «Современника» меня чуть с ума не свел. В два часа ночи разбудил жену, говорю: «Поехали на родину, в Печенкино!» А она: «Опять на тебя нашло...»

Спасибо за рассказ, Миша. Не удержался я и вот решил хоть этим отвести душу — черкнуть тебе. Адреса и не знаю, но думаю, что в редакции ты бываешь — передадут.

Напиши, хотя бы коротенько, что нового на шарьинской земле, в «Северной правде», у тебя. Я по-прежнему в Томской газете. Работаю, как лошадь. Тоже пытаюсь сделать книжицу прозы, но еще конца не вижу. Да и тяжело совмещать... А.Соловьев, Томск.»

### Из второго письма от Саши

«...Интересно, став членом Союза, ты намерен продолжать собкорство? Или перейдешь на «вольные хлеба»?

А моя фамилия тоже мелькнула в нескольких январских журналах, правда, больше по казенным отчетам. Твой рассказ я тут широко пропагандирую. Конечно, среди тех, кто в этом что-то смыслит. Им нравится.

Жаль, что я много творческого времени потерял на разные переезды, разводы и своды. Наверстывать мне будет трудно. Хотя утешаюсь тем, что обрел и кое-какой опыт... Но газета все-таки давит. Выйдет книжка, если не затруднит, вышли, пожалуйста. Разумеется, я постараюсь поймать ее здесь, а вдруг не случится...»

### Из письма в редакцию журнала

«Январский номер журнала порадовал читателей прекрасным содержанием. Меня, очень старого вологодского крестьянина, особенно восхитил рассказ Михаила Базанкова. Я хочу сказать ему: «Спасибо тебе, несомненно, земляк! Словно шел с тобой по родной Вологодчине. Словно помогал тебе, мальчику, забивать клинья нехитрого, но очень умного заводика конструкции «просто клинья». И оба мы видели, как рождается янтарек, как стекает в деревянный бочонок льняное масло янтарного цвета. Спасибо. С уважением к журналу и к автору П.Ларионов, г.Красноярск.»

### Телеграмма:

«Приглашаем заседание редколлегии 23 апреля, прибытие Москву 22-го. Командировку и гостиницу оплачивает журнал. Викулов».

Такие были времена для начинающих литераторов, так работали с авторами.

---

Известный романист в почтенном возрасте радовал меня добрым своим вниманием. А я интересовался его судьбой, творческой биографией. Случайная встреча на берегу Черного моря одарила возможностью чувствовать душевные качества беспримерного исследователя, всю жизнь разрабатывающего увлекательную тему освоения русскими первоходцами дальневосточных земель. Первый роман Николая Павловича Задорнова «Амур-батюшка» вышел в 1940 году. Потом чередой издавались «Далекий край», «Золотая лихорадка», «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за

океан», «Цунами», «Симода», Хэда — все прочитаны мною в школьные и студенческие годы. И вот — радость общения с писателем! Непредвиденного общения. Удивительное, необъяснимое его внимание ко мне, его пространные беседы о жизни, о работе над романом «Владивосток». Доброта, доверительность, щедрая искренность «случайно» встреченного необыкновенного человека. До сих пор согревают меня беседы у моря.

Недавно прочитал воспоминание актрисы Клавдии Сергеевны Курбатовой, работавшей вместе с Задорновым в театре Комсомольска. Она помнит его совсем молодым, физически очень сильным, даже как будто стыдившимся немного этой своей силы. «Иногда он сбрасывал очки, тогда светлые глаза его поблескивали озорно, совсем по-мальчишески, и разминал руки. Разомнет, подвигает ими вверх-вниз и опустит засученные рукава сорочки, застыдится твердых, почти каких-то четырехугольных мускулов. Ему отчетливо мало было актерской работы и работы театрального завлита. Про ту дополнительную (писательскую — М.Б.), ставшую в последствии основной, работу дома никто в театре ничего не знал. Знали только что что-то о чем-то Задорнов пишет...»

Когда Николаю Павловичу было за семьдесят эта особая сила его чувствовалась: он заплыval далеко в море — я поджидал его возвращения на берегу в назначенное время. Возвращался он «без одышки». И глаза поблескивали озорно, совсем по-мальчишески... И подтверждалось опять: высокие сильные люди терпеливы и добродушны. Они излучают доброту естественно, добавляют жизни добра без обещаний. Искренне, почувству. По душевной потребности помогать другому.

Николай Павлович жил в Риге. В Москву приезжал редко — не любил столичные беседы с литературными чиновниками, а они, мне кажется, преднамеренно и завистливо обходили его вниманием, как он рассказывал, обещанное не исполняли. Иногда он «окликнул» меня письмом или открыткой — было, видимо, такое настроение, вот и писал молодому литератору, находя в этом особый смысл. Между нами во многим «параметрам» была огромная дистанция, а вот упрекал он меня за то, что редко пишу, не рассказываю, не решаюсь приехать в Ригу. Он же великодушно прощал. Даже разыскивал меня в Москве. Оставляя записки в общежитии литинститута. 19 мая 1985 года приспал такое письмо:

«Дорогой Михаил Федорович! Мне надоело быть клячей, при которой я же и погонщик. Весна; начинают цвести сливы. Я решил сегодня утром написать в Шарью.

Я был в Москве в начале апреля, звонил Вам. Дежурная выказала мне снисхождение, сходила на этаж предупредив, что

Вы переехали в другой номер. Возвратившись сказала, что Вас нет. Уехал на два месяца в Шарью. Обещала сказать Вам; записала кто звонил.

Вчера, в субботу, день был с очень жарким солнцем, при чистом небе и холодном ветре. Я окунулся в наше холодное море. Алеша (это о внучке — М.Б.) еще не решился, он лазал в дюнах по соснам. Потом мы лежали скрывшись от ветра... Солнечный день и море напомнили нам Коктебель. Куда Вы отправитесь в это лето? Здесь есть хороший дом литфонда... Сердечный привет Екатерине Михайловне и сыну. Ваш Н.Задорнов.»

Больше уже не получать от него добрых писем. Перечитываю присланые ранее. И овеивает меня через годы-расстояния естественная доброта удивительного и скромного человека из бушующего, яростного мира страстей, мыслей и чувств...

Но помнится, помнится радость «первой весточки», душевно укрепляющий привет из первоначальной осени восемьдесят четвертого года... «Ваш рассказ в последнем номере «ЛитРоссии» был для меня продолжением наших бесед. Я, для ответа, сначала шлю Вам сдвоенную открытку, зная как быстро идут письма из Москвы в Ригу, и как медленно — от швейцара на этаж. Благодарю за присланные снимки. Для всех нас это большая радость, что Вы не позабыли меня, а Ваш сын Алеша не забыл моего внука Алешу. От Вашего письма мне послышалася ветер лугов и лесов. И лесная тишина «второго лета», по Вашему выражению, отчетливо слышится. За это время у нас была первая и вторая осень, досрочные, ждем третью... Я был в Москве в начале сентября, «прилетал» (на самом деле прилетал на аэроплане) на три дня...»

«Прилетал». Но не получилась наша запланированная встреча. А свидеться с таким человеком — радость, удача, подарок судьбы. Мудрый и щедрый Николай Павлович тонко чувствовал собеседника. Историк и художник, терпеливый архивист и романтический путешественник, первопроходец и знаток истории, природы, многих народных обычаев. Незаносчивый, естественный в манерах, с широким диапазоном проявления темперамента, самовыражения и чуткого отношения к людям. Да разве только к людям. К судьбам народов, к истории Отечества. Его исторический роман «Амур-батюшка» стал одним из первых в русской литературе произведений, на высоком художественном уровне исследующих народную жизнь на окраинных рубежах России. Не пушками и ружьями, а мирным трудом и терпением, топором да сохой были освоены немеренные земли Приамурья. С этого романа, отмеченного в 1952 году Сталинской премией, полвека Николай Задорнов осваи-

вал историческими эпопеями дорогу к океану. Титанический труд! А вот замалчивается, хотя имеет значение не только в истории, но и для выстраивания современной международной политики. Нельзя не вспомнить цикл морских романов о Геннадии Ивановиче Невельском, трилогию морских и дипломатических романов о становлении русско-японских отношений, роман «Гонконг» — начальный в задуманном цикле об отношениях России и Великобритании в дальневосточных водах (конец XIX века).

В 1988 году он сообщал:

— В издательстве «Советский писатель» выходит моя новая книга «Владычица морей» — второй роман в цикле романов об освоении Владивостока. Основание города явилось логическим завершением стремления России к океану. Муравьев побывал в Приамурье и назвал лучшую бухту Золотой Рог. Этим он как бы говорил: не суйтесь в константинопольский Золотой Рог... Еще я дописываю роман «Владивосток». Изображаю дипломата Игнатьева, подписавшего пекинский договор с Китаем. Его же показываю и в романе «Владычица морей».

А в интервью для писательской газеты Николай Павлович благодарил читателей, присылающих ему письма. «Они помогают в работе, поддерживают уверенность, что наша учрежденческая система литературы — временное и преодолимое явление... Мне говорят: нельзя выпустить двенадцать романов — это получается собрание сочинений, а предельная норма собрания сочинений — шесть томов. Кроме того, согласно новым постановлениям, собрание сочинений при жизни автора выпускать нежелательно. Получается, что только если автор умрет, можно будет рассмотреть вопрос о выпуске всех его книг. Не подумайте, что я брюзжу, сидя тут, в Риге, что я, оторвавшись от российского литературного процесса, получаю или пытаюсь поучать... У меня и здесь хватает забот. Впрочем, наверное, как у любого русского писателя, живущего в национальной республике...»

Благодаря судьбу за возможность беседовать с этим радиителем России, будущих исторических путей для нее, думаю теперь о масштабах и долговечности деятельной доброты. С горечью вспоминаю, что на двух последних писательских съездах не было делегата Николая Задорнова, даже в качестве гостя его «забыли» пригласить. Может быть, он «прилетал», все видел, слышал, не обозначая себя для других. Верю, еще будет востребован, вернется к читателям, «прилетит» мужественный, сильный, уверенный в своей правоте художник, наделенный особым даром исторического предвиденья...

## В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ О ЖЕНЩИНАХ, ПОЛИТИКЕ, НАУКЕ, ИСТОРИИ

Время такое пришло: усталые от развалов «голозадой» и преступной секс-литературины, ищем спокойные, мудрые книги, по не всегда их можем найти даже в библиотеках — то запрятаны они далеко, то времени не находится, чтобы погрузиться в библиотечное чтение... А столько еще не прочитано в отечественной словесности! Не только писатели, поэты, обладающие даром предвиденья и предвосхищения, не только люди искусства, науки открывают нам кладези мудрости, житейского лада и здравомыслия. Размышления, письма, отрывочные записи, семейные документы — о многом повествуют. Есть и среди ученых обладающие даром литературного свойства, философской направленности. И потому с жадностью всматриваешься в человеческие документы.

Не только основные капитальные труды хочется знать. Привлекают мемуары, дневники, беглая запись в книжке или беглая стихотворная строка, письмо близкому человеку или несколько строк из философского размышления. В таких документах — россыпь драгоценных свидетельств, позволяющих наиболее полно чувствовать и понимать личность не только современника, но и тех, кто писал и творил историю в иные времена. Оказывается, россияне еще не знают в полной мере своих ученых, мыслителей, литераторов, потому что по ряду товарных, хитро спланированных обстоятельств получилась неисследованность в историографическом смысле. За сложностью научной индивидуальности и неповторимого таланта, за великим авторитетом в одностороннем значении оставалась скрыта внутренняя человеческая жизнь.

Но личные архивы иногда открывают, высвечивают, особенность таланта не в меньшей степени, чем основные труды. К примеру, эпистолярное наследие Василия Осиповича Ключевского, Ивана Александровича Ильина или — что и вовсе удивительно — близкого нам по времени, происхождению и особенностям дела всей жизни — Алексея Максимовича Горького. Разные взгляды, философские позиции, а роднятся эти люди в заботах о человеке, народе, Отечестве. Читая дневниковые записи, разрозненные и «несвоевременные» мысли, страницы записных книжек, тетради с афоризмами, опубликованные письма, открываешь этих творцов с неожиданной свежестью восприятия и восхищением.

## СМИЛУЙТЕСЬ...

Поэт, автор многих поэтических сборников и книг лирики иногда приезжает в отдаленный район Костромской области, чтобы в деревне, на природе чувствовать себя в родной стихии. В Вохме он окончил десятилетку, затем учился в вузе, работал на одном из подмосковных заводов инженером-химиком. Ранний период творчества был отмечен не-принужденностью, интересом к «округлому и сочному, как яблоко, слову». И до сих пор Владимир Костров, по утверждению Николая Старшинова, умеет обращаться с живым разговорным языком, корни которого, конечно, в русской деревне. Он знает быт северных жителей, яркую, многоцветную, меткую, раскованную народную речь. Ярослав Смеляков около тридцати лет назад писал: «Мне нравится в стихотворениях Кострова ненарочитое соединение мыслей и чувств технически образованного человека нашего времени и крестьянского парнишки. Совершенно естественно он пишет и о «добеле раскаленных тиглях», и о «голубином взгляде голубики». С тех пор Костров издал несколько интересных, прочувствованно составленных книг. До сих пор его обостренные чувства находят выражение в сочной, многоцветной, напряженной и всегда искренней поэзии. Его душа нежна природе я к людям. Листаешь книги, находишь стихи,озвучные нынешнему тревожному настроению, и удивляешься: да, именно поэты владеют провидческим даром! Вот книга с дарственной надписью, адресованной автору этих строк, «Солнце во дворе» (1978 г.).

О, смилуйтесь,  
найдите же законы,  
чтоб некие деляги не смогли  
ростовские малиновые звоны  
перековать на звонкие рубли.

Стихотворение закончено тревогой, потому что находятся деятели потешать интуриста историей России.

Другое время, другие песни. А тревог все прибавляется. И он, Владимир Костров, своей поэзией вторгается в течение противоречивых событий...

## **НЕ ДОЛЖНО ОТЧАИВАТЬСЯ**

Высшая общественная сила есть сила внутреннего возрождения — эту истину раскрывают два русских писателя в своих трактатах и повестях — Толстой и Достоевский. С этого начинается книга Митрополита Антония «Ф.М. Достоевский как проповедник Возрождения» (посмертное издание под редакцией и с предисловием Архиепископа Никона).

В предисловии сказано, что переворот русской жизни зависит от многих факторов, главным из которых является Евангельская проповедь, осуществляемая Церковью Христовой. Однако проповедь Евангелия не должна ограничиваться одним только Храмом, в котором теперь собирается не так много людей, но призыв этот должен распространяться на все стороны жизни и проникать в самую глубину человеческих сердец. Одним из видов такого пророческого служения в наше время является литературное творчество великого русского писателя Ф.М. Достоевского.

Книга эта издана Северо-Американской и Канадской епархиями в 1965 г. Но сегодня необходимо возвращаться к пророчествам писателя, и потому аналитический труд Митрополита Антония может послужить делу Возрождения. В этом смысле трудно не согласиться с автором предисловия, который подчеркнул, что Достоевский — чисто мирской писатель, описывающий обычную человеческую жизнь, он не был ни богословом, ни священнослужителем, и его пророческое и нравственно-учительское значение не должно быть раскрыто каким-либо духовным авторитетом.

«Народ после всего пережитого под властью большевиков имеет своим главным учителем суровую жизнь, он давно уже, вероятно, прозрел и укрепил в себе то религиозное чувство, которое всегда было в нем живо. Он лишь ждет своих новых руководителей, просвещенных и обновленных христианским духом. Вот созданию и воспитанию таких руководителей русской жизни и может послужить великий Достоевский, истолковываемый не менее великим Митрополитом Антонием».

В этом смысле, как сказано было в предисловии, «старое слово» является как бы неким «новым словом».

## **НА ЧТО ЖИВУТ РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА**

Если Вы из-за многих трудностей бываете в парикмахерской один раз в год, надо положить этому конец. Рискните, наконец, соберитесь с силами, не слушая упреков жены, вторично пойдите туда. Постригитесь без особого шика, можно даже и наголо.

Когда выпускница профтехучилища, не моргнув глазом, за пятнадцать минут работы потребует с Вас две или три тысячи, не падайте в обморок, для успокоения займитесь простыми подсчетами, задавшись простыми вопросами: что же это такое? почему такая несправедливость? почему Вы, инженер или технический работник, учитель, врач или журналист, писатель, так нерешительно требуете оплату своего интеллектуального труда?

Подсчеты показывают: при ускоренном методе обслуживания за час можно оболванить четырех умников — значит, по меньшей мере, получается восемь тысяч рублей, а за день, с санитарными перерывами — около шестидесяти тысяч рублей, иногда и больше, как повезет, но за двадцать четыре рабочих дня, без технических простоев, можно нашелить миллион четыреста сорок рублей. Ну, округлите в сторону уменьшения эту сумму до миллиона — тоже ведь впечатлительно выходит.

Теперь по своей профессиональной принадлежности, творческой гордости на основе осознания важности интеллектуального труда, умножьте эту суммочку хотя бы на 2 — допустим, что труд, требующий особых способностей, стоит в два раза дороже. И все! Но не успокаивайтесь, не утешайтесь подсчетами.

После длительных раздумий, посоветовавшись сначала с представителями партии Жириновского, а потом с гайдаровской командой, объединив усилия всех интеллектуалов России, можно собрать подписи всех до единого, кто не прикормлен подачками, и возглавляйте шествие с челобитной к Правительству, а лучше к Президенту, потому что он до сих пор, наверное, не знает как существуют, на что живут так называемые работники умственного труда.

## НАРОД ПОЙМЕТ

Поэзия никогда коммерческой не станет, на ней не сколотишь капитал.

Писательская организация в короткий срок подготовила и выпустила несколько книг. Эти книги издаются с минимальными затратами. Начата поэтическая серия.

Сначала был издан сборник избранных произведений Сергея Потехина. И вот появился второй — избранные произведения Леонида Попова под названием «Обреченный на любовь». Составление, художественное и общее редактирование, предисловие Михаила Базанкова, редактор Евгений Разумов, художник Людмила Алексеева. Находится в производстве сборник Евгения Разумова.

«Сказать, что русская поэзия сейчас «на пути к расцвету», было бы лукавством, но то, что она проявляет немыслимую живучесть, — не преувеличение, а очевидность», — пишет критик Ст. Золотцев в статье, часть которой опубликована в сборнике Леонида Попова. Критик знает, что подлинная поэзия и в экстремальных условиях звучит... Говоря о творчестве Леонида Попова, подчеркивает, что в его стихах звучит прежде всего мучительный мотив хмуровой и суровой молчаливости, на которую обречена теперь поэзия, мотив ее безгласности. «Но — звучит! — пусть даже и напечатаны стихи в «Литературной Костроме».

Сказать свое новое слово — в сегодняшней России поэты почти начисто лишены такой возможности... И все-таки: благодаря подвижничеству людей, для которых поэзия — не просто жизнь, но — житие, Россия остается «поцелуем на морозе».

Чтобы понять, почему приводится эта цитата, нужно читать только что вышедшую книгу Леонида Попова.

Нет чувства выше, чем тоска  
По родине своей.  
Кто приходил издалека,  
Тот знает цену ей.  
Что там, на родине, сейчас  
Ручьи окрест кричат.  
И сумасшедше пахнет наст  
В апреле по ночам.  
Там воздух помнит голос мой,  
Там — мать, отец, — народ,  
Который, что ни пой, — поймет!  
А не поймет... Не пой.

## И УХОДЯТ ОТ НАС...

После тяжелой болезни скончался поэт Николай Зайцев, давний автор «Литературной Костромы»...

В наше время неожиданно и часто приходится говорить о том, как обрываются жизни, потому что век человеческий укорачивают страдания, невзгоды, болезни, порожденные смутой, экологическим загрязнением окружающей среды — нашего житейского пространства.

Николай Николаевич Зайцев был в расцвете сил... Родился он в 1960 году в красносельской деревне. Окончил профтехучилище в Костроме, государственный университет — в Саратове, там же работал преподавателем истории. Встревоженный тяжким недугом, потянулся на родину. Последнее время работал в Красносельском училище художественной обработки металлов...

Друзья его принесли тетрадку стихов в редакцию, мечтают издать книгу... Вот одно из стихотворений — как его прощание.

Перед дальней дорогой  
присядьте хотя б на минуту.  
Как обычай велит,  
не сорите избитым словцом.  
Может быть, на земле  
очень нужно кому-то  
посмотреть на прощание  
в открытое ваше лицо...

Может быть, потому  
путь земной нам становится труден,  
что стесняемся чувств,  
редко смотрим друг другу в глаза.  
И уходят от нас дорогие,  
нам близкие люди,  
за черту, за которой  
их голос расслышать нельзя.

## ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Провожая старый год, писатели за товарищеским столом говорили о пережитом. Один из тостов, произнесенных на этой встрече, выражал общую надежду на стабилизацию обстановки в стране, на улучшение экономического положения. Кроме того, с горечью было сказано о разрушении рус-

ских национальных традиций, культуры, системы образования, государственного книгоиздательства за последние три года.

Коллеги и товарищи поздравили с днем рождения старейшего писателя К.И.Абатурова и профессора Ю.В.Лебедева. Художник А.П.Белых рассказал о поездке в США, где на нескольких выставках экспонируются его работы. Коротко делились впечатлениями о своем визите в заокеанскую страну и писатели М.Ф.Базанков, В.И.Шапошников, Ю.В.-Лебедев. Предполагается публикация писательских путевых материалов в следующем номере «Литературной Костромы».

По дорогам минувших лет Страны Советов с баяном и песнями «провел» присутствующих писатель В.М.Старателев. Много было спето прекрасных песен, они воскрешали в памяти лучшие дни молодости, передавали настроение людей, многое повидавших...

## **ОБЕТОВАННЫЙ КРАЙ** сборник, изданный в Костроме

Весной 1987 года в Польской народной республике (город Лодзь) издана антология прозы, представляющая писателей Верхней Волги. Составитель Василий Kochнов включил в эту антологию рассказы костромичей Михаила Базанкова, Ольги Гуссаковской, Василия Травкина. Осеню того же года на литературном вечере в Петркове-Трибунальском я познакомился с поэтом прозаиком и публицистом Рафалом Орлевским. Известный писатель, общественный деятель, вдобавок еще и сатирик, переводчик, проявил интерес к творчеству костромских литераторов. Человек он профессионально активный и это сразу почувствовалось — предпримчивый, деловой, у которого слова не расходятся с делом. Пришлось подробно отвечать на его разнообразные вопросы, характеризовать каждого нашего литератора по направленности работы, философской позиции, характеру, стилю письма. Были вопросы и о постановке издательского дела в стране и в нашем городе, о полиграфических возможностях, о сроках издания книг...

А затем — вторая встреча — у нас в Костроме.

И вот через несколько месяцев польские друзья подарили в писательскую организацию сборник «Слово с Волги», в котором изданы на польском языке стихи двенадцати костромских поэтов.

Когда с ответным визитом в Петрков-Трибуналский поехали писатели Б.Гусев, А.Беляев, В.Травкин, был разговор о том, что неплохо бы издать польских поэтов — разве придумаешь лучший подарок друзьям?

Рафалу Орлевскому на визиты, знакомство, подбор стихов и перевод их, на подготовку к изданию, производство и на доставку авторам новой книги потребовалось около полугода. Пример этотставил практические вопросы, наводил на невеселые размышления. На издание книги в Ярославле требуется костромским авторам пять-шесть лет, а тут речь надо ввести о сжатых сроках. Кто переведет стихи? Где взять бумагу? Кто будет печатать? — привычный частокол вопросов, которыми легко отгородиться от любого самого малого дела.

Задуманное все-таки удалось осуществить при поддержке идеологического отдела обкома КПСС, областного управления культуры, областного отделения Фонда мира (А как же иначе?).

В мае этого года оперативно издан поэтический сборник подарочного формата «Обетованный край». Стихи поэтов Пиотровского воеводства. ПНР. Кострома, 1989, тираж 500 экземпляров. Перевод Нины Снеговой, Вячеслава Смирнова, Елены Смоленцевой. Подстрочный перевод Александра Голубкова. Оформление Ирины Соглачаевой. Сборник подготовлен под общей редакцией Михаила Базанкова. Отпечатан в областной типографии имени М.Горького Костромского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Столь подробно сообщаем об этом издании потому, что со временем, пожалуй, оно станет библиографической редкостью. «Литературная Кострома» предлагает читателям стихи из сборника «Обетованный край».

## **ВЕРИТЬ В СЕБЯ, БЫТЬ САМИМ СОБОЙ...**

Однажды почувствовал, что живопись способна остановить будничную повседневную суету, пустяковую обязательность перед множеством условностей. Одна картина вдруг раздвигает пространство, в котором тесно твоим чувствам и сокровенным думам, нечто новое рождается в душе, и сам себе кажешься другим человеком, наделенным нереализованными возможностями. Осознаешь способность видеть чувствовать, понимать невысказанные откровения художника, музыканта, поэта. Иным смыслом наполняются судьбы род-

ных, знакомых, близких людей, терпеливо изо дня в день несущих свой крест через житейское поле.

Утренний взор мальчугана с картины «Утро» помогает верить в себя, вспомнить свое детство и все, о чем мечталось, что по воле коварных людей выпадало на сиротскую долю в сороковые годы...

Каждый зритель по-своему вглядывается в лицо этого мальчика. Оно открыто и чисто. Он весь открыт и доверчив... Но сжимается сердце в тревоге за него, за его распахнутость перед жестоким временем, когда нет ни сострадания, ни совести, ни чести, ни стыда. Что творится вокруг, какие страшные картины суетливого бесплодного торгашеского бытия придется увидеть этими юными глазами? «Прости нас, малыш, за все, что сотворили до тебя на российской земле. Сумеем ли мы когда-нибудь искупить свою вину перед детьми?» — так думал я, глядя навстречу требовательно-искреннему и в то же время укоряющему взору. Почему-то вспомнился рассказ Юрия Казакова «Во сне ты горько пласал»: «с тоской думал, что ты мудрее меня, что знаешь нечто такое, что я и не знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что царствие божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?»

«В пору, братец мой, было и мне заплакать...» Перед этим взглядом, перед этим «высшим знанием». Отчаянье, тоска, печаль о невозвратном и несвершенном?

Но художница Люба уже успела поставить рядом с картиной «Утро» два портрета - слева и справа. И мне показалось: по лицу мальчика пробежала легкая тень, затем щеки его слегка порозовели в каком-то смущении, а глаза едва заметно прищурились, выдавая новую сосредоточенность его «высшего знания». Все три работы нашли внутреннюю взаимосвязь — может быть, только в сей миг увиделось мне это, а в замыслах художника подобных философских «нагрузок» не было предусмотрено...

Каждый видит как может. Я впервые видел работы молодой художницы в мастерской. Да, не на выставке, а в мастерской, и в такой последовательности, какую продиктовала ситуация встречи. И «Автопортрет» Любови Белых, и ее работы «Вера», «Голубая горница», «У окна», уже виденные раньше, теперь наполнялись более глубоким содержанием. Конечно, оно было и прежде, оно продикто-

вано мироощущением, художественным восприятием и собственной философией жизни, выстроенной Личностью. Любовь Белых однажды сказала: «Современная жизнь достаточно заполнена трудностями и огорчениями, и поэтому, мне думается, искусство должно нести радость. Оно призвано обращать людей к красоте, состраданию и добру». Сказанное для меня не является особым откровением, повторенная истина не всякий раз восхищает свежестью выражения. Художники вообще не очень-то любят рассуждать, словами обозначать чувства и мысли. Им даны другие средства. Свой мир у художника, свое отношение к ценностям жизни. Это понятно по «Автопортрету», да по любой удивившей работе.

Некоторые ее картины пошли в мир, находятся в частных собраниях во Франции, Германии, Англии, являются собственностью Министерства культуры России, находятся в Костромском музее изобразительных искусств, экспонировались на всесоюзных, республиканских, зональных выставках и за рубежом: в Польше, Финляндии, Германии, на Кипре. К тридцати годам Любовь Алексеевна Белых имеет широкое признание. С девятнадцати лет участвует в различных выставках.

А родилась она в Костроме. В тринадцать лет по конкурсу поступила в Московскую среднюю художественную школу, затем училась в Ленинградском институте имени И.Е.Репина, три года работала в творческих мастерских Академии художеств в Москве. Родители — народный художник А.П.Белых и художница Н.А.Белых, разумеется причастны к формированию таланта.

Люба очень рано поняла, что трудно сказать нечто новое в искусстве, это возможно при высоком мастерстве и знании традиций, при умении оставаться на своем видении мира. Пейзаж и портрет позволяют ей строить собственные взаимоотношения с житейским пространством, временем и зрителем.

Выпускница монументальной мастерской в июне 1986 года на защите диплома под руководством профессора А.А.Мыльникова представила живописное полотно «Старый окоп». Портрет-картина повествует не только об отце — Алексее Павловиче, бывшем воине 88-го гвардейского Краснознаменного Гдынского артиллерийского полка... Скорбящий, раздумчивый взгляд стоящего у обрыва на берегу Буга. Боль утрат, скорбная память о павших товарищах и размышления о жизни...

Но что видят глаза мальчика, который может быть, тоже горько плакал во сне? Что запомнит он? О чём хочет спросить? Что знает в своем высшем знании о земных делах дедов и отцов? Какое слово задержано на губах и согрето затаенным дыханием? Картина «Старый окоп» публицистически понятна. А утренний мальчик — тайна. Подлинное искусство всегда несет волнующую тайну, помогает верить в себя и пробуждает светлые чувства.

## НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Приветствуем вас в Новом году, желаем благополучия и житейских радостей. Постоянны наши подписчики и те, кто подписался на «Литературную Кострому» впервые или намерен покупать ее в газетных киосках, смогут убедиться в том, что у этого издания самые добрые намерения: помочь людям жить в стремлении к душевному равновесию, согласию с родными, знакомыми, близкими. Культурологические, просветительские, исторические, литературные материалы всегда продиктованы в первую очередь заботой о человеке. Ежемесячник строится на внимании к судьбам, на интересе к творческим возможностям земляков, к особенностям культуры, быта и традиций.

Без оголтелой политизированности, без крикливого противостояния мы обходимся с первых номеров. Никакой «борьбы», никаких узкогрупповых интересов редакция не поддерживает, ни одной современной партии или какому-либо поспешному движению не подыгрывает. Познание жизни, исследование человеческого бытия, культура общения и чистота русского языка, история родного края и судьбы земляков — постоянно в поле зрения.

Жизнь полна противоречий. Противоположные точки зрения мы и впредь будем представлять без редакционных комментариев и подведения итогов. Выбор сделают сами читатели. Наше издание сохранит свой сдержаненный стиль, потому что главные жизненные ценности не изменились. Человек — в основе всего. Его самочувствие и понимание сущего, его работа и самовыражение, его любовь и надежда — вот главное. Разве есть что-либо интереснее человеческой души, самой природы, ее высшего разума?

## «ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО»

Валентин Чулков первые стихи опубликовал еще в 1957 году в островской районной газете. С тех пор как он пишет сам о себе, стихи его изредка появляются — мелькают в некоторых изданиях районного и республиканского масштаба... «Звезд с неба не хватаю, но есть какое-то количество читателей, которым мои стихи по душе. Этим и держусь в своем творчестве».

В. М. Чулков родился в 1935 году, работает художником-оформителем, он и рисунки готовит к своим стихам. Сложилась первая книжка в полтора печатных листа. Оформил автор. А редакция районной газеты «Красное Приволжье» отпечатала ее тиражом почти пять тысяч экземпляров. И обратилась к читателям за разъяснением: «Перед вами четвертый выпуск литературного приложения. Ждем ваших отзывов, так как в Новом году мы пополним библиотечку, составленную из произведений постоянных авторов «Литературных страниц».

В книге несколько циклов: «Свет дальних родников», «Привокзальные березы», «Светлое наследство», «Серебряный юбилей», «Апрельский дождь», «Плакучая ива», «С волжской кручи» и другие.

Душевное слово не терпит  
неправды и лести,  
Суровым и жестким нередко  
бывает оно...

Это убеждение автора подтверждается лучшими стихами.

Четвертая книга в газете. Еще раз редактор красносельской газеты Александр Лобанов, литератор по призванию, нашел возможность поддержать своих авторов. Теперь эта форма публикаций в нашей области становится приемлемой для многих районных газет. В Павине, Нерехте, Галиче, Чухломе и Георгиевском все чаще уделяют внимание творческим людям. Замысел таких изданий, предложенный писательской организацией, поддержан комитетом по печати и массовой информации, осуществляется на практике. Межевская районная газета, например, подготовила уже четвертый выпуск, в Галиче сделано шесть таких выпусков. Новое явление провинциальной культуры становится все более заметным, пора уже анализировать и оценить его.

## «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

Выход книги пародий в наше время да еще таким тиражом — тридцать тысяч экземпляров, — конечно, удивляет. И по объему эта книга в разряде изданий соответствующего литературного жанра немного уступает книгам, которые издает корифей-пародист Александр Иванов. И бумага привлекательная — офсетная № 1. И оформление богатое: по буквице на каждой странице, обложка — гляденская.

Осуществлено не в столице, издательско-полиграфическое предприятие «Кострома» постаралось. Художник О.И.Пакшаева. Автор — Юрий Николаевич Семенов. Все областные издания нередко публикуют его пародии, на литературных вечерах он часто выступает.

«В двух словах об авторе» выразился писатель Вит. Пашин. Он сказал: «Меня, несомненно, радует появление в костромской литературе нового сатирика, облюбовавшего жанр стихотворной пародии. Тем более, что автор этот наделен зорким глазом, чутким ухом и умением не только вычленить небрежности, несуразности и прочие огрехи в творчестве того или иного поэта, но и остроумно высмеять их, доведя порой до абсурда.

Юрий Семенов обладает необходимым набором стихотворных средств для создания добрых пародий. Мне особенно по душе короткие пародии автора — именно в них больше всего удачных, неожиданных поворотов, составляющих душу сатирического произведения.

Коллеги знают автора журналистом, хотя в трудовой биографии его, начавшейся в пятнадцать лет, все гораздо сложнее: фрезеровщик, учитель, комсомольский, спортивный работник, редактор многотиражки...

Настоящая книжка зрела давно, лет пятнадцать. Написано много, было из чего выбрать, чтобы предложить читателю небольшую, но, видимо, лучшую часть вышедшего из-под пера Юрия Семенова».

Полностью приводим это предисловие, потому что сатирики и юмористы не любят, когда их цитируют отрывками. Вообще же некоторые из них не терпят, когда другие иронизируют, высмеивают или критикуют. У них принято «подрываться на собственной мине...».

Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит... Или что-то в этом роде. Свой подход к пародиру-

емым и у Юрия Семенова. Под его «зоркий глаз, чуткое ухо и умение не только вычленить» попали представители «всех времен и народов»: Виктор Боков, Авдrey Вознесенский, Сергей Мнацаканян, Владимир Костров, Виктор Лапшин, Леонид Попов, Борис Рахманин, Александр Москаленко, Николай Якушев, Нина Снегова, Вадим Рабинович, Екатерина Шевелева, Инна Кабыш, Татьяна Смертина, Александр Юдахин, Владимир Максимов, Глеб Горбовский, Евгений Евтушенко, Григорий Марковский, Татьяна Кузовleva, Сергей Савин, Евгений Разумов, Александр Бугров, Евгений Чепурных, Елена Николаевская, Константин Скворцов, Александр Говоров, Александр Твердохлеб и т. д. и т. п.

Дружите, поэты, с Юрием Семеновым, если хотите попасть в такой список. Не пишите «в стол», а пишите пародисту. И помните: Пушкин тоже иногда сочинял пародии, эпиграммы... А Лермонтов, кажется, этим занимался реже. Сейчас пародистов развелось побольше. В нашем городе к счастью, тоже есть. А то как же без них очищать поэтический слог?

Спасибо Юрию Семенову за улыбки, которые добрые, спасибо за книгу, подаренную писательской организации с надписью: «Профессионалам от любителя. СП от СП (Союзу писателей от Семенова-Пародиста). С уважением Семенов. 27.XI.92.». Мы зафиксировали документально это историческое событие. И поняли, что слово ПАРОДИСТ надо писать с большой буквы.

## СОДРУЖЕСТВО

— Вы показались мне счастливыми, — сказала Джуди Хоган на встрече с журналистами и литераторами редакции шарыинской газеты «Бетлужский край». — Теперь я знаю, что писать о русских, как видеть Россию. Собираюсь приехать еще раз.

Минувшим летом американская писательница побывала в нескольких районах нашей области, отдыхала в писательских Домах творчества недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Но самые яркие, интересные впечатления, по ее словам, получила она в поездке во время встреч с руководителями города Костромы, области, Шары, Межи, Нерехты, с жителями районов, деревень, с работниками культуры, художниками, литераторами. Привлекла американку естественность и доброта наших людей, их терпеливость и

трудолюбие. Особенно понравилась жизнь в деревне. Она сказала: «Мечтаю жить в русской деревне. Трудности не пугают».

Правда, Джуди не имеет еще полного представления о том, как выстраиваются будни сельского жителя, что изматывает его и что омрачает душу.

Отношение американцев к нашей действительности было запрограммировано политикой в период «холодной войны». Теперь экзотическое любопытство и определенный страх сменяются удивлением перед правдой нашей жизни, восхищением стойкостью и великодушием русских людей. Даже завидуют они, когда видят нашу жизнь, еще свободную от постоянного расчета, не исковерканную окончательно вторжением бизнеса.

Человек, имеющий душу, вызывает у них зависть. Большая и добная деревенская семья — тоже. Может быть, непознанный мир, неиспытанный на себе образ жизни гостю непременно кажется розовым? Но Джуди Хоган — творческий человек, много ездит, много видела и, видимо, имеет право давать положительные оценки тому, что мы в своей повседневности уже не ценим, даже не замечаем. Пусть эта публикация будет ей рождественским подарком от костромских писателей. Так я написал в предисловии к стихам.

## «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»

Творчество соприкасаемо, всегда имеет способность преодолевать языковой, пространственный и временной барьеры. Поэты, живописцы, музыканты, актеры везде имеют интерес друг к другу и стремятся к взаимопониманию. Общение, прямое или заочное, обогащает творческих людей, вызывает их на более высокий профессиональный уровень. И в самой далекой провинции мы не можем усидеть в гордом одиночестве, какой бы мерой таланта ни обладали. Мы ищем единомышленников и тех, кого трудно бывает сразу понять. Прочтение другого автора из другой культуры вызывает новые чувства и мысли. И с удивлением находишь много общего...

Так было и на этот раз. Стихи чехословацкого поэта, заслуженного писателя не прошли мимо сердца. Может быть, этому узнаванию помогли хорошие переводы Юнны Мориц, Петра Вегина... Но главная причина — мировоззрение самого поэта, его образный строй, его интонация можно сказать, музыка души.

ОЛДРЖИХ ВЫГЛИДАЛ родился в 1921 году. Окончил пражский Карлов университет. В пятидесятых годах находил вдохновение в воспоминаниях о суровом детстве, в «горьком опыте жизни, отражающем любовную и этическую рефлексию». Особенно мудрыми были его книги семидесятых годов (обращаю внимание на эти названия) «Святое семейство», «Дички», «Отцовские руки».

Сила его таланта проявилась в сонетах, они стали оптимальной формой выражения жизненных ощущений, потому, наверно, что естественная образность подчиняется дисциплинирующей композиции. Критики подчеркивают: потомственное постоянство поэта никогда не означало уход в прошлое. Выглидалу удается и взгляд в будущее.

Это подтверждает сборник «Свадебный подарок». Через свою дочь обращается поэт к молодому поколению, чтобы оно в торопливом нынешнем мире не теряло социальную память и сохранило умение отличать подлинные ценности.

## СТАРШИЙ БРАТ

Районная газета печатала местную Книгу памяти... Сверху первой строкой обозначено: «Базанов Сергей Федорович, красноармеец, родился в 1923 году, место рождения неизвестно...».

Душа вздрогнула и оглянулась... Сережа, старший брат... Все известно. И место рождения. И год призыва. Мать многие знают и отца. Сестер и братьев. А он, Сережа наш, без вести пропавший. Писали, искали. Никакого ответа. Где захоронен? «Скажите, дяденька начальник...».

Гулко и грозно проползла над жестянной крышей низкая свинцовая туча. Кабинетный сумрак постепенно расслоился, тягучим табачным дымом поплыл в окно, застрял меж близких ветвей черемухи и, прошитый сеяньем зачистного дождика, превратился в клочья тумана. Человек в новенькой военной форме положил «беломорину» на край стеклянной граненой пепельницы, поскрипывая хромовыми сапогами и портупеей, вышел из-за массивного двухтумбового стола, чтобы искусственно смягченным, сочувствующим голосом повторитьказанное минуту назад:

— Все проходит.. Понимаю, памяти не прикажешь. Многое пережито, в документах мало значится. Да, был, призывался. Но архив районный сгорел, область раньше другая была — Горьковская. Запрашивали: ни в живых, ни

в мертвых не обнаружен. Как теперь без вести пропавшего искать? Под Москвой-то тяжело складывалось... Разве это горе только твое, малец? Разве только ты брата своего не можешь найти? Сколько их без вести полегло, потеряно — не учтем...

Другой человек, с восковато блестящим лицом, старается утешить.

Мы рядом стоим у распахнутого окна, видим памятную дорогу из-за реки к приземистому, несуществующему уже, военкомату. Она не такая торная, как прежде, на другом берегу едва проглядывает тропинкой узкой. И тропа эта скоро исчезнет: вместо тридцати девяты тысяч жителей в предвоенные годы теперь в районе всего-то около семи тысяч. Исчезает тропа, в нежилых деревнях потерялась.

Расстаемся до встречи в надежде: может быть, кто-нибудь знает, видел,помнит моего брата в том огненном подмосковном году.

Когда я очутился за рекой — оглянулся: мой ровесник все стоял на берегу, будто ждал, что оглянусь и посочувствую ему. Отца и старшего брата все еще ждет он с войны... Он понимал меня — и короткий взмах руки его многое мне сказал...

Несспешным шагом миновал я четыре растерзанные отчуждением и беспамятством деревни, а перед следующей настигла лохматая, взбудораженная гряда облаков, ведущая за собой повторную устрашающую непогоду.

Облака нависали, ослабляя свет. Постоянно казалось: кто-то цепко следит за мной, будто бы читает мои мысли, предугадывает каждое мое движение. Страшно было оглянуться, но и впереди подозрительно качались, потрескивали кусты, взметывались напуганные птицы, тенью прошмыгнул какой-то страшный зверь. Даже в детстве не приходилось так настороживаться на привычной тропе. Не робость охватывала меня, не страх за собственную жизнь колотил в виски, а нечто большее, всеохватное властновало надо всем вокруг и надо мной... Но ударил по вершинам берез тугой ветер, облаком вскружил желтую листву, раскачнулся нависающие над тропой мрачные лохмотья высоченных елей — сразу стало свободнее, светлее. И деревня родная увиделась на взгорье. Жилая, давняя. Голосистая хромочка вывела песню за околицу, будто старший брат играл... А ноги не слушаются — не могу на взгорок взойти.

Вижу себя маленьким, будто бы стою на широкой скамейке под зеркалом. В избе, вдруг ставшей холодной и тесной, полно взволнованных, но странно молчаливых людей. Незнакомые, да добрые вроде бы. Все они из разных деревень,

через наше Тюково шли, зачем-то в нашем доме собирались. И под окнами — люди. Ждут... Кто-то сказал: «Собирайся, Сергей, пора», — словно на работу позвал. А Сережа и заторопился.

Бот он прощается. Таким я его никогда не видел: голова наголо стрижена, на щеках блестят дорожки от слез. «До свиданья, братишко, — говорит он. — Ты только не реви, не надо. Не надо реветь, ты — мужчина». О, сколько раз потом без него приходилось утешаться такими словами, когда обидчики давили несправедливостью, ложью, подтасованными подозрениями, когда невинного обвиняли, над безотцовщиной и бедностью издеваясь.

Женщины просят Сергея поиграть на прощание. Он берет нашу родную гармонь с красными мехами, с белыми и черными кнопочками с одной стороны, с желтыми да красными пуговками — с другой. Ремешок — на плечо. Разошлись, раскраснелись меха, кое-где по ним беленькие цветочки. Играй, хромочка, прощального, играй последний раз. Печально получается, до слез печально.

Брат глядит на меня, будто завидует, что я дома с мамой остаюсь. Он и на маму прощально взглянул. «Ой, Сереженька! Ой, сыночек! Вслед за отцом уходишь...» — заголосила мама.

Хромочку с плеча опустил, пискнула она растяжисто... Сережа маму приобнял и успокаивает какими-то ласковыми словами. Что он шепчет — не понять и не догадаться: не бывало у нас такого прощения. С братьями и сестрами стал прощаться. А потом снова про меня вспомнил, берет на руки и шепчет:

— Не скучай без меня, братик. Как доеду, письмо прислю с рисунками. И стихи напишу новые. И ты мне пиши, хоть по буквке утром и вечером — вот и получится хорошее письмо. Осеню, как только снег выпадет, я и приду. Во-он оттуда, как раз из этого окна дорогу видать...

— И папа с тобой придет?

— И папа. Ты в окошечко гляди. — Он поставил меня на скамейку возле того окна и «луночку» на запотелости прочистил, чтобы лучше было видно. — Я сейчас во-о-он туда пойду. Ты гляди, я тебе от березы рукой помашу. Ладно? А на улицу не бегай. Только не плачь, не расстраивай маму...

Дождь ли хлещет, выюга ли гуляет, туман ли утренний приподымается — всегда, если даль в нашем поле непроглядна, кажется мне, будто бы Сережа в зеленой тужурке напористо идет обратно против жестокого ветра, домой идет... Сколько раз, обманутый виденьем, выбегал я в поле встре-

чать, стоял в холодном напряженном одиночестве часами и ждал, порываясь навстречу при всяком ветровом шевеленьи кустов вдали... Иногда приходила почтальонка. Оттуда приходила. Но не было писем, долго не было первого письма. А потом такое было (теперь думаю: как же надсмотрщики его пропустили, этот «треугольничек»?): «Дорогие мои родные... Теперь я совсем другой. После лагерей нас погнали на передовую, а ветром шатает. Со мной друг из Василярова, Николаем его звать. Помнишь, мама, он в Преображенскую у нас ночевал. Все бы ничего, да есть хочется по ночам. Сейчас бы загорелую корочку после Миши...».

Мало было писем. Да и те пожаром отняло. Осталось свидетельство о рождении да маленькая фотокарточка. Старший брат. Молодой, красивый бравый. Веселый, улыбчивый взгляд. Скрученная челка достает до левой брови. Широко разложен воротник белой рубашки. Значки с цепочками — на пиджаке. Листочек бумаги в нагрудном кармане полосочной белеет и карандашик торчит. Наверно, красный карандашик. Сережа любил красный цвет, флаги да землянику рисовал. Учительница рассказывала: «Все давалось ему. Способный... А сочинять начнет — любо послушать. И споет. И спляшет. И сыграет хоть что, быстро на слух брал...»

Каждое лето хожу той тропой от одной несуществующей деревни до другой в сторону райцентра, где не сохранился старый райвоенкомат. И слышится мне в порывах сочувствующего ветра голос хромочки, на которой Сережа играл. Где она, хромочка с красными мехами? Кто на ней играет? Знаю, Сережину хромку мама тайком от нас променяла в сорок седьмом на три буханки городского манящего хлеба да на фунт сахара, похожего на синий вешний лед.

Был Сережа. Кто-то видел его там, на передовой. Кто скажет, что видел его, восемнадцатилетнего связиста...

Часто оглядывается душа на тропинки детства. А память выводит брата зrimо в мой самый родной дом, которого давно уже нет. Мы встречаемся там и, все понимая, глядим друг другу в глаза. Мы знаем, кого винить, но не сгорела в нас терпеливая способность прощать. Помнить, понимать и, стиснув зубы, скрывая слезы, прощать!

Се-ре-жа! Тебе еще все восемнадцать... Что ждало тебя в этой жизни? Какие были бы у тебя сыновья, внуки и правнуки? Друг твой тоже не вернулся оттуда... И ровесники почти все не вернулись. Жизнь горька. Правят ею оставшиеся, не-призванные или уцелевшие. Или дети уцелевших. Бе-зотцовщина, сам знаешь, чем красна... Все еще надеюсь на чудо, дорогой мой... Спешные военкоматовские записи по

каким-то причинам проскочили тебя. Обещано в дополнительном томе обозначить отдельной строкой. Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает. Родителей наших давно уже нет. Мама до последнего часа ждала тебя. Много раз по ночам слышал, как она причитала:

— Сережа, сыночек. Кровиночка моя. Отписали про тебя: без вести пропал... Как же так, без вести, раз в убитых не нашли? Может, жив ты, Сереженька, только лихорадко далеко запрятали. У Мары Витюшко тоже долго пропадал, да вдруг отыскался, пришел, только изломатый весь. Ох, сыночек, сыночек...

Как в детстве, закрываю глаза плотно сжатыми ладонями, чтобы не разреветься...

## СПРАВЕДЛИВО ЛИ?

Такое письмо получило...

Пишу, сказать надо о том, что десятилетиями болит. Из своего безотцовского детства знаю, сердцем испытано это. И до сих пор, видно, нет до нас никому дела. Вот уже говорят о льготах и привилегиях для детей репрессированных, а про осиротелых в годы войны и не упоминают.

Нынче почет и уважение, благодарная память и всяческие льготы тем, кто вернулся с войны. Недавно услышал по радио прочитанное письмо сердобольного человека, он все-таки печалится за сирот военного времени, как им трудно было входить в жизнь без отцовского и родительского додгляда, каково им и теперь бороться за выживание, если здоровье было подорвано еще в детстве недоеданием, унижениями, трудом непосильным.

Отцы не вернулись с войны, у некоторых сразу же в сорок первом под Москвой погибли да без вести пропали отцы-то и старшие братья, матери надорвались в горе и работе. Не все были мы в детских домах. И после войны нашему брату ой как досталось! Прямо надо сказать, притесняли без-отцовщину те, кто с фронта пришел да какую-нибудь власть засмел. Как-то забыли они, пришедшие при наградах, о долгे перед теми, кто погиб, кому, может быть, в последний час было обещано призреть, детей не забывать и семье помочь.

Сынки холеных ветеранов под отцовским крылом защищенные были, им дорожку в жизнь властные авторитеты прокладывали: так было, так выстраивалось — по авторитету и положению. Сиротам, безотцовщине никогданика-

ких льгот и поддержек не полагалось. Даже за труд безответный спасибо не сказывали. Нынче опять господа-ветераны, блистающие наградами, да еще и здоровье крепкое имеющие, на виду. Что же вы ни разу в жизни не спохватились и голос свой в защиту безотцовщины да сирот не подали? Как же это так можно было быстрехонько забыть фронтовое братство и долг перед теми, кто погибал рядом с вами?..

Вот прочитал в одной заметке возмущение зарубежного журналиста, увидавшего могутного ветерана, который старушонок вытеснял из очереди: дескать, стыдно перед солдатками размахивать удостоверением и требовать льготы за то, что тебя не убили на войне. А ведь в этом замечании есть справедливость. Я и сам не раз и не два видел в районе, как солдатки ревели от притеснений какого-нибудь властного ветерана.

Своего отца и не помню, ушел он из председателей колхоза сразу на фронт, когда мне два года было. Троє нас у матери осталось — малышня желторотая. Мама дни и ночи в работе. А потом и мы, троица, с ней на телеге поехали — это помню, тогда она навоз на поле возила и плуг таскала, в кореннике ходила, пахали тогда на женщинах. Мы рядом копошились, нередко в слезах и соплях... ой!..

С малых лет я пошел в колхозный труд, семь классов кончил да в училище механизации сумел поступить, больше тридцати лет на тракторе колотился, а что заработал? Радикулит да инфаркт. Сбережения, какие были на дом, и те пропали — украло их государство. Никому я теперь не нужен, никакая власть про меня и не вспомнит. Так с самого малого детства. Ветеранам — почести, а отца моего будто и не было. В Книге памяти двумя строчечками обозначат — и то хорошо.

В столице шумят и требуют льготы детям репрессированных родителей, а детям фронтовиков и солдаток, чей век оказался коротким, — ничего не положено? Доля наша не прогляжена, в книгах мало описана. На собраниях ветеранских не упоминают про нас. А справедливо ли?..

Н. ЗАЙЦЕВ.

(«Литературная Кострома» — № 1 — 1995 г.).

Теперь Николая уже нет — скоропостижно ушел он от трудов и забот земных.

## «АНТЕЙ, ИЛИ ВЫЗОВ САМОМУ СЕБЕ»

В условиях кризиса расчетливо формируется система пренебрежения к творческим людям. Особенно страдают писатели. И начинающего литератора поддержать никак нельзя: нет издательской возможности. Местное управление еще не прониклось такой заботой, все нет и нет средств на развитие издательской деятельности. Потому удивительно появление в нашей области тоненьких книг — не только поэтических сборников, но и книг для детей, документальной прозы. Районные типографии печатают такие книжки. Что делать, если государству это не нужно, если нет заботы о душе и нравственности? Если в полной свободе сейчас разбой и преступность. «Свобода разбоя, свобода преступности у нас сильно развиты». Беспокоит провал исторической памяти в России, страшно беспокоит. «Честной истории у нас нет сегодня».

По многим причинам радуешься таким книжкам, издаваемым часто за свой счет, как книга Юрия Ивановича Шибакова. Документальная искренность, душевная исповедь с приметами нашего времени, которые могут стать штрихами исторического свойства, делают его книгу заслуживающей внимания. Признания автора выражены в записях разных лет. Размышления, рассказы о встречах, басни, лирические зарисовки, этюды написаны без профессиональной натужности способом естественного самовыражения в минуты вызова самому себе или в желании поделиться увиденным, познанным и понятым. Стиль повествования таков, что нельзя лукавить, склоняться от собственных ощущений, от верности документальной основе. Много известных в области людей упомянуто в книге, они, как говорится, не дадут солгать. Да автору это лукавство и не требуется: людей понимает и видит по-своему, даже самых «кименитых» воспринимает без розовых очков. Он признается: «Как я собирал правду? Я жил. И вместе с этим приходили ко мне «скосы земли». Сколько сделано маленьких и больших открытий!.. Что-то записывал, что-то оставлял в себе». Много прочитано — Юрий Иванович собиратель книг, знаток русской литературы, не только классической, но и современной; внимательно читает и костромских авторов. В каждой прочитанной книге — пометки, пометки... Возвращаясь к этим книгам для размышлений, иногда делал записи, вступал в дискуссии с авторами, анализировал... Тут есть движение души, поиск беспокойного

сердца. Иногда в серьезных раздумьях и печали, иногда с иронической улыбкой, иногда — в справедливой претензии к людям.

«Я ходил. Я блуждал. Но — что-то искал... Какое-то время был весь в себе. Я много думал... И... мало видел». Стремление видеть, двигаться, встречаться, узнавать, чтобы понять себя и других, осмыслить собственное время и пространство для взгляда в будущее страны, народа, нации — многое отразилось в изданных записях. «Какие мы?», «Рыцари пера», «Чародеи слова», «Случайная встреча», «Земля», «Вакантное место», «Подвиг», «Постижение истины», «Сила Антея», «Трагедия пятидесятых годов», «Рукопожатие на всю жизнь», «Родник» и другие названия свидетельствуют о направленности издания.

Ю. И. Шибаков живет в Шарье, много лет работал на стройках, даже на строительстве гостиницы «России» в Москве. «Как и всегда, — признается он, — хочется много ездить, хочется много видеть. Шестой десяток, а жажда впечатлений не унимается. Будто все только впереди». Несколько лет занимался в литературном объединении «Земляки» под руководством писателя Михаила Базанкова. Встречался с известными писателями, имею их книги с дарственными надписями. Впрочем, сама книга расскажет обо всем».

Заметки и размышления Юрии Шибакова могут вызвать у других неравнодушных людей желание писать, вести подобные дневники. Может быть, такие «неотредактированные цензурой» записи станут когда-то примечательными документами нашего времени. Есть в книге, кроме зарисовок, очерков, статей, и короткие этюды, басни, записи с горькой иронией. Например, «Корыто». «Живопись». «Последние штаны».

## «ВЕХИ» — ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В предвечерний час набережная Волги предоставила благоприятную возможность задавать вопросы.

— Чем запомнился вам прошедший фестиваль «Вехи»?  
— было первое обращение к собеседницам.

— Право, не знаю... — коренная костромичка как бы оглядела город издалека и продолжала: — Не только улицы переменились, стали светлее, чище.. На людей было интересно смотреть. Концерты, спектакли? Не попала и не очень-то печалюсь об этом. Главное, наверное, в том, что

будет после фестиваля, какие перемены привнесет он в настроение и, если угодно, в стиль работы руководства города и области, в провинциальную культурную политику.

Еще одна неравнодушная к жизни города собеседница по своей инициативе вступила в разговор:

— Каждый будет помнить свое... Ах, да! Нашего сиамского кота Ваську вот здесь, на набережной, погладила сама Великая княгиня и долго с ним разговаривала, а московские телевизионщики старательно снимали эту сцену. Теперь наш Васька знаменитость. Один американец давал нам за него сто долларов, думает, за доллары все можно купить... Мы нашего Василия и за тысячу долларов не продадим, он у нас культурный...

Другой американский интеллектуал Джон Джордан на сиамского кота не обратил внимания — достоверно это знаю. Но удивлялся: как много в Костроме, даже в самых дальних районах, талантливых людей.

Наверняка он будет вспоминать каждый день фестиваля. Не раз прокрутит отнятую пленку, на которой запечатлены многие фольклорные ансамбли из районов, сцены из спектаклей, встречи на улицах, в храмах, в музее деревянного зодчества, в городской администрации, на выставках, в областном Совете, в концертных залах и на улицах города. Он признавался: «Впервые попал на такой праздник. Никогда его не забуду».

Многие гости фестиваля у нас в Костроме почувствовали, чем сильна провинция, чем она привлекательна и может гордиться. Российский дух, народная самобытность, искренность и душевность, талант и терпение, бескорыстие и великолодущие произрастают на земле провинциальной.

Еще предстоит анализировать итоги этого неординарного многодневного культурологического, эстетического, духовного действия, которое можно назвать многозначительным явлением провинциальной жизни России, утверждающим, что не все утрачено, потеряно, есть не только материальные потребности, под лавиной коммерческих увлечений не утрачена потребность в духовном.

Произошел организационный и творческий подъем, широкий, массовый, незабюрокраченный, проявился творческий потенциал многих костромских коллективов. Произошло сближение высокого профессионального искусства и традиционного, фольклорного, гордыня мастеров смягчилась под влиянием самодеятельного энтузиазма. Фестиваль открыл возможности для новой культурной политики с девизами возрождения.

Живая и напряженная, можно сказать, терпеливая подготовительная работа, вынесенная на плечах команды городской, дает возможность конкретизировать годовые и перспективные программы по всем общественным, творческим организациям. Город «разбудил» область, соседей, столичные управленческие структуры. То, что было в основе фестиваля, нашло внимание и поддержку российской интеллигенции. Локальная костромская идея культурного и духовного возрождения становится необходимой для всего провинциального пространства.

Многое высветил этот фестиваль. Мы узнали талантливых организаторов, убедились: наши творческие коллективы заслуживают почтения и внимания. Столичная щедрость в провинцию постоянно и бесплатно приходить не будет. И новые формы сохранения местной самобытности уже заявили о себе, но будет ли постоянное внимание к ней?

Продолжение фестиваля следует. Уже планируются провинциальные творческие сезоны, обменные программы с соседними областями. Городская администрация, проявив недюжинные организаторские способности, консолидирует творческие силы... Так всегда будет?

## СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ?

Существование литературы, интеллектуальный труд, творческая работа поставлены в унижение. Нет механизма правового и экономического регулирования издательской системы в период перехода к рынку, а переход этот очень сильно затягивается: по словам Чубайса, пройдена только десятая часть пути. Экономический крах терпят ранее высокорентабельные издательства, они прекращают свое существование. На смену им приходит «самодеятельность».

Остается уповать на то, что на всех этажах управления найдутся люди, способные осознать: без культуры, духовности, без всестороннего просвещения движение к лучшему невозможno. Именно поэтому в прошлом году участники второго съезда Ассоциации книгоиздателей обратились к парламентам и президентам независимых государств Содружества и призвали принять безотлагательные меры для спасения системы книгоиздания. Среди мер, которые необходимо принимать: предоставление существенных налоговых льгот или полное освобождение от налогов и сборов издательств, предприятий полиграфии, книжной торговли, так как налоги опять же ложатся на плечи чи-

тателей. В этом обращении речь идет и об осуществлении госзаказа на выпуск учебной, детской, научной, справочно-энциклопедической и другой литературы, о гарантированном обеспечении госзаказа бумагой и другими материалами по регулируемым ценам. Сказано было о необходимости разработки законов об издательской деятельности, авторском праве в независимых государствах в соответствии с международными нормами. Тогда же были осуждены административно-командные методы руководства книгоизданием со стороны Министерства печати и информации РФ, выражено недоверие министру М.Н. Полторанину.

Теперь министры меняются часто. А проблем все прибавляется. Читаешь материалы съездов с горечью: все разрушается до основания с безоглядной лихостью, а новое на смену не приходит.

Много проведено различных совещаний, съездов. Протестуем, молим о помощи и в провинциальной бедности надрывно начинаем с нуля там, где был наработан вековой опыт. Вспоминаем, что и в самые суровые военные годы удавалось издавать поэтические сборники, что в Костроме до 60-х годов было свое издательство. Теперь приходится по крохам собирать былой опыт, искать энтузиастов, еще не утративших издательское умение. И потому радуемся появлению изданий, которые осуществляют районные газеты. Если государство не заботится о культуре провинции, сама провинция должна позаботиться о себе.

## ЧЕРЕЗ ЗОЛОТО СЛЕЗЫ ЛЬЮТСЯ

В достатке жить — не разиня рот ходить.  
Пословица

В плаванье по великой сибирской реке Лене на теплоходе «Демьян Бедный» творческая дискуссия о путях выживания россиян дополняет личные наблюдения новой информацией, которая ранее была недоступна. По данным ежегодного аналитического обзора английской компании, занимающейся исследованиями мирового рынка золота, явно отмечено увеличение спроса на золото, особенно на ювелирные изделия, используемые в качестве украшений и на капиталовложения. С скачок в мировом производстве ювелирных изделий равный 329 тоннам стал третьим крупнейшим из

когда-либо отмеченных... Это удивительно на фоне продолжающегося снижения официального спроса на золото в большинстве промышленно развитых стран. Только в США да Италии отмечено значительное увеличение производства изделий... А цена на золото последние пять лет устойчиво падала, особенно на то, которое закупалось в России. Продажа золотых слитков из стран СНГ за три года возросла несмотря на падение уровня добычи и ликвидацию основной части золотых запасов бывшего Советского Союза.

Это было недавно...

---

Поджиная автобус, стоим в тенечке возле якутского профилактория «Строитель» и обсуждаем еще раз эту информацию к размышлению. Приглядевшись к нам издалека рабочий с соседней стройки, деловито подходит и обращается:

— Блоки не нужны? Есть два, с дверями. Недорого. Три бутылки всего. Берите сходу — пригодятся.  
— Блоки нужны, — говорю. — Но далеко везти.  
— Нет проблем. Доставим. А куда?  
— В Центральную Россию.  
— Понятно, — сообразил мужик. — Перевоз дорог. Тогда ничем помочь не могу. Мы — не дальномерчики. Сами соображайте.

Мимо проходящая женщина вмешалась: «А вы думали, он вам алмазы станет предлагать?»

Случайный эпизод, а вот вспоминается... касательно размышлений о том, как нам жить при наших богатствах.

В краю вечной мерзлоты, на огромных просторах открытой всем ветрам земли, многие люди ничего не сеют, но собирают урожай, просыпанный Богом. Есть такая легенда, рассказывающая о том, как Бог развозил по Земле сокровища и по какой-то причине рассыпал свой мешок над Якутией, а что упало собирать не стал. Не сразу люди узнали об этом, не каждый узнавший имел храбрость пойти между тысяч черных озер в суровую тайгу вдоль рек и речек. Сумрачное, молчаливое захолустье, как писал Василий Немирович-Данченко, известнейший революционный беллетрист, заглатывает смельчаков на многие недели, ведет их все дальше и дальше на поиски почвы, содержащей драгоценный металл. Идут одни, следом за ними — другие. И зачастую идущие в другие годы золотоискатели находят в лесной глуши у полуразмытых полян Вашгеринструмент да останки добытчика, а в тайниках возле обветшалого шалаша — намытое золо-

то... Тот, кто выживает, втягивается в это старательское дело ужасно. «Спасется от смерти, одичалый домой придет, отдохнет неделю-две, а там опять его лесное царство к себе тянет, воля, простор. Ни над тобой, ни около тебя никого нет. Сам себе голова...» Одиночное хитрое и отважное отходничество долго практиковалось в этих краях.

К концу XIX столетия стали принуждать старателей работать артелями. В Приамурье, например, к тому времени крупные месторождения были открыты инженером Анносовым. В 1867 году здесь был заложен первый прииск и началась «золотая горячка». Некоторые читатели имеют о ней представление по книге Николая Задорнова (посвятившего свою литературную жизнь «освоению» Дальнего Востока) «Золотая лихорадка». Можно и Джека Лондона вспомнить...

Амурские золотопромышленники грязными, кровавыми путями в беспредельной жажде хапали добытое старателями. А открывших богатые россыпи просто уничтожали. Не испытание ли это для человечества было рассыпано на Приамурских, Якутских просторах? Только Амурская область давала ежегодно 350 пудов золота — шестую часть добываемого в стране.

В июле 1890 года в самый разгар «золотой лихорадки» увидел этот край следовавший на Сахалин А.П. Чехов и назвал его чрезвычайно интересным. «До чертиков оригинален. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. Она, т.е. эта жизнь, напоминает мне рассказы из американской жизни. Берега до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить... В Покровской всякий мужик и даже поп добывают золото. Этим же занимаются поселенцы, которые богатеют здесь так же быстро, как и беднеют...» Обращаю внимание еще на одну запись классика: «Здесь не боятся говорить громко. Арестовывать здесь некому и ссылать некуда. Либеральничай сколько влезет. Народ все больше независимый, самостоятельный и с логикой». Тогда, видимо, Антон Павлович не знал о происходящем на правой, китайской, стороне Амура, куда перекочевывали и русские подданные. «Там собралось до 8000 человек — бродячих элементов русских и китайцев, образовалась называемая в насмешку «Желтугинская республика». Так вот китайское правительство разгромило ее вооруженною силою: своих казнили без разбора и милосердия, спаслись только те, кто успел переправиться на русский берег... Российское правительство разрешало частную золотопромышленность по всему Приамурью.

Не только золото собирали на приамурской окраине Якутии. Высокий спрос на хлеб и фураж стимулировал в соседних областях расширение запашки. Американская фирма «Эмери», уловив тенденцию, в 1888 г. открыла склад землемельческих машин в Благовещенске. Амурская область к началу XX века вышла по урожайности на одно из первых мест в России, благоприятные годы давали с гектара до 30-40 центнеров зерна.

А в первой трети двадцатого века на северо-востоке Якутии заявила о себе известная нам по многим обстоятельствам Колыма. Недавно только появились рассказы Варлама Шаламова, безысходно-трагические. Открыл Колыму по золотоносным причинам романтический геолог, исследователь Юрий Александрович Билибин в 1928-29 годах. Кстати сказать, преодолевать сопротивление природы для геолога оказалось легче, чем упорство чиновников-перестраховщиков. Серьезным переживанием обернулось для него понимание другой Колымы, которая началась в 1936 году. Богатый и суровый край стал каторжным.

Как жили, как живут теперь люди на земле, богатой запасами золота, серебра, алмазов? Вслед за Чеховым через сто лет можем ли повторить: «И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы». Разумеется, ставя этот вопрос, в своей костромской стороне думаешь: она ведь тоже по-своему богата когда-то была не только «зеленым золотом», но и льном... А теперь вот и настоящее золото у нас нашли. Свободна ли будет обжитая земля — наша и якутская, амурская, сибирская к 21-первому столетию? На историческом основании считаем якольскую землю нашей. Якутск — старейший город Восточной Сибири, он старше Иркутска на 20 лет, Санкт-Петербурга — на 71 год. Город стоит на ледяном щите — на «сибирском сфинксе», как говорят на западе. С 1638 года Московское правительство создало на огромных просторах самостоятельную административную единицу — Якутский уезд с центром в Ленском остроге.

Писатель Иван Гончаров, бывавший в Якутске проездом в 1854 году, заметил: «Сибирь не видала крепостного права, но вкусила чиновничье — чуть ли не горше — ига...» Может быть, это идет от недоброй памяти, оставленной первым наместником Головиным — его свирепость отмечена в истории Якутска, подобного не бывало ни до, ни после.

Русские, по справедливому выводу профессора Токарева, даже в пору колониального господства не придерживались ни теории, ни практики расизма, как немецкие и английские

колонизаторы. Эта проблема людей Севера особенно не волнует — лишь бы человек был хороший. Старый Якутск в смысле национальных отношений остается мирным и спокойным, даже богатства не поссорили коренное население с русскими. Поэт с Верхней Лены Сергей Шевков пишет:

Они пришли из-под Тамбова,  
Из Холмогор, издалека,  
Чтоб избы здесь, в лесах кондовых,  
Срубить по-русски, на века.  
Чтоб прочно тут осесть, обжиться,  
Селясь раздельно, не впритык,  
Чтоб эта «Ленская землица»  
Узнала ральник и сошник.  
Пришли в открытую, не крадом,  
Не с тем, чтоб сеять смерть и зло,  
С крестом, с хозяйственным укладом,  
С запасом окающих слов.

Якутск служил опорным пунктом освоения Северо-востока Азии. Отсюда отправлялся землепроходец Семен Дежнев, затем — Владимир Атласов, Иван Москвитин, Василий Поярков, Ерофей Хабаров — открывавшие Камчатку, Алдан, Амур. Якутск стал исходной базой академических экспедиций.

В 1922 году бывшая «Якольская землица» была провозглашена автономной советской Республикой, а через 70 лет стала — суверенной Республикой Саха (Якутия). Знать это и помнить, напоминать необходимо. Вспомним, в 1931 году был создан Дальстрой — мощная государственная организация, призванная осваивать природные ресурсы, имеющая самое высокое покровительство, подчиненная непосредственно Совету Труда и Обороны, руководимому Сталиным. Это определяло активизацию поисково-разведочных работ. Подтвердились прогнозы геолога Юрия Билибина: намеченный им обширный золотоносный пояс был реально прослежен на протяжении 600 км шириной до 80 км. Запасы разведенного золота быстро увеличивались. Золотодобыча ежегодно удваивалась... Определялся новый образ жизни коренного населения. Один из современных русских писателей Юрий Сергеев, автор повестей «Самородок», «Берегиня», романа «Становой хребет», работал много лет в Якутии инженером крупных геологоразведочных партий. Сейчас пишет книгу «Золото из легенды». Он говорит:

— Необыкновенно притягивала сама Якутия. Она пока еще белое пятно (это о художественном, литературном освоении). Как впрочем, и золото. Раньше писать о нем было

не просто, сколько барьеров стояло: МВД, КГБ, цензура. Сейчас табу сняты...

Якутия вообще была щедра на встречи, из которых возникают непридуманные сюжеты, характеры, сцены. И волей-неволей соприкасаешься с трагедией России, как в прошлом, так и в настоящем. «Больно смотреть, — продолжает писатель, — как из России выкачивается не только золото, но и нефть, лес. Мы на грани голода, хотя в нашей стране треть мировых ресурсов.»

И мне вспоминаются якутские встречи, а больше думаю не про золото. Там, в Якутии, его не видел: не пялятся люди с ним, не похваляются дорогими украшениями. О золоте не принято говорить. О природе, погоде — это можно. На пароме по своей гостеприимной инициативе литератор Николай Абрамов, брат главы Хангалусского улуса, 60-летний крепкий якут, как бы между прочим вставил в свой монолог:

— Золота мы и не видим. Чего об нем скажешь? Так живем. Летом радуемся. Вот в главной реке искупаться могу (кстати, позднее он и нырнул прямо с парома, да так решительно поплыл, что зрители восхитились, а некоторые и ахали в беспокойстве: вода-то ледяная!) Зимой скучаемся, — продолжал он. — Куда пойдешь? Морозище под семьдесят рвет. На работу дойти — с трудом. Уехать бы куда-нибудь, думаешь, в теплые страны. А куда стронешься, зачем? Везде разор. У нас тут опора, фундамент имеется — ледяной сфинкс. Родина — тут. Предки скончаны. Иногда думаешь: зачем они, дураки, в этом kraю укреплялись? А может, им виднее было. — Весело говорил, с лукавством.

Предки якутов — скотоводы, рыбаки, земледельцы, а не только золотодобытчики. О прошлом заговоришь с якутами, если они расположены на то будут, вспомнят одну-две были, непременно связанные с желтым металлом. Писателю Юрию Сергееву старик-старатель рассказывал про двадцатые годы, про то, как приходили из Маньчжурии грабители — китайцы, приносили наркотики, а уносили золото. Их называли за косички «косачами». Местные жители с ними жестоко боролись. С убитых сдирали окровавленные фуфайки, вытряхивали набитый за подкладки добытый драгоценный песок. Или вот еще пример из особенностей прошлой жизни: на Алдане другие хитрые пришелцы открыли дом терпимости, чтобы через проституток грабить. Поили гостей табачной бражкой и обирали, конечно. Через месяц «труженицы» ходили обвшанные золотом, носили серьги и монисто из самородочков.

Сейчас входят в моду иные способы грабежа, в иных масштабах. Приватизаторы идут будто бы с добрыми наме-

рениями. И только разумное хозяйствование, уверенность в себе могут противостоять коварному нашествию. Несколько лет подряд преднамеренно разрушалось производство, создавались нетерпимые условия для старателей. Недавно передача «Подробности» поведала о судьбе целого поселка. Разрушается все, люди не получают зарплату, не на что выехать. И это из богатейшей республики. Значит, кому-то была выгодна такая ситуация. Президент республики Саха Николаев говорил:

— Мы вышли на широкое торговое и культурное сотрудничество со многими странами, внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья достиг 300 миллионов долларов.

Республика создает новые рабочие места, проводит структурную реформу, создавая перерабатывающие отрасли и расширяя выпуск конечной продукции. Вот что важно. И лес наш нельзя гнать сырьем, а уж золото, серебро, алмазы — тем более. Помните, украшения спешно производят на мировой рынок в США да в Италии. Наше золото очевидно туда попадает в качестве сырья. И не только в названные государства.

Якутия в годы правления административно-командной системы была превращена в сырьевую придаток немногих центральных ведомств. Сейчас хотят превратить ее за короткий срок в республику с развитой перерабатывающей промышленностью, чтобы выпускать современную конкурентоспособную продукцию. За два года введены в строй 16 заводов по огранке алмазов, создается алмазо-бриллиантовый комплекс. Введен в строй центр алмазного бизнеса, работает алмазная биржа. Разворачивается изготовление красивых вещей из золота, серебра, полудрагоценных камней.

Может быть, эта республика дает пример для других. Здесь уверены в том, что нахождение в составе России предоставляет в сотни раз больше возможностей для подлинного самоопределения. «Мы сознаем, — говорит президент, — что, когда находимся в составе России, за нами стоят мощь и достоинство великого государства, поддержка русского народа».

Новое отношение к собственным богатствам выводит Якутскую землю в другие условия развития. И потому с болью думаешь о центральной России, о нашей костромской земле. Просто невероятно: в такой богатейшей стране (вспомним, чем располагают другие республики, регионы) при особых возможностях и жить так бедно, неустроенно, как мы.

При таких-то просторах и богатствах более всего страдает русский народ, кто только не глумится над ним, над его историей. Почему?

Невольно вспоминаешь о судьбе золотых запасов страны. Какова их судьба? Какова судьба русских богатств? Не за счет ли этих богатств Россия в позе попрошайки? Не пора ли нам на родных просторах очнуться, осознавая, что кроме, как себе, мы никому, никаким валютным фондам не нужны? Нужны только наши просторы, освоенные нашими мудрыми пращурами...

По золотоносным якутским рекам в упомянутых местах вместе со старателями пройти не посчастливилось, и как взblesкивает под мелководьем золотой песок только воображением представляю — видел его в музее. А вот в разговорах об экономике, о возрождении России богатствам не только Якутии отводилась особая роль. Потому и появились эти заметки, обязавшие меня самого хотя бы малость просветиться.

Оказывается, золотодобытчики тоже страдают от нынешних рыночных отношений. До сентября 1993 года немногие предполагали, что лавина неплатежей обрушится и на эту отрасль не только в Якутии, что государство не расплатиться за сданное золото, как не расплатилось за зерно, древесину, за добытые нефть, уголь. И появились нерентабельные месторождения, хотя, по словам якутов, даже отработанную породу, если промывать вторично и в третий раз, возьмешь не менее взятого по первости.

Сфабрикованные внутренние неурядицы сокращали в России производство золота. И не только его, любой отечественной продукции. Но с золотом в наивности своей мы такого ожидать не могли. В 1992 году соответственно сократилась официальная продажа золота на мировом рынке. Существует ли нелегальная и в каком объеме? — это не позволено знать.

Однако, известно: бывшие аутсайдеры — США, Австралия, Канада — стали лидерами мирового золотого производства. США потребовалось чуть больше десяти лет (годы нашей перестройки), чтобы увеличить добычу золота почти в десять раз.

Обращаю внимание еще на одно обстоятельство: нынешний совокупный спрос на мировом рынке покрывается продажей вторичного металла в виде золотого лома (слушите, как это звучит!?) и прежними накоплениями, главным образом, на частных руках — в частных коллекциях-хранилищах.

В странах западного мира — по свидетельству главного научного сотрудника Института мировой экономики Ст.М.Борисова — общая масса осевшего золота в настоящее время превышает 105 тысяч тонн, из которых в частных руках в виде слитков, монет и ювелирных изделий — не менее 54 тысяч тонн. (Опять же, слышите, как звучит?) Надо полагать, есть в тех количествах немалая толика российского и конкретно — якутского золота.

Особое напряжение создает, пожалуй, впервые в истории возникшая ситуация, о которой упоминается в печати, когда все вновь добываемое в мире золото уходит на переработку в ювелирные изделия. И в этом глобально доходном «ремесле» опять преуспевают США, Италия и... А цена на золото на мировом рынке, обратите внимание, несколько лет последовательно, устойчиво падала, особенно на то, которое закупалось в России. Продажа золотых слитков из стран СНГ за три года возросла несмотря на падение уровня добычи и ликвидацию основной части золотых запасов бывшего Советского Союза. Желающие поразмыслят, куда ведет логика...

Итак, покупатели на рынках мира диктуют объем спроса, а продавцы, оказавшиеся в острой беде, подчиняются. Что может в этой ситуации сделать производитель? — ставят вопрос специалисты. И дают очень простой ответ: надо придерживать добытый металл, уменьшить объем предложения, чтобы создать предпосылки для повышения цены, которая и создаст условия для золотодобытчиков. Но по этому совету могут поступать только подлинные хозяева страны, знающие свою землю и свою родину.

Не пора ли и нам по-хозяйски оглядеться на своей земле? И на костромской — тоже.

## «...НАД УГОРОМ СИЯЕТ ЗВЕЗДА»

Читатель узнает чувствами, душой поймет, что поэт сказал свое новое и важное слово о жизни. Однозначность новизны будет для него очевидна, если он способен слышать поэтическое откровение, если в стихах привлекает не то, как они сделаны, а какой мерой таланта. «Талант — единственная новость, Которая всегда нова». Давно известно: для настоящих стихов, истинной поэзии одного мастерства мало. Уже сказано, что нужна собственная кровь, и пока эта кровь не выступила на строчках, поэта в настоящем смысле слова нет, а есть только версификатор. (Варлам Шаламов).

И все-таки при подготовке этого сборника были трудности, складывался он по особым ориентирам, определяемым ритмом «дыхания и сердцебиения», а не по каким-то канонам или внешним признакам. Вероятно, судьба поэта диктовала свои «условия», требовала смещений во времени, перепадов интонации. Вслушиваясь в голос поэта (да, теперь мы знаем этот голос), то мелодичный и свободный, то напряженный и срывистый, то философски разумчивый и даже меланхоличный, уходишь от собственной повседневности к тому новому и важному, что следует знать, пережить и осмыслить. Книга сложилась нашим общим заинтересованным отношением к пережитому и высказанному открыто, потому что уже невозможно было не сказать. Оказалось, собранная рукопись представляет творческий процесс, у которого вроде бы и нет начала, нет никаких первых стихов, обусловленных периодами жизни поэтических циклов, историческими вехами обозначенных разделов. А есть нечто естественное и совпадающее с движением судьбы Леонида Попова.

Вспоминаю многие встречи, беседы, поздние разговоры. Вспоминаю литературные вечера, поэтические семинары. Были новые стихи, может быть, написанные гораздо раньше, но прочитанные под настроение. Были размышления о жизни, о литературе, о духовном и прекрасном. Дни литературы в районах — такие поездки из отдаленной Вохмы случаются редко — освежали самочувствие сосредоточенного человека и он светлым взглядом просматривал свои годы, чтобы студенты, школьники, учителя получали обнадеживающие ответы на «романтические» вопросы. Он доверительно рассказывал о том, как и почему стал геологом, какие обстоятельства заставили изменить избранному пути, когда пришел в вохомскую районную газету, чем испытывает человека бытовизм и возможно ли под гнетом многих «домашних» забот оставаться самим собой, в соответствии тому, что дано от Бога... Но главное было в стихах. В человеке всему мера есть — душа его.

Леонид читает стихи, лишенные «пресловутой злобы дня», разнообразные по чувствам и мыслям картины природы все определеннее выходят к сближению «предметов несовместимых», к единому представлению о мире и человеке. И выпевается слияние души человеческой с отзывчивой душой природы. И рождается «проталинка птичьего свиста в предутренней муторной мгле». Такая проталинка после бессонной темноты, когда «ночь сжимает в клубок горизонт», становится чудом открытия. Понятна теперь краткость стихотворений, освобожденных естественно, в процессе «пред-

варительного вызревания», от молниеносных сравнений, образов, вызываемых мелодией, рифмой, аллитерациями. Вдруг понимаешь созвучие сказанного тому, что в тебе самом давно разбужено.

По словам московских критиков (Ст.Золотцев, Вл. Гусев), в стихах Л.Попова зримое — слышится, а едва слышимое — тайный гул, горестный вздох — становится зримым. Невольно думаешь о естественной магии Слова ответственного, выстраданного, ориентированного — вопреки всем веяньям и штукарству — на то, чтобы его услышал родной народ, «который что ни пой — поймет! А не поймет... не пой». Поэт заявляет себя с настойчивым максимализмом, словно взрывается вдруг после умиления.

Но, теряя пустую свободу,  
Обретаешь в раздумной тиши  
Умиленья сердечную воду  
Для бесплодной пустыни души.

Еще недавно неизвестный автор из отдаленного костромского села публикациями в журналах «Смена», «Север», «Москва», «Наш современник», «Русь» и других представлен был как неожиданно вошедший в русскую поэзию. Искученные критики по первым книгам открыли для себя художника, кудесника слова, которому дано знать нечто свое об этом мире и человеке. Дано знать и отпущена способность говорить по-есенински открыто, свободно, с предельной полнотой бытия. «Ах, как сладко я нынче живу — целый вторник уже, целый вторник». Замечены эти простые и дивные строки. Значит, еще не заполонилось восприятие, не зачерствела душа у столичных ценителей, вот они и говорят о том, что нужны каждому из нас такие слова, такие вторники самоценной, неповторимой жизни...

Поэт всегда под властью движения чувств и мыслей. Он всегда больше, значительнее сказанного о нем и даже больше вложенного в стихи, он всегда дальше любой публикации. И в этой книге Леонид Попов еще не тот, каким представляется по уровню таланта, чувству слова, болевой причастности к жизни других. Поэтическая зрелость, профессионализм в силу каких-либо житейских «перепадов» иногда дают сбои. Отсюда вывод: талант и профессионализм не обеспечивают полного самовыражения, являются только условием для реализации замыслов. Из недр этого сборника стихотворений зримо прорастает все, о чем непременно должно быть спето неповторимым голосом, — важное и простое, резонное и весомое. Для того и «родятся поэты на высоких широтах Руси».

## СМЕШНО И ПЕЧАЛЬНО

Первая книга под отчетливо ориентированным названием «В нашем славном городе» юмористическими рассказами и сатирическими фантазиями представила интересного сложившегося профессионально прозаика Павла Робертовича Румянцева. Вышла эта книга в серии «Литературная Кострома» в марте 1993. Все в ней было знакомо и узнаваемо: купец Охмелкин из сатирической повести «Благодетель» фантазией автора переносится в наше реформенное время, а старый большевик дед Матвей из рассказа «Дверь», наоборот, окажется запутавшим во времени и вздумает нам же рассказывать о том, что с ним произойдет или, точнее, проходит; то учителя, вступая в рынок, начнут осваивать бартер, сам же автор предстанет выступающим на телевидении, поведет репортаж с весенне-полевых работ или сделает открытие в двухтысячном году, свидетельствующее о завершении переходного периода в построении капитализма по всем странам СНГ. Кто-то займется китайской гимнастикой, кто-то в спортивном азарте рванет в Ливерпуль или вместе с хирургом Чумаковым поучаствует в размышлениях о текущем моменте. Можно даже позавтракать с любителем кросс-свордов, а вместе с Серафимом Межбоговым познать секреты виртуозного и таинственного совместительства. Можно оказаться на дороге к Храму или в ресторане со старинным названием...

Разные бывают пути-дороги, способы тащить репку и давать уроки в колледже, выходить в прямой эфир — Павел Румянцев это делает по-своему, оригинально, с выдумкой, обязательно с пониманием обиженного человека, в сочувствии к нему. Конечно, автор знает толк в сатире и согласен, что она может быть оправданно язвительной, ироничной, в некоторых случаях сердитой и хлесткой, но добрая улыбка ей никогда не мешает.

Добрый взгляд, ироничное к самому себе отношение, сарказм и незлобивая улыбка при светлой печали, правда факта и придиричivo-аналитическое отношение к житейской суете земляков — отличительные особенности деликатного юмориста и сатирика. В писательской организации мы с определенной симпатией оценили его работу в сатире и юморе за эту доброту и деликатность, за умение оставаться

на своей душевной точке опоры, когда бойкие сатирики, равнодушные к народным страданиям и печалям, не просто высмеивают человеческие пороки, а наотмашь, с какой-то хамоватой пренебрежительностью, переходящей в жестокость, бьют растерянных соотечественников — «совков этой страны» — слева и справа, сладострастно топчутся на слабых и поврежденных, скалозубят и хохматят, упиваясь собственной ядовитой изощренностью. Становится очевидно: нынче интеллигентность юмориста и сатирика — обязательный профессиональный элемент обаяния и достоинства.

Литературная работа врача-психиатра (Павел Робертович заведует отделением в Никольской областной больнице), все его сочинения убеждают в способности на специфическое, точное, выверенное внимание к человеку, в умении со взгляда определять, кто в первую очередь нуждается в сострадании, помощи и защите. Передвижение различных людей не только по городскому и столичному пространству, но и по всей российской периферии между прошлым и будущим происходит на особой линии, где встречается со своими «пациентами» молодой сочувствующий сатирик. Чаще всего он действует в конкретном городе, среди конкретных узнаваемых деталей и настроений, экономических проблем и политических зигзагов.

Рассказы и повести, составившие первую книгу, были представлены в трех разделах и продемонстрировали развитие автора, формирование его эстетической и философской позиции. Писательская организация в 1993 году осуществила первое издание, чтобы обстоятельно познакомить костромичей с перспективным автором. Экономические трудности были главной бедой на пути этой книги. Но издатели понимали: редакционные и авторские затраты компенсируются достижением нравственной цели. Несмотря ни на что, и под гнетом безразличия к культуре, литературе смутного времени в местных условиях с помощью добрых помощников, усилиями двух-трех человек, уверенных в способностях Павла Румянцева, сборник был подготовлен, издан за короткий срок. Тираж, к сожалению, оказался маловат — книга вскоре разошлась. Она вызвала интерес не только в Костроме. С ней Павел по нашей рекомендации участвовал во Всероссийском совещании молодых литераторов, был принят в Союз писателей России.

Итоговая книга, в которой собраны лучшие рассказы молодых прозаиков, вышла с пояснением: «Несмотря на огромные беды, постигшие нашу Родину, несмотря на неимоверные трудности, авторы рассказов с помощью Союза пи-

сателей России смогли собраться в Москве, привезти на суд товарищей (а теперь и читателей страны) свои лучшие произведения. Как и в прежние добрые времена, молодые литераторы представляют обширнейшую географию: от Бреста до Владивостока и от Прибалтики до Средней Азии». Этот коллективный сборник был назван по представленному в нем рассказу костромича Павла Румянцева «Дверь».

Жизнь порадовала нас и автора подтверждением уверенности в таланте. Первая книга состоялась, направленность творческой судьбы определена. Предшествовали выходу книги многие публикации в областной печати: Павел давно уже один из ведущих авторов артели «Дракон» при газете «Северная правда». Публиковался в еженедельнике «Собеседник», «Санкт-Петербургских ведомостях», в московском журнале «Россия молодая», саратовском — «Гонец», его юморески звучали по радио России. Последовательно прошли три заметные публикации в журнале «Юность».

И вдруг сатирик написал пьесу, другую. Неужели счел все возможности в излюбленном жанре исчерпанными, начал искать другие средства выражения, переходить в драматургию? Драматургическая наклонность проглядывала в его «юморных» коротких вещах. Даже в махоньком этюде «Репка». Вспомнилось: первую книгу завершает пьеса в одном действии для двух актеров и многих-многих зрителей под названием «Не по Островскому, но...». Действуют там Счастливцев и Несчастливцев. Вскоре областное радио инсценировало новую пьесу Павла Румянцева «Эвтаназия по-российски». Радиоспектакль получился. Театр «Полином» с успехом ставил пьесу «Совместитель». Удачная попытка войти со своими особыми возможностями, интересами, принципами в другую литературную область. Сатирическая комедия под загадочно-странным названием, написанная в сочувствии к людям старшего поколения. Видимо, автор испытывал себя в новом качестве, зная, на что идет, поэтому разноречивые суждения об удачах и просчетах спектакля воспринимал заинтересованно и благодарно...

И вот журнал «Юность» публикует новое «странное» сочинение — повесть «Последние версты», которую при составлении этой книги Павел Румянцев решается назвать романом. В журнальной публикации, говоря о себе и о повести, автор признался, что любит Москву, любит Гоголя. А по первой книге «В нашем славном городе» читалась убедительно любовь к Костроме. Значит, любовь к Отечеству расширяется? С годами творческий человек видит и мыслит шире, свободнее, философичнее. Приходит пора «чувствовать эпоху и проникать в иные времена». Примечательна деликатная оговорка: «Надеюсь, что читатели отнесутся снисходительно к возможным историческим неточностям, но мне представляется, что все было именно так». Создавая свою художественную реальность, писатель дает волю фантазии и тем самым обеспечивает особую силу слова, образа, ситуации, сюжета и конфликта. Сатирическая направленность мировоззрения, взращенная стремлением понять великий дух, образ мыслей, убеждения Николая Васильевича Гоголя, определила особенность реализма, протестующего против умозрительной «положительности» взгляда из прошлого в настоящее.

Оценка этого произведения, на мой взгляд, будет даваться читателям не просто. И дело не только в том, что в Костроме «никто и никогда не писал ничего подобного». Каждое талантливое произведение является художественной новостью, для восприятия которой требуется «подходящее» миcroощущение. Сочетание лирики, сатиры и мистики на каждого действует по-разному: не все души отправлены лукавством, корыстью и жестокостями. Не каждый почтает всех нолями, а единицею себя...

## ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЫМ

Долго складывалась рукопись этой книги, не сразу нашлось для нее название, издательские возможности тоже нелегко было найти. Но особенное, сокровенное и обнаженно правдивое поэтическое слово неизвестного многим поэта с ветлужской стороны давно уже не дает покоя. Помнится, живет оно и тревожит. «Невеселый в раздумье глубоком Я стою у родного гнезда. С неба, будто слеза ненароком, Одноко упала звезда». Хорошо и давно знаю автора этих строк, потому понятно мне, что привело его к раздумью глубокому, как пишутся у него стихи...

Первый, за многие годы единственный, сборник стихов Виктора Александровича Смирнова из деревни Филиха Шарьинского района в определенном смысле приобретает летописное свойство, в нем — судьбы «неприметных» людей, история провинциальной жизни в сочувствии и понимании.

Личностный опыт деревенского жителя, прошедшего через многие страдания, становится необходимым для осмыс-

ления случившегося с российской деревней, носительницей народной нравственности. Нынче многие понимают: русская духовность и культура всегда в основе своей была крестьянской, а деревня — опорой, фундаментом нации; потому коварные «нашествия» против России всегда направлены на ослабление, разрушение земледельческого образа жизни. По природе своей, можно сказать, все мы родом из деревни. Не случайно в двадцатом веке, заботясь о приспособлении нас к «цивилизованному миру», так старательно экспериментировали на «деревенской ниве». Эти эксперименты болью отзываются в сердце поэта.

Он родился здесь. После окончания лесного техникума в г. Ветлуге ездил по стране, пробовал себя на разных работах, пытался устроить свою судьбу вдали от родных мест — послевоенные годы многих деревенских жителей превратили в изгоев, но не выветрили чувство любви к родной земле. И живут и поют они от своих корней.

Вернулся Виктор в родную деревню, работает лесником. Бывал на областных совещаниях и семинарах литераторов, иногда приезжал в Шарью на занятия в литературное объединение «Земляки», которым я руководил в семидесятые годы; что-то, кажется, у нас получалось. Добраться из деревни в Шарью было непросто, Виктор и пешком по тридцать — сорок километров хаживал. Придет — долгожданный (тогда уже мы знали несколько его стихотворений, которые ни один редактор не отваживался печатать), усталый, закуревелый, распаленный, а слушает других терпеливо, внимательно. Тут и его «очередь» читать стихи (правило было такое: каждый участник что-то читал или рассказывал — обязанность «по кругу»), нахмурит брови, устремит сосредоточенный взгляд в даль, только ему видимую, и некоторое время собирается с духом. И вот прорвется, прорежется его напряженный голос, в напористой манере выскажет упреки, тревоги, сожаление или печаль. Он приносил к нам чистосердечное беспокойство за деревню. В шумные дискуссии не встраивал понапрасну, но, если решался напомнить о том, что его беспокоит, говорил убежденно и принципиально, без оглядки на присутствующих чиновников-контролеров. Возмущенный беспечным чирканьем кого-то из «великовозрастных» сочинителей — кряхтел и хмыкал: не принимал он «телячьи восторги» по поводу стирания граней между городом и деревней, умилений среди роз, берез и мимоз. Говаривал не раз: «Знаю, вы тоже хлебнете нашей беды. И тогда вам станет ясно, почему прошу повернуться в крестьянскую сторону». Не было сомнений в правоте Виктора

Смирнова — стихи его убеждали. Но печататься он не спешил, «в литературу не стремился, себя не готовил». В письмах я уговаривал его, просил что-нибудь прислать. На просьбы отзывался он — пришлет откровения о житье-бытие, в которых и для себя вроде бы незаметно переходит с эпистолярного стиля на поэтический.

Однажды удалось по публикациям в районной газете собрать подборку для «Литературной Костромы». Читатели запомнили его стихи — присылали теплые отзывы. На этом и укрепилась наша «деловая» связь. Теперь пишет: «Получил письмо и даже прослезился. Такое предложение застало меня врасплох. Я до сих пор еще не верю в издание того, что сочинял в разные годы. Жизнь складывается такая: никто никому не нужен. Как и все, борюсь за выживание, копаюсь на огороде. Не до стихов. Подработать негде. Зарплаты хватает только на хлеб. А кормиться надо. Иногда удается поймать рыбешки в речке Нужне. В Шарью не езжу, это для меня — роскошь: билет туда и обратно стоит пятнадцать тысяч. Это бьет по бюджету. Выпиваю редко, курить еще не бросил, хотя мечтаю об этом по той же бюджетной причине. О стихах думаю так: не знаю, что получится, большинство посвящено колхозной деревне — главной моей беде и боли, кое-что такие стихи считает устаревшими...».

Помог собрать его рукопись шаринский журналист и поэт Вячеслав Голубцов. Помнится одно из первых стихотворений Виктора «Деревня Ивка». В шестидесятых годах написана «Старая церковь», где «кружева узорной русской вязи, Которым красоваться бы века, Со стен сползали башмаками грязи И падали слезами с потолка...».

Биографию своей души Виктор Смирнов выразил в стихах, пришедших к нему при одном главном вопросе: что же будет с тобою, отчина? Летопись родной стороны пишется по причине неизбывной верности и любви, к такой нельзя отнести равнодушно или с поспешным практицизмом.

При подготовке и редактировании рукописи не всегда удавалось получить от автора то, что хотелось бы, — скрывался его жизненный и литературный опыт. Чрезмерной настойчивости в желании что-то изменить, исправить, сократить мы не проявляли, понимая, насколько все глубоко пережито, прочувствовано, закрепилось рубцами на сердце и в памяти Виктора. Привлекали не какие-то стилевые находки, а в первую очередь — последовательная, безоглядная искренность, прямота, неравнодушие и естественность. Нетрудно было заметить, что он идет от Кольцова, Никитина, Некрасова, что ведут его и мотивы Есенина, Твардовского,

Рубцова, но никому эпигонски не подражает, остается верен своему пониманию и чувству.

В деревенской жизни, в природе многое изменилось и за последнее десятилетие — все меняется с годами, даже сам человек. Трагические перемены, отнимающие последние надежды, терзают все опасней — это чувствуется и в пронзительных письмах Виктора, и в стихах. За короткий срок сама земля, природа стали другими, но люди все еще приходят поклониться в сочувствии, виноватости и печали. Отчий край, деревня детства, дом, родители, близкие люди, любимая женщина, дорога, река, небосвод, лес и поле, вечный путь — опорные понятия в философии поэта, его способа само выражения. Часто он печален, печаль эта не всегда светла, иногда упрям, дерзок и смел, иногда саркастичен по отношению к другим и к самому себе, а то и улыбчив при добре иронии. С движением жизни по новым направлениям приходят другие радости и огорчения, но камертон души остается неизменно сердечным.

## И ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ

Костромская областная организация Союза писателей России завершает двухгодичный цикл Дней литературы встречами в самых дальних районах нашей области. По согласованию с местными администрациями, с отделами народного образования, культуры, с библиотеками и школами мы получаем благодатную возможность для общения вопреки трудностям, порожденным государственным пренебрежением к провинции. В этой связи можно вспомнить трагические военные и послевоенные годы голода и разрухи: люди спасались не только трудом и надеждами, но и общими праздниками, скромными колхозными гуляньями, кинофильмами и спектаклями в школьных коридорах, детскими концертами, посиделками при лучине и чтением книг. Деревенские собирались зимними вечерами в одной избе — женщины пряли, вязали или штопали детскую одежонку, а мужчины, в малом числе уцелевшие за долгие годы жестокого лихолетья, подшивали валенки, ладили сбрую. Вот для них, для этих терпеливых и многое повидавших деревенских жителей, дети и подростки по очереди читали вслух то сказки, рассказы или повести, то «роман с продолжением»...

Верится, и в обстоятельствах нашего времени произойдет возвращение к чтению — замученные преодолением неразберихи, телевизионным окопачиванием, политической трескотней жители русской провинции вновь вспомнят о книгах. А пока нередко приходится слышать о невостребованности новых изданий, вообще, мол, чтение теперь не в моде. Люди читают мало, такая жизнь пошла.

Но вспоминается, вспоминается общий недавний интерес к литературе. Вспоминаю суждение русского мыслителя первой половины двадцатого века И.А. Ильина о том, что чтение необходимо каждому человеку, поскольку оно является «победой над разлукой, далью и эпохой». Дорогие земляки, не такая ли победа всем нам необходима сегодня — «в век сумасбродства и въедливой лжи» (Л. Попов), во времена коварного отчуждения между людьми, несправедливости, повседневного страха?

Есть в книгах костромских поэтов и прозаиков очень важное — то, что превращает чтение в художественное ясновидение, призванное и способное точно, полно воспроизвести духовное понимание другого человека.

Подумалось вдруг о нынешней равнодушной торопливости, о нежелании вникать в жизнь даже близкого человека, в сказанное, переживаемое другими. Куда уж тут до всего, что выстрадано поэтом, писателем, что укладывается в стихи, повести, романы!.. Нет времени, желания, нет интереса ... Тревожат собственные неудачи, невзгоды, обиды, недомогания и нищета (не только материальная). Иногда чувствуешь все-таки — к радости своей — сосредоточенное замирание в зале после нескольких поэтических строк, произнесенных в унисон настроению...

Поэзия воспринимается... Среди будничной суэты еще не у всех «надежно заперт слух». И при заниженном духовном уровне жизни, не говоря уже о материальном, поэтам все-таки удается найти отзывы, созвучие в читательских аудиториях. Поэзия опять востребована и пошла в классический рост. Не потому ли и нам в писательской организации пришлоось издательские начинания первоначально посвятить поэзии?.. Останутся особым знаком времени тоненькие поэтические книги Сергея Потехина Леонида Попова, Татьяны Иноземцевой, Станислава Михайлова, Елены Балашовой, Виктора Лапшина, Анатолия Беляева, Нины Снеговой, Виктора Смирнова, Вячеслава Шапошникова, Николая Муренина, Алексея Зябликова, Светланы Виноградовой, Бориса Дроздова, Евгения Разумова и других поэтов.

Поэтическая «атака» на обстоятельства, содействие общей победе «над разлукой, далью и эпохой» обеспечивается серией «Литературная Кострома» и подкреплена теперь изданием прозаических книг Константина Абатурова, Алексея Акишина, Ольги Гуссаковской, Бориса Бочкирева, Василия Травкина, Олега Калинина, Павла Румянцева, Юрия Лебедева, Михаила Базанкова, Владимира Корнилова...

Живем в состоянии напряженного преодоления обстоятельств, нередко приходящего чувства одиночества. Я имею в виду не то одиночество, когда рядом нет ни друзей, ни родных, а когда у тебя нет возможности передать чувства, мысли, душевное состояние с тревогой или печалью, высказать свое суждение близкому по сердцу и разуму другому человеку, когда тебя некому прочитать, услышать и понять. Именно в поисках единомышленников, отзыва в другой душе, в поисках душевного простора пишутся книги. Может быть, по таким же причинам стремятся костромские поэты и прозаики в районы — к людям, которые тоже устали в отчужденности, забытости, в неразделенных тревогах о будущем детей и внуков.

Дни литературы в первую очередь служат общению и взаимному интересу. Мы надеемся увидеть заинтересованность в лицах школьников и учителей, работников культуры и библиотек, администраторов района и сельских жителей. Уверен; как и повсюду, наши намерения будут поняты и правильно восприняты: как и повсюду, эти встречи помогут увидеть, узнать талантливых, душевно богатых и щедрых людей русской провинции, в жестоких обстоятельствах не утративших интереса к Слову.

Пусть наши встречи окажутся добрыми знаками преодоления заброшенности, одиночества. Убежденный в том, что в России нет более сильных людей, чем поэты, способные жить, никому не угодая, надеюсь на продолжение доброго знакомства. Когда-нибудь мы встретимся вновь, если не очно, то — при помощи книг, которые будут востребованы.

Мы выбрали эту возможность обращаться к читателям и с помощью возрожденного альманаха. Условия издания, конечно, не позволяют выдержать определенный качественный уровень, порадовать авторов достойными гонорарами. Но альманах зафиксирует на многие годы часть наших дум и тревог, напомнит людям о том, что очень важно на все времена.



## ОБЛАКА НАШЕГО ДЕТСТВА

Писатели собрались в очередную поездку маршрутами дней литературы. При встрече на костромской улице в разговоре о трудностях литературной жизни упоминаю организационные хлопоты. Художник участливо поинтересовался:

— Куда в этот раз большой бригадой?

— Под облака твоего детства, — без всякой задумки легко так ответил, видимо, впечатления от недавней выставки его картин были еще свежи — не исчезло приобретенное лирическое настроение.

— На родине надо бывать. Давно собираюсь да все никак, — признался Николай Михайлович. — То выставки, то хождения по инстанциям, то «разборки» на собраниях, непредвиденные и плановые заботы с желанием добра для других. Мы ведь как живем? Себя и не помнишь, свои печали глухиши напускной бодростью. А самое сокровенное — потом, разве иногда удается на холст перенести...

— Поедем. Встретишься с земляками. С начальством о перспективе для организации переговоришь, запланируешь выставки. Поедем, лучший случай когда-то выпадет... Может, и не будет такого больше.

— Все, решил. Возьму несколько работ, подарю там. Поездка состоялась. Буевляне тепло принимали нас.

Интересные получались встречи, вечера, литературные и житейские разговоры. Живописец тоже выступал — естественно, душевно, с налетом печали в голосе. Речь его была свежа и живописна, украшала наши беседы с читателями яркими воспоминаниями и создавала особую доверительную атмосферу общения: людям нужны, приятны откровения земляка, наделенного талантом.

После обстоятельных бесед с художником в его мастерской (для радиопередачи) я знал, что Николай Смирнов за многие городские годы чувство живой народной речи не утратил, самобытность в нем сохранилась — примечательная особенность надежной личности, взращенной от истоков в родной стороне, от крестьянской совестливой жизни, деревенского лада.

Отвечая на вопросы земляков, Николай «рисовал» деревню Алешково, родительский дом, свое первое житейское пространство. Признался, что теперь осознанно ценит добре в влияние бабушки, давшей понятие добра и красоты, морали и нравственности по десяти заповедям. Он смотрел на высокие городские окна, а вспоминал давние. И чувствовал опять тепло солнечного света, пролитого в избу через крестовину оконной рамы. Чудное, непостижимое облако увидел он в самом раннем детстве, а теперь видит его как часть мироздания, как меняющуюся тайну мироустройства. Естественно, просто «выстраивал» свою философию, высказывал свой взгляд на происходящие в обществе процессы, на искусство, литературу. Тогда и подумалось: надо бы еще раз напроситься к нему в мастерскую, побывать в творческом пространстве, которое, по моим представлениям, дает возможность по-особому взглянуть на все четыре стороны света — глазами и душой другого человека.

Родился Николай в буйской деревне Алешково. Очень тревожный был год — тридцать девятый. Он так и сказал: очень тревожный год... «Деревня стояла на красивом берегу, — продолжал живописать для слушателей, чтобы «перебить» печаль воспоминаний. — В полутора километрах — река Кострома. Мesta лесные. Разнотравье. Поля разливом».

Из родного дома приглядный вид. Просторно. Родители — в работе. Коля оставался в няньках с младшей сестренкой. А старшие — в Покровскую школу ходили. Во время войны был за большака в домашнем хозяйстве. Отец — на войне. А вернулся он с фронта — в колхозные труды «за палочку». Единственную жнейку сам отремонтировал. Починил, значит. Сам и поехал на двух лошадях. От зари до зари... Там и взяли его. Арестовали в сорок седьмом как врага народа. Живо в болевой памяти самое резкое впечатление детства — при сыне все происходило. Посадили отца на стул среди избы, крикливо допрашивали не понять о чем. Забрали Библию, по которой ба-

бушка учила нравственным основам жизни (рассказчик тяжело вздохнул), удивительно прекрасная книга была, оформлена гравюрами Доре.

— Я очень любил эту книгу. Вообще интересовался библейскими сюжетами. Все, что окружало меня в детстве, отливалось от воображаемого по сюжетам. Воображение активно работало, мечтания уводили в желанные дали — к лучшей, справедливой жизни. Но как жить, если тебя однажды назовут сыном «врага народа»?

А было детство, способное и в труднейших условиях на безмятежные минуты. Был разнообразный крестьянский труд наравне со взрослыми. Косили, пахали, ходили в ночное, складывали сено в копны, играли в скирдах соломы. Спасались от грозы в сарае.

Уплотнялся заряд впечатлений на всю дальнейшую судьбу. Детство одаривало не только забавами, но и особым светом, пронизывающим угрозливые облака. Сейчас кажется: светло и забавно выстраивалось любое время года. У каждого времени были свои сказки, песни, стихи. Некоторые из них стали любимыми навсегда.

Взаимные воспоминания, высказанные в доброй, душевной беседе, роднят не только земляков. Позднее встреча в мастерской художника была красива именно совпадающими впечатлениями. Облака нашего детства несли родственную философию мировосприятия. Помню, даже стихи и песни одинаковые требовались. Есенин, Тютчев, Некрасов, Твардовский, Рубцов помогали нам в общении.

Я вырос в хороший деревне  
Красивым под скрип телег.  
Одной деревенской царевне  
Я нравился как человек.

Пространство мастерской раздвигалось, уходило дальными взорьями к деревням под облаками, наполнялось то тишиной раздумий, то печалью или тревогой. Сложный эмоциональный строй эпических картин выводил на особые дороги познания. «Деревня Починки», «Черемуха», «Вечер в поле», «Тишина», «Лето в деревне», «Туча», «Красные облака», «Облако моего детства», «Хлеб 47-го», портрет отца — философский ряд живописца от деревенского грозового лета до напряженных раздумий о мире и мироздании на исходе двадцатого века...

Заговорило поле, заговорили облака. И свет и цвет пронзительно ясны. Праздники детства и размышления вечером под туманом, накрывающим многострадальную землю. Клубящийся вздыбленный свет над рекой и тревожно рдеющая рябина среди снежной белизны. Покой души немногословной, дарующей деятельное добро. И вишневый дым лирических мечта-

ний, поэтического вдохновенья. И сдержаным цветом сотворенное сказание о картошке. А дальше, дальше... Растворяются облака. В них — душа и движение мысли. Слышится собственный голос: «Облако, здравствуй! Я узнаю тебя...» За ним обозначается в дымке «персональное» облако моей первой школьной осени, а другое постепенно превращается в тучу первой грозы. Драматизм прошлых лет, драматизм нашего деревенского быта звучит над исчезнувшими починками, над разоренными храмами, над застраивающими полями и заброшенными дорогами.

И вдруг из-под горы воздушным кораблем выплывает под напирающую облачную тяжесть высокая изба с распахнутыми дверями сеновала. Тревогой, дерзкой мечтой, предчувствиями, общей судьбой объединены деревенские икары... Среди них — и художник, и я сам, и наши земляки. Так выстроилась картина...

В мастерской без продуманного экспозиционного порядка живописные композиции обретают дополнительное содержание. Они выходят к собеседнику мастера по эмоциональным мотивам, вызванным тематикой беседы. Обыденное и праздники наши расцвечиваются еще невиданным и неосмысленным разнообразием, несущим отблески забытых желаний и надежд. Иными мыслительными дорогами идешь в житейское пространство, а затем — за пределы доступного и познанного, начинаешь ощущать себя в невесомости над облаками, и видишь иные дали. Таково оно — действие искусства.

А возвращаясь в современную реальность, вспоминаешь суждения людей о страшном времени, которое переживаем. Оказывается, не только творцы вынуждены переосмыслить себя, изменить отношение к тому, что знают и любят с детства. Но, чтобы познать себя, достоинства земляков не обязательно прислушиваться к чужим голосам. Доверимся своим достоинствам. «Доморощенные» наши достоинства — в духовном и душевном, в искренности, правде, совести, любви. «Нам здешний мир так много говорит». Верим, надеемся, работаем в осознании: наша жизнь есть то, что мы знаем и думаем о ней. Эти сокровенные думы определяют отношения между людьми, отношение к миру.

Николай Смирнов давно уже определил себя в пространстве и времени. Поэтому пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые картины его независимы от суетливой повседневности, неподвластны коммерческим ориентирам и естественно, без преднамеренного философствования передают нравственное состояние художника. Лет пятнадцать назад его причисляли к мастерам лирического пейзажа. В заметках о выставке справедливо цитировались стихи Николая Заболоцкого:

В очаровании русского пейзажа  
Есть подлинная радость, но она  
Открыта не для каждого и даже  
Не каждому художнику видна.

На профессиональном языке некоторые ценители, размышляя о технике и технологии, отмечали в творческом стиле Смирнова ярко выраженное тонально-декоративное «письмо» и тем самым занижали уровень подхода к содержательному, философскому достоинству лучших работ. В суждениях об искусстве вообще нельзя спешить с дотошным вниманием к «средствам выражения» — к тому, как и чем «зафиксировано» мгновение. В живописи, поэзии, музыке — в этих наиболее родственных творческих явлениях определяющее значение имеет дарованная свыше эмоциональная особенность личности, тайная мелодия чувства и мысли.

Пейзажи Николая Смирнова трудно растолковывать, в каждом из них зритель может найти свое место под облаками, почувствовать неизъяснимую прелест природы и возвратиться в сложное, взвихренное политикой, бытие с необходимой уверенностью: гуманистические ценности не исчезли, не извратились, а как бы спрятаны, укрыты, может быть, «в самой земле, в душах ... и продолжают действовать — спасать людей, вступая в бесконечный неравный поединок с жестокостью, с токсичными идеями». (По А.Ремизову).

Лирика по большому счету всегда и философия, в ней обнаруживается глубина мысли, порожденная чувственными переживаниями, печалью пережитого. И каждое мгновение жизни, любой жизнестроительный труд через лирику живописца может явиться возвышающим душу ритуалом. Усталого, даже изнуренного работой не только ради собственного спасения можно пожалеть, но и возвысить. Мелодия человеческого сочувствия и возвышения дана Николаю Михайловичу. Он защищает простую повседневную жизнь, осознавая неизбежную и неизбывную совестливость одних и неправедное временное благополучие других. Крестьянская мудрость и нравственность определяют свет его искусства. Оно — при свете совести. Крестьянское достоинство — от земли, духовного родства людей одного поля, одного неба. Значит, истории там, в Алешкове, в деревенском доме и ладе. Они — от бабы Дуни и бабы Катерины, от матери Анны Федоровны и отца Михаила Дмитриевича. От наставлений по Библейским заветам. От Библии с иллюстрациями Гюстава Доре. От явившейся в детстве облачной стихии, от предчувствия простора в выборе дорог... И от уроков каждого прожитого послевоенного дня. Прожитого не только родным домом, но и буйским колхозом «Родина», в котором председательствовал вернув-

шийся после контузии под Тулой и восстановления в госпиталях Михаил Дмитриевич. От ударов подозрения, несправедливостей. От безотцовщины. (Отец, ударенный сроком в 25 лет, отсидел, оттрубил на гулаговских лесоповалах восемь). Так что в лирических живописных мелодиях звучат разные инструменты.

Можно было только предположить направленность художественного поиска, когда явилась впервые на выставке картина Смирнова «Высокое облако». С ней пришел от вновь пережитого детства новый художник, способный сказать нечто очень важное о жизни на изуродованной Земле под пробуравленным и оскорбленным небом. Философская лирика оберегает искусство от прямых «лобовых» иллюстраций мысли. Она индивидуализирует восприятие и прочтение произведений. Каждый зритель может увидеть и свое «высокое облако» и свою «Калитку», свой «Вишневый снег», свои — Храм, Реку и Дорогу.

Напомним живописные мгновения из ряда вечных тем, которым уделил мастер исключительное внимание. Он, выпускник факультета монументальной живописи Московского художественного института имени В.И. Сурикова, не ударился в «широкие форматы», не увлекся модной в шестидесятых-семидесятых размашистостью полотен, а сумел в деликатных композициях, открывая для себя и для других прелесть Природы, Труда, Земли, Неба и духовного Человека, говорить любовно, широко, убедительно и ярко о Жизни. «В одном мгновении видеть вечность, огромный мир — в зерне песка, в единой горсти — бесконечность, и небо — в чашечке цветка». (Художник и поэт Уильям Блейк так помогает зрителям, искусствоведам и писателям).

Получается, облака нашего детства полнятся смыслом в зависимости от наших способностей видеть, чувствовать, помнить и понимать. Художник пробуждает в нас интерес к познанию. И приглашает к поискам новых дорог. Об этом думалось и в мастерской, и на огромной выставке в Москве (я ездил вместе с костромскими участниками), и на локальной выставке пейзажа у нас в писательской организации. Все, что было увидено, действительно можно назвать искусством при свете совести. Душа без призывов и обещаний трудится при таком свете. Есть в работах Николая Смирнова ныне многими утраченное постоянное мерцание доброты и скромности. Думается, эта нравственная категория в суждениях о произведениях искусства и литературы намеренно отодвинута специалистами. Принято говорить об избранности, элитарности, которые предполагают непременную заносчивую самоуверенность. Этакая верховная значительность, не имеющая отноше-

ния к простой жизни. Но как же тогда придет художник к «необразованному» зрителю, слушателю, читателю? Душевный и чувственный как станет близким, родным и понятным? Умение видеть многозначительное в простом и повседневном дается художнику по уровню его нравственной и гражданской самостоятельности.

Николай Смирнов являет этот свой уровень в бытовых эпизодах, выстроенных в картинах и портретах. «Грибная пора», «Хлеб», «Картошка», «Осень», «У колодца», «Сбор поздней рябины», опять же — «Моя калитка», «Отец вернулся», «Михалевский переулок», «Синий вечер». Можно предположить: душевное равновесие и чувство собственного достоинства, творческой правоты поддерживается личным образом жизни в городских пределах да по деревенским нравственным ориентирам — окраинное Михалево за Волгой создает такие условия. И собственный дом. Судьбой все предопределено: самореализация происходит в неразрывной связи с прошлым, с неизбыtnым в памяти духовным содержанием отчего дома. Неслучайно тонкой лирикой домашних человеческих взаимоотношений пронизано жанровое полотно «Возвращение». Сильный собственными убеждениями человек на любом новом месте находит способы вживлять родословные корни для жизненной стойкости. Но главное достоинство его проявлено в отношении к другому человеку, в безусловном желании понять его. Это сказалось и в наставничестве, когда художник работал преподавателем университета.

Философия добра и духовного родства между людьми разных поколений привела художника через пейзажи и жанровые картины к необходимости концентрированного портретного внимания. Желание понять личность, проникнуться смыслом ее творческой жизни отражается в созданных портретах критика И.Дедкова, искусствоведа А.Бузина, художников Н.Шувалова, С.Румянцева, В.Окишева и других, в «Воспоминании о Сергее Есенине». А в портретах самых близких — в первую очередь матери, отца — укрепляющее возвращение к духовным, нравственным предтечам, сыновний долг и облагораживающая память. Но диапазон интереса к современникам при этом тоже расширяется. Вот написался еще неизвестный костромичам портрет главы самоуправления Б.Коробова, ответственного за все происходящее в городе на Волге, но и обычновенного человека, склонного к лиризму в редкие минуты отдыха. Что же привлекает художника в одном из представителей управленческой элиты? Конечно, в первую очередь не послужные достоинства, а душевые. Какие они эти достоинства? Пусть почивает зритель, раздумчиво взгляваясь и определяя свое настроение по колориту пейзажа ...

О человеке можно судить и по тому, какие любит песни, стихи, картины родной природы. Об этом возник разговор на обсуждении пейзажной экспозиции в нашем писательском доме. Выставка невелика, чуть больше двадцати работ, а получилась интересная дискуссия с разнообразием суждений, мотивов, ассоциаций и раздумий по обстоятельствам времени. Опять пейзажи настроили на искренность. «Лед прошел», «Солнце в лесу», «Пробуждение», «Дорога», «Облако над Волгой», «Изы на родине» и другие картины, этюды задавали движение чувств и мыслей.

Отвечая на вопросы, Николай Михайлович постепенно обозначил творческие истоки, высказал неординарные мысли о любви к Родине, о том, что формирует индивидуальный взгляд на мир и живописный стиль, из чего и под каким влиянием складывается строение души. Разговаривали мы о том, чем возможно облагородить, обогатить повседневное общение творческих людей, принадлежащих к разным профессиональным союзам, но создающим единую культурную атмосферу, общее духовное пространство. Есть такие заботы у художников, писателей, музыкантов, артистов — у всей художественной интеллигенции, живущей в провинциальных условиях. А руководители творческих организаций (Н.М. Смирнов — председатель костромского отделения Союза художников России) настойчиво озвучивают эти заботы, нарастающие все тревожней под давлением коммерциализации. Нынче атмосферу востребованности литературы, искусства тоже надо деликатно обрести, чтобы при материальной бедности окончательно не одичать, не впасть в бедность духовную.

Произведения подлинного русского искусства создаются по идеалам добра, правды, сочувствия, справедливости, совести, чести, они неназойливо проповедуют патриотизм через уважение истории, лучших традиций, народной и национальной самобытности. Костромской живописец Николай Смирнов своими естественными творениями (помните, как птица поет в весеннюю пору) закономерно вписался в ряд искренних проповедников. Его картины в сочетании с лучшими, известными мне произведениями, костромских творцов, укрепляют мысль о том, что облака нашего детства не превращаются в серую завесу, не ограничивают представлений о бесконечности небес, разнообразия явлений в человеческой жизни. Они напоминают о незарастающих тропинках в неповторимый единственный край, который никому не дано выбирать, никогда надолго не закрывая солнце, несут живописный свет в размышления о прекрасном и духовном.

## КРАПИВА

Как сейчас вижу наш высокий пятистенок в окружении старых развалистых черемух, молодых лип и берез — эти посанены старшими братьями, а я свое дерево вместе с ними не успел посадить по малости лет, два кустика малины из лесу принес. Но разросшийся малинник заглушила крапива, сильная, дружная, точно такая, что в буреломах да на вырубках буйно разрастается до тех пор, пока подрост силу не заберет, не заявит определенно: тут будет березовая роща.

Посреди Малого Тюкова высокие стояли березы. А деревенька-то наша, чудо, как хороша! Большие бревенчатые дома с белыми наличниками будто взялись за руки — заборы их соединяют, точнее, и не заборы, а обыкновенный тын (с соседом дружись, а тын городи). Посреди деревни — ровная лужайка, ни трактор, ни машина не смели на нее въезжать. Тут, возле звонка — вагонный буфер на столбе висел, его подростки из Мантурова привезли, когда ездили на станцию хлебным обозом, — собирались на собрания, перед началом работы. В день Победы этот звонок созвал народ с палей. Люди стали другими, они ликовали, вдруг подхватили и высоко подняли на руках председательницу Любовь Майдакову, кричали ура! Здесь же, посреди деревни вручали маме орден «Материнская слава». И здесь меня хотели опозорить крапивой, потому что бессильными от голода руками выкапывал картошку-самосадку на зеленом пшеничном поле. За крапивой недалеко было ходить, тут, возле столба, и росла она...

Крапивный куст на зеленой лужайке посреди Малого Тюкова. Никто не сбивал его, не рубил сплеча палками, похожими на длинный меч. За этой крапивой не прятались при любой игре. А мы, дети, много всяких забав да игр знали: прятки, палочка-выручалочка, лапта, чиж, лепки, затаенки... Бежишь, пока «вода» считает, времени — чувствуешь — остается мало, надо бы за крапивой притаиться, а нет, нельзя почему-то; с давних пор так повелось: нельзя — и все. Традиция! Возле крапивы не таись.

Деревенька моя Малое Тюково. В сторону Дачки глянешь — так назывались дальние поля с перелесками — вспомнишь, как, продираясь сквозь крапиву, подползал из оврага к клеверному полю и рвал пушистые розовые головки, из которых мама пекла лепешки. Перемешает с мукою из липовых да крапивных листьев, немножко крахмальцу для клейкости добавит, и получаются зелено-дымчатые лепешечки. Уж больно они вкусны, если достанется чашка синего обрата каждому из нас: шестнадцать лепешек — по две, восемь стаканов обрата — вот

и завтрак на свежей траве под окном. На восход солнца смотреть — значит, в сторону гороховых паолей, так они всегда и назывались, хотя на них не только горох высеивали. В гороховых полях однажды догнал меня сердитый всадник — он из райцентра ехал на вороном коне — и в наказание за горсточку стручков огрел кнутом, когда я вроде бы спасся, в изнеможении упав на меже в высокую крапиву. Запомнилось: крапива тогда не жгла.

Говорят, обиды не помнятся, говорят, из детства остаются нам только светлые воспоминания. Конечно, есть и светлые, аж дух захватывает. Сам себя вижу издалека: лечу на белом коне, забыв, что он хромает — задняя левая нога у него после ранения короче, воображаю себя красным конником, взмахиваю прутиком налево и направо: расступись, вражья сила! Расступись, крапива, которая не виновата ни в чем перед нами!

Или вот купаться на Федъковку бежим. Срываем рубахи, сбрасываем штанишки и несемся ватагой, ликуя в наготе! А почтальонка тетя Поля, как на грех, поднимается в гору и, всплеснув руками, кричит: «Ой, какие первобытные! Ну-ко, счас крапивой-то!» Кто не успел до моста добежать, да нырнуть суетливо, словно пескарик, на мелкоте скрыться, тот в закрапек у дороги сунулся. И выползает потом весь в белых пупырышках, пыхтит-сопит, больно, конечно, разве не больно, а реветь-то нельзя, только что на бегу радостно улюлюкал и тут же, через минуту, слезы?!

Крапивы в нашем детстве хватало. Не только щи из нее варили да лепешки пекли, бывало, крапивой наказывали. Может, на пользу, может, она тело лечила и душу закаляла.

Там, где пятистенок родной стоял, теперь крапива растет. Одна только крапива, но скоро малина пробьется, березы да черемухи гибким подростом встанут. Впервые своего младшего сына веду по зарастающим тропинкам и предупреждаю: не обожгись, тут крапивы много...

Иллюстрация к рассказу — по рисунку П.Пинкисевича.



## ОТ АВТОРА

Однажды спокойное повествование вдруг прерывается тревожным вопросом. Но вместо ответа возникают другие вопросы. Десять лет назад в повести «Крик чибиса» прорвалось признание — приходится его повторить. Часто снится мне: под низким грозовым небом тревожно кричат птицы моего детства...

Но деревни давно уже нет. После войны на том взгорье распахали небольшое поле. Теперь

оно зарастает, теряется под нашествием мелколесья. Что будет с нами, если забурянило родительскую землю? — десять лет назад тревожил меня вопрос и тревожит сегодня. Что еще произойдет на этой земле? Куда уйдет человек безоглядный, если его не окликают чибисы?

Писателю не дано все знать и предвидеть. Не каждый сочинитель самоуверенно отвечает на самые сложные и вечные вопросы. На основе жизненных испытаний и собственных литературных приобретений могу утверждать, что мои повести и романы пишутся как бы сами собой после многолетней кристаллизации из повседневной действительности. Так складывалась и эта книга. Несомненно, в ней есть сокрытая сверхзадача. Пишу не ради экспериментов и запограммированных философских построений, а для пробуждения у читателя интереса к самому себе и к современникам, на этой основе — интереса, стремления к праведной, совестливой жизни, к трудам негромким, но облагораживающим. Надеюсь, читатели меня понимают. Дарит такую надежду слышанное от неравнодушных земляков, критиков и литературоведов повторение моего вопроса:

— Куда уйдет человек безоглядный, если его не окликуют чибисы?

*Мервазаков*

## СОДЕРЖАНИЕ

Повести	
Относительно текущего момента .....	3
Самое дорогое .....	49
Рассказы	
Дальние тропинки .....	118
Давняя музыка .....	122
Холодный гороховый кисель с теплым льняным маслом ...	124
Ветка рябины .....	139
Взаимосвязь всего происходящего .....	141
Последние скандалисты .....	153
На что мы расходуем жизнь	
Доброта .....	171
По поводу одного рассказа .....	177
В.О.Ключевский о женщинах, политике, науке, истории	183
Смилуйтесь .....	184
Не должно отчаиваться .....	185
На что живут работники .....	186
Народ поймет .....	187
И уходят от нас .....	188
Что год грядущий нам готовит .....	188
Обетованный край .....	189
Верить в себя, быть самим собой .....	190
Нашим читателям .....	193
Задушевное слово .....	194
Кривое зеркало .....	195
Содружество .....	196
«Свадебный подарок» .....	197
Старший брат .....	198
Справедливо ли? .....	202
«Антей, или вызов самому себе» .....	204
«Вехи» — продолжение следует .....	205
Спасайся, кто может .....	207
Через золото слезы льются .....	208
Над угром сияет звезда .....	216
Смешно и печально .....	219
Деревенский дым .....	222
И встретимся вновь .....	225
Облака нашего детства .....	228
Крапива .....	236
От автора .....	238

Михаил Федорович Базанков

## САМОЕ ДОРОГОЕ

Книга для родителей, учителей и старшекласников

Издания Костромской писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:

156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.

Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Печатается в авторской редакции

Художник — М.Ф. Базанков

Компьютерный набор и

оригинал-макет — А.М. Базанков

Корректор — Е.М. Зайцева

На обороте титула — композиция  
по рисунку И.Смирнова

Издание осуществляется на средства автора.

Сдано в набор 12.01.98. Подписано к печати 10.09.98.

Формат 84x108/32 Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. п. листов 15. Заказ № 3457. Тираж 1500 экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького  
управления по делам печати и массовой информации  
 администрации Костромской области,  
 г. Кострома, ул.П.Щербины,2.